

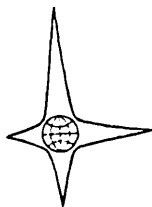
ЕЖИ ЖУЛАВСКИЙ



**НА
СЕРЕБРЯНОЙ
ПЛАНЕТЕ**

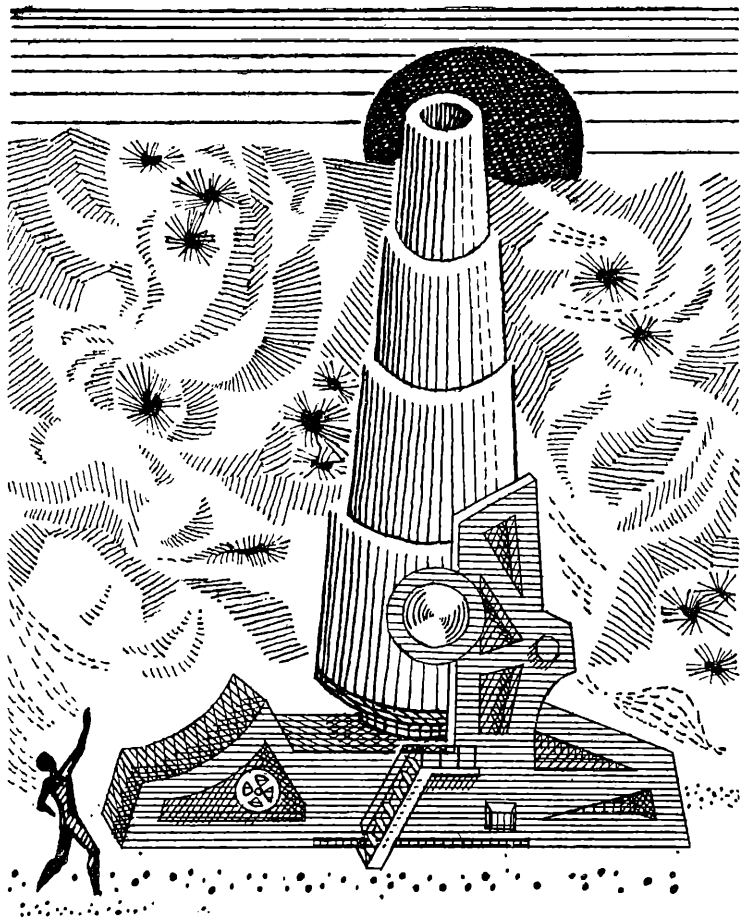
**З
А
Р
У
Б
Е
Ж
Н
А
Я

Ф
А
Н
Т
А
С
Т
И
К
А**



ИЗДАТЕЛЬСТВО

«МИР»



Jerzy Żuławski Na srebrnym globie

Rękopis z Księżyca

WYDAWNICTWO LITERACKIE KRAKÓW 1956

ЕЖИ ЖУЛАВСКИЙ

НА СЕРЕБРЯНОЙ ПЛАНЕТЕ

РУКОПИСЬ С ЛУНЫ

Предисловие С. Лема

Перевод и послесловие
А. ГРОМОВОЙ и Р. НУДЕЛЬМАНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» МОСКВА 1969

ПРЕДИСЛОВИЕ

В первый раз читал я роман «На серебряной планете» вскоре после «Трилогии» *. Тогда я умел читать так, как никогда, наверное, уже не сумею. Я был пожирателем книг; я пылко и страстно сражался против домашнего распорядка, следуя которому пытались разбить мне процесс чтения на части, — а я никак не мог оторваться от книги и, мчась по страницам, время от времени проверял на ощупь, много ли еще осталось до конца. Пламя, разгоравшееся в двенадцатилетней голове, чаще всего скоро угасало, но эта лунная история долгие годы горела в моей душе, словно ожог. Меня тянуло к ней, к ее «лучшим местам», я вновь и вновь перечитывал ее и расстаться не мог с грозным величием Луны; я кидался к любимым страницам, от которых веяло таинственным леденящим мраком бездонных скальных расселин, я возвращался к развалинам таинственного города в пустыне, к потрясающей катастрофе второго лунного снаряда, я рылся в тексте, как исследователь, как искатель сокровищ, который алчно ловит крупинки золота, промывая

* Имеется в виду знаменитая историческая трилогия Генриха Сенкевича («Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский»).

песок, — позавидовать можно тому, кто имеет такого читателя!

Об авторе я, конечно, не знал ничего, он меня вовсе не интересовал, он не был мне нужен. Уже тогда этой книге было тридцать с лишним лет от роду; сейчас ей далеко за шестьдесят. Прекрасный возраст!

Перечитывать ее теперь я принимался с некоторым опасением. Не одного уже кумира я сверг с пьедестала, который некогда сам ему и воздвигнул. В таких разочарованиях столько же обиды на автора, на книгу, из которой вырос, сколько и на самого себя. Есть в них привкус стыда и измены. Встречаются, правда, и компенсации: книги, прежде немые, мертвые, наглухо запертые, находят путь к зрелому читателю, раскрывают проблемы и картины, к которым ты раньше был слеп. Но все же самое замечательное, пожалуй, — это встреча с книгой, которая была для тебя живой в детстве и живет по сей день, и ты видишь в ней знакомые картины, окрашенные знакомыми, давними переживаниями, и ни тех, ни других не приходится стыдиться.

Книга Жулавского относится именно к таким произведениям. Не все в ней выдержало испытание временем — это ведь самый жесткий критерий художественной ценности. Я не знаю, эту ли именно вещь он ценил выше всего в своем творчестве, — кажется, это было не так — да и, возможно, он видел в ней иные достоинства, не те, которые видим мы теперь. Книги завоевывают себе долгую жизнь очень по-разному, зачастую независимо от намерений, которые вдохновляли их создателей и даже вопреки им. Это парадоксально лишь с виду.

Если я не ошибаюсь — а как образчик огорчительного невежества в области истории литературы я обречен исключительно на собственные домыслы, — Жулавский в этом произведении хотел создать модель своей историко-

софии. Книга разрослась до трех томов; лунное общество, зачатки которого появляются в последней части романа «На серебряной планете», широко обрисовано в следующей книге, в «Победителе». Жулавский хотел показать возникновение религиозного мифа. Подлинное событие, героический «Исход» с Земли на Луну, утрачивая свой человеческий, реальный облик, становится для следующих поколений объектом культа, застывшим в символах, знаках, в литургических обрядах. Этот процесс начинается в последних главах романа «На серебряной планете», где герой превращается в «Старого Человека» с приданной ему пророчицей Адой; эта намечающаяся аналогия с библейскими мотивами продолжается и доводится до конца во втором томе трилогии, в «Победителе», который представляет собой как бы второе действие, дальнейший этап обрастания действительности мифом, по форме отчетливо ассоциирующимся с христианскими концепциями Спасителя, Мессии.

Но слишком уж заметно, что этот социологический гомункулус прошел через реторты модернизма. События расставлены по линиям, слишком открыто обнажая замысел писателя; формирующая роль этого замысла ощущается чересчур явственно, прямо под поверхностью человеческих судеб; эта натужная однозначность, эта ускоренность и ограниченность действия наряду с другими недостатками художественного изображения лунного общества превратили два следующих тома трилогии Жулавского в произведения, сегодня фактически уже мертвые, и отбросили к тому же неприятную тень на последние главы первого тома. Слишком уж на «младопольский» лад изображена там вырождающаяся лунная поросль человечества. Оценка эта совпадает с мнением двенадцатилетнего мальчишки; это, конечно, не свидетельствует о наличии литературного вкуса — он был мне

тогда совершенно чужд, — а лишь показывает, что громадное очарование книги и тогда исходило не из этих ее глав.

Самой жизненной оказалась именно первая часть трилогии, представляющая собой фактически лишь введение к последующей социологической эпопее. Социология не выдержала испытания временем — зато устояла перед этим испытанием история лунных пионеров, их путешествия от места посадки в центре лунного диска к полюсу. Создать целый громадный мир из пустоты и камня, из черноты и белизны и провести через эту мертвую пустыню людей, замкнутых в стальной машине, показывая их напряжение, их борьбу так, чтобы читатель и вправду почувствовал себя перенесенным на Луну, чтобы ему и в голову не пришло, сколь велика опасность однообразия, скудости, угрожающая замыслам такого рода, — это было весьма рискованным предприятием. Опора творческого воображения на точные астрономические данные (к книге была приложена детальная карта путешествия), развертывание событий с реалистической добросовестностью и логической строгостью — вот источники писательского успеха.

Как уже было сказано, центр тяжести книги переместился с глав, посвященных истории нового общества, на вступительную часть. Атмосфера здесь создается не только дикостью и мертвенностью неземного пейзажа, но и трагизмом, проистекающим из самого характера экспедиции. Экспедиция эта представляет собой самоубийственную затею, прыжок в пустоту без возможности вернуться на Землю — что обусловлено ее преждевременностью в техническом и в научном отношении. Проблема эта связывается для меня с другой, будто бы отдаленной: проблемой читателя, которому адресована эта книга. Жулавский наверняка задумал ее не как «молодежное» произ-

ведение; этот роман предназначался для взрослого читателя, который наиболее полно сумеет понять метафору в целом, ее сугубо земной смысл. Между тем, самых горячих поклонников, самых преданных читателей роман нашел среди молодежи. Это смещение круга потребителей, граничащее с недоразумением, кажется мне довольно типичным, потому что я сам его испытал на примере собственных произведений.

Если профессия писателя кажется не только многим людям, но иногда и ему самому не слишком серьезной, — хотя бы потому, что общественная польза, проистекающая из его труда, обычно трудно уловима и кажется менее конкретной, чем плоды деятельности техника или врача, — то наиболее явно вызывает такие сомнения автор произведений фантастических (или, по крайней мере, именуемых фантастическими). Общественность — то есть люди, которые каждый день отправляются в учреждения, на фабрики, в конторы, — не может ведь принимать всерьез такие выдуманные, такие неправдоподобные повествования, как, к примеру, эта история экспедиции на Луну, да вдобавок еще экспедиции, заранее обреченной на поражение, на смерть ее участников. (Если б Жулавский остался до конца верным реализму, его герои погибли бы почти сразу — ведь он отлично знал, что на невидимом полушарии Луны никакая не земля обетованная, а такая же безвоздушная каменная пустыня, какую мы можем наблюдать в телескопы; лично я выбрал бы именно такое решение — по причинам, о которых скажу ниже.)

Правда, с теми годами, когда Жулавский писал эту книгу, граничила во времени экспедиция, задуманная на такой же самоубийственной основе, — не лунная, но тем не менее трагическая. Я имею в виду экспедицию Андрэ, который в конце XIX века отправился вместе с товарищами к полюсу на воздушном шаре и погиб во

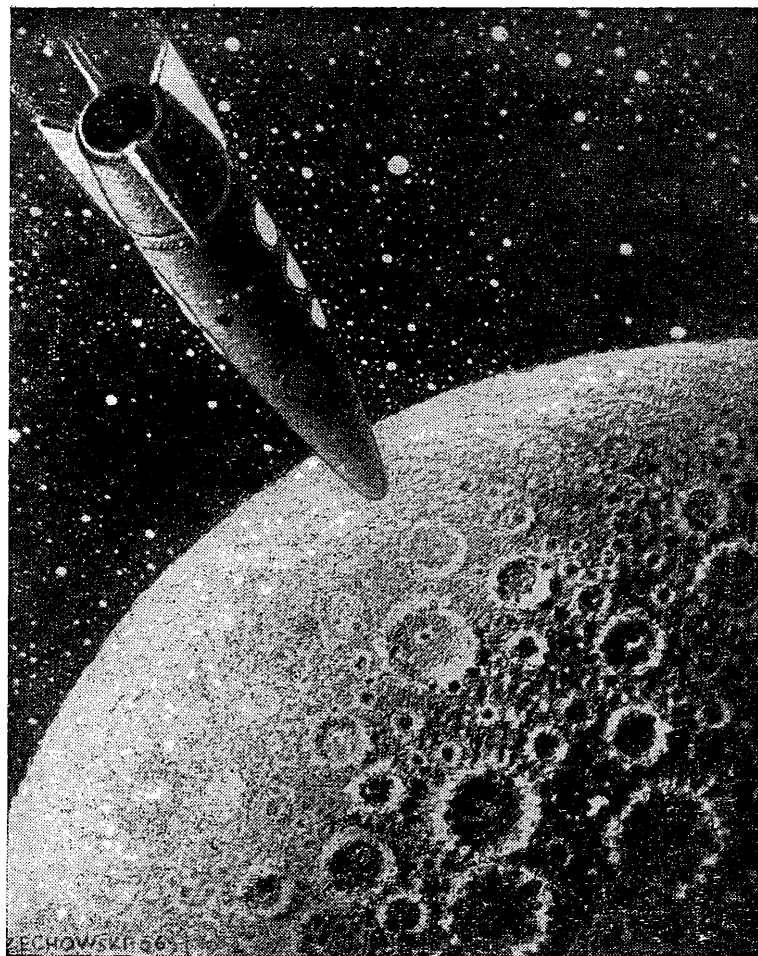
льдах; остатки корзины, а также дневники Андре́ были найдены много лет спустя. Эта попытка с самого начала была обречена на гибель, и я сам первый осудил бы идею подобного мероприятия, если б ее кто-нибудь высказал сегодня, — но ведь в этом безумии была система, было мужество такого утверждения истинной человечности и такой предельный вызов, брошенный равнодушному к нашим усилиям миру, что оно вызывает ответный резонанс в каждом, кто не замкнулся окончательно в кругу малых и таких необходимых будничных забот, — даже если он не осознает, что именно с таких сумасбродных, осуждения достойных замыслов и действий обычно и начинается затяжной, зигзагообразный процесс приобщения человечества к новой сфере жизненного опыта.

Первые кругосветные путешествия — первые экспедиции в глубь неведомых материков, первые перелеты через океан и первые попытки борьбы с эпидемиями приносили неудачи, поражения, катастрофы и смерть пионеров, причем самопожертвование героев зачастую не давало вообще никаких непосредственных результатов. Молодежь особенно хорошо понимает подобные безумства; разумеется, это тяготение к героике, как и любая человеческая склонность, может быть употреблено во зло (как, например, произошло в странах, где к власти пришел фашизм), но восторженное отношение к героям — это, пожалуй, одна из прекраснейших черт молодежи, и именно ей обязана своей долгой жизнью книга Жулавского.

Следовало бы, возможно, добавить, что концепция индивидуального героизма стареет и отмирает в наш век коллективных действий, но подобные рассуждения увели бы нас слишком далеко от этой лунной истории. Даже в лучшей своей части она не лишена определенных недостатков. Ее язык, выразительный и гибкий в описаниях

лунных пейзажей (в меньшей мере — душевных состояний), может поразить читателя, привыкшего к лаконичной сдержанности современной прозы, своей вычурностью, нагромождением эпитетов. Глаз иногда спотыкается на запевках-апострофах вроде «О Земля! О Земля утраченная!», которые не дают забыть, что книга возникла в сфере влияния «Молодой Польши»; попадаются также и психологические неточности, преувеличения, носящие чисто риторический характер, но бьющие в глаза (например, в сцене, где при виде восходящего солнца герои плачут, как дети, — не так вели себя, как известно из дневников, люди типа Андрэ). Обрисованы герои условно, об их земном прошлом мы не знаем ничего, кроме того, что сегодня назвали бы «анкетными данными». Но эта калькуляция недостатков не имеет существенного значения. Роман Жулавского живет, читается и будет читаться еще долго, несмотря на все свои слабости, подтверждая старую истину, что значимость творчества писателя, жизненность его произведений зависит не от его ошибок, а от его высших достижений.

Станислав Лем



Миновало почти полвека с тех пор, как отправилась на Луну двойная экспедиция, — поистине сумасброднейшая из всех, какие задумывались и совершались когда-либо, — и она уже была почти забыта, когда вдруг на страницах газеты, выходящей в К., появилась статья за подписью ассистента небольшой местной обсерватории, снова напомнившая обо всем. Автор ее утверждал, что располагает вполне достоверными сведениями о судьбе безумцев, пятьдесят лет назад полетевших на Луну. Сообщение наделало немало шума, хотя вначале к нему отнеслись не слишком серьезно. Тем, кто слышал или читал об этом необычайном предприятии, было известно, что отважные искатели приключений погибли, и теперь все только пожимали плечами, узнав, что люди, давно считавшиеся мертвыми, не только живы, но даже присылают сообщения с Луны.

Ассистент показывал всем любопытствующим сорокасантиметровый конусообразный стальной снаряд, в котором он якобы обнаружил рукопись с Луны. Хитроумно отвинчивающийся полый конус, покрытый толстым слоем ржавчины и окалины, мог с удивлением разглядывать каждый, однако рукописи ассистент не показал никому. Он утверждал, что рукопись представляет собой обугленные листы бумаги и что он теперь расшифровывает их содержание при помощи специальных фотоснимков, которые делаются с большим трудом и с величайшими предосторожностями. Такая таинственность возбуждала подозрения, тем более что ассистент до сих пор не разъяс-

нил, каким образом попал к нему снаряд. Интерес к этому делу все возрастал. С некоторым недоверием все ждали обещанных разъяснений, а тем временем общественность начала заново знакомиться с историей экспедиции по материалам тогдашней прессы.

И человечество стало вдруг удивляться, что смогло так быстро забыть... Ведь в те времена, полвека назад не было ни одного печатного органа, который бы не считал своим долгом на протяжении двух лет кряду посвящать хоть несколько строк в каждом номере такому неслыханному, невероятному событию. Перед отправлением экспедиции всюду было полным-полно корреспонденций о ходе подготовительных работ; описывали буквально каждый винтик в «вагоне», которому предстояло преодолеть межпланетное пространство и высадить отважных безумцев на лунную поверхность, известную тогда только по великолепным фотографиям, много лет подряд делавшимся в Ликской обсерватории. Люди живо интересовались всеми деталями этого предприятия; портреты и пространные биографии путешественников публиковались на самых видных местах. Много шума вызвало известие о том, что один из участников экспедиции отказался лететь чуть ли не в последнюю минуту — менее чем за две недели до назначенного срока. Те же самые люди, что не так давно метали громы и молнии в адрес всей этой «нелепой авантюры», а участников ее открыто называли полоумными, которых просто следовало бы пожизненно запереть в сумасшедшем доме, теперь возмущались «трусостью и изменой» человека, который откровенно заявил, что лежать в могиле на Земле можно так же спокойно, как и на Луне, но зато здесь он попадет в могилу куда позже, чем его товарищи там. Однако наибольший интерес возбудила личность нового смельчака, который предложил свою кандидатуру на освободившееся место.

Все считали, что участники экспедиции не примут его в свой круг, поскольку уже не хватало времени, чтобы их новый товарищ мог пройти необходимую предварительную тренировку, которой остальные занимались несколько лет, достигнув под конец прямо-таки невероятных результатов. Рассказывали, что они научились в легкой одежде переносить сорокаградусный мороз и сорокаградусную жару, по целым дням обходиться без воды и дышать без ущерба для здоровья воздухом, несравненно более разреженным, чем земная высокогорная атмосфера. Каково же было всеобщее удивление, когда оказалось, что новый доброволец принят и что он пополнит ряды «лунатиков», как их называли. Одно лишь приводило корреспондентов в отчаяние — они не могли раздобыть никаких более подробных сведений об этом таинственном искателе приключений. Несмотря на настоятельные просьбы, он не подпускал к себе репортеров; да что там! — даже не дал ни одной газете своей фотографии и не отвечал на письменные запросы. Другие участники экспедиции тоже хранили по этому поводу строгое молчание. Лишь за два дня до отправления экспедиции появилось известие более конкретное, хоть и несколько фантастическое. Один журналист, приложив массу усилий, сумел-таки увидеть нового участника экспедиции — и немедленно распустил повсюду слух, что якобы это женщина, переодетая мужчиной. Слуху не очень поверили, — да, впрочем, уже и времени не было его проверять. Приближалась решающая минута. Лихорадочное ожидание переросло в подлинное неистовство. Район в устье Конго, откуда экспедиции предстояло «отправляться в путь», кишел людьми, прибывшими со всех концов света.

Фантастической идее Жюль Верна наконец-то предстояло осуществиться — через сто с лишним лет после смерти ее автора.

На побережье Африки, в двадцати с лишним километрах от устья Конго, зияло громадное отверстие уже готового колодца из литой стали, откуда вскоре должен был вылететь на Луну первый снаряд с пятью смельчаками внутри. Специальная комиссия еще раз торопливо проверила все сложные расчеты; еще раз произвели осмотр запасов и снаряжения; все было в порядке, все было готово.

На следующий день незадолго до восхода солнца чудовищный грохот взрыва, который был слышен в радиусе нескольких сотен километров, возвестил миру, что экспедиция началась...

По необычайно точным и детальным расчетам снаряд должен был (под влиянием взрывной силы вертикального толчка, притяжения Земли и силы разгона, полученной благодаря суточному вращению Земли) описать в пространстве гигантскую параболу с запада на восток и, войдя в определенной точке и в определенный час в сферу притяжения Луны, упасть почти вертикально в центр ее обращенной к нам стороны, в район Центрального Залива. Движение снаряда, наблюдавшееся через сотни телескопов в различных пунктах Земли, оказалось совершенно правильным. Для наблюдателей снаряд будто пятился по небу с востока на запад — сначала намного медленнее, чем Солнце, а потом, по мере удаления от Земли, все быстрее. Это кажущееся попятное движение объяснялось вращением Земли, относительно которого снаряд непрерывно отставал.

За снарядом следили долго; наконец он приблизился к Луне, и его уже нельзя было увидеть даже в самые сильные телескопы. Однако связь между Землей и замкнутыми в снаряде смельчаками непрерывно поддерживалась еще некоторое время. Кроме множества других приборов, путешественники взяли с собой замечатель-

ный аппарат для беспроводного телеграфирования, который согласно расчетам должен был действовать даже на расстоянии 384 тысяч километров, отделяющих Луну от Земли. Но расчеты в данном случае подвели; последняя депеша была принята астрономическими станциями с расстояния 260 тысяч километров. То ли из-за недостаточной силы тока, создающего волны, то ли из-за ошибок в конструкции прибора, но телеграфирование на более дальнее расстояние оказалось невозможным. Однако последняя депеша звучала весьма многообещающе: «Все идет хорошо, нет поводов для опасений».

Через шесть недель согласно плану отправилась вторая экспедиция. На этот раз в снаряде находились лишь двое; зато они взяли с собой гораздо больше припасов продовольствия и необходимого снаряжения. Телеграфный аппарат у них был много мощнее, чем у их предшественников, и не приходилось сомневаться, что он сможет передавать сообщения с Луны. Но с Луны известия так и не поступило. Последнюю телеграмму путешественники послали, приближаясь к цели, перед самым падением на лунную поверхность. Сообщение было отнюдь не из благоприятных. Снаряд по необъяснимой причине несколько отклонился от курса и вследствие этого должен был упасть на Луну не вертикально, а наклонно, под довольно острым углом. Поскольку он не был рассчитан на такое падение, путешественники опасались, что могут разбиться и погибнуть. Видимо, их опасения оправдались, так как больше депеш не поступало.

Вследствие этого отказались от дальнейших намеченных экспедиций. Можно ли строить иллюзии насчет судьбы несчастных — так зачем же увеличивать число напрасных жертв? Раскаяние какое-то и стыд овладели людьми. Самые горячие сторонники «межпланетных сообщений» теперь притихли, а об экспедициях писалось и го-

ворилось уже только как о безумии, прямо-таки преступном. А через несколько лет всю историю надолго предали забвению.

Как уже говорилось, о ней напомнила лишь статья до-толе неизвестного, но вскоре прославившегося ассистента небольшой астрономической обсерватории. С тех пор каждая неделя приносила что-нибудь новое. Ассистент постепенно открывал завесу над своей тайной и, хотя в скептиках, как всегда, не было недостатка, к этому делу начали относиться все более серьезно. Сенсационная новость вскоре разошлась по всему свету. Ассистент наконец рассказал, каким образом он стал обладателем ценной рукописи и как прочел ее. Он даже разрешил специалистам осмотреть ее обугленные останки вместе с подлинно чудесными фотоснимками.

Вот как обстояло дело со снарядом и рукописью.

«Однажды после обеда, — рассказывал ассистент, — когда я занимался регистрацией ежедневных метеорологических наблюдений, служитель обсерватории доложил мне, что какой-то молодой человек желает со мной поговорить. Оказалось, что это мой бывший соученик и добрый приятель, владелец расположенного неподалеку поместья. Вidel я его редко, потому что он неохотно выбирался в город, хоть и жил неподалеку. Я попросил его обождать и, управившись побыстрее со своими делами, вышел в соседнюю комнату, где он ждал меня, как я заметил, с большим нетерпением. Едва успев поздороваться, он заявил, что принес известие, которое меня несомненно обрадует. Он знал, что я уже несколько лет с энтузиазмом занимаюсь изучением метеоритов, и потому пришел сообщить, что несколько дней назад поблизости от его поместья упал довольно большой, как ему кажется, метеорит. Найти камень не удалось, потому что упал он в болото и, по-видимому, основательно углубился, но

если я хочу, то можно дать мне людей в помощь. Метеорит я, разумеется, хотел заполучить, а поэтому, освободившись на несколько дней из обсерватории, отправился к месту его падения. Но невзирая на тщательные поиски и на явные следы падения метеорита, ничего мы не нашли. Извлекли только стальной предмет, имевший форму пушечного снаряда. Эта находка в здешних местах изрядно меня удивила. Я уже усомнился в успешности поисков и отдал было распоряжение прекратить дальнейшие работы, когда приятель обратил мое внимание на этот снаряд. Вид его и вправду наводил на размышления. Его поверхность покрывала окалина, которая возникает при прохождении железных метеоритов сквозь земную атмосферу. Неужто этот снаряд и есть упавший метеорит?

Так внезапно мелькнула у меня первая догадка. Мне вспомнилась экспедиция полувековой давности, историю которой я знал довольно хорошо. Должен добавить, что я никогда не разделял убеждения в несомненной гибели путешественников, несмотря на безнадёжность последней полученной от них на Земле депеши. Но пока еще было слишком рано говорить о своих догадках, так что я лишь забрал снаряд и с величайшей осторожностью перевез его домой. Я был почти уверен, что найду в нем ценные сведения о погибших. По относительно небольшому весу снаряда я сразу же понял, что он пустотелый.

Дома я под величайшим секретом принялся за работу. Я прекрасно понимал, что если в снаряде и есть бумаги, то они наверняка обуглились, когда сталь раскалилась в земной атмосфере. Поэтому следовало открыть снаряд так, чтобы не уничтожить эти предполагаемые остатки. Быть может, думал я, удастся по ним что-нибудь расшифровать.

Задача была чрезвычайно трудной, тем более что я

никого не хотел брать в помощники. Мои предположения выглядели слишком сомнительно и даже, как я понимал, фантастично, чтобы оглашать их раньше времени.

Я обнаружил, что верхушка снаряда представляет собой крышку, которую следует отвинтить. Поэтому я прочно закрепил снаряд в больших тисках, чтобы предохранить его от сотрясений, которые могли бы повредить содержимое, и принялся за работу. Резьба заржавела и не поддавалась. После долгих усилий мне удалось наконец стронуть крышку с места. Помню этот первый скрежет поворачивающегося винта пронял меня дрожью радости и тревоги. Пришлось на время прервать работу, потому что у меня тряслись руки. Снова взялся я за дело лишь час спустя, а сердце все еще колотилось.

Крышка медленно поворачивалась, и вдруг я услышал странный свист. Сначала я не понял, откуда он исходит. Почти безотчетно я повернул винт в обратном направлении, и свист тотчас прекратился, но стоило мне снова чуть открутить крышку, как он послышался вновь, хотя уже слабее. Тут я понял все! Внутри снаряда была абсолютная пустота! Свист издавал воздух, врывающийся внутрь через щель, которая возникла при откручивании крышки!

Это обстоятельство убедило меня в том, что если в снаряде содержатся какие-либо бумаги, то они не полностью уничтожены: отсутствие воздуха должно было предохранить их от сгорания! Через несколько минут я убедился в справедливости своих догадок. Сняв крышку, я обнаружил в снаряде, внутренние стенки которого были вдобавок покрыты слоем огнеупорной глины, сверток обугленных, но не сгоревших бумаг. Я еле дышал, опасаясь повредить эти бесценные документы. С величайшей осторожностью я извлек их из снаряда — и впал в отчаяние. На обугленной бумаге буквы были почти невидимы,

а к тому же сама бумага стала такой ломкой, что едва не рассыпалась в руках.

Как бы то ни было, я решил довести дело до конца и прочесть рукопись. Несколько дней я раздумывал, как к этому подступиться. Наконец, я прибег к помощи рентгеновских лучей. Я предполагал — и, как оказалось, справедливо, — что чернила, которыми пользовался автор рукописи, содержат минеральные компоненты, а потому зачерненные ими места будут оказывать большее сопротивление рентгеновским лучам, нежели обугленная бумага сама по себе. Я начал осторожно наклеивать каждую страницу рукописи на тонкую пленку, распыленную в раме, и делать рентгеновские снимки. Таким способом я получил клише, которые, будучи отпечатаны на бумаге, дали мне нечто вроде палимпсеста; буквы, написанные с обеих сторон листа, сливались друг с другом. Прочесть это было трудно, но уж, во всяком случае, не невозможно.

Через несколько недель я продвинулся в чтении рукописи так далеко, что не видел необходимости по-прежнему хранить всю историю в тайне. Тогда-то я и написал ту первую статью, в которой сообщалось о происшествии. Теперь рукопись лежит передо мной целиком готовая, прочитанная, приведенная в порядок и переписанная, — и я ничуть не сомневаюсь в том, что она написана на Луне рукой одного из пяти участников первой экспедиции и послана оттуда на Землю.

Что касается остального, то содержание рукописи говорит само за себя».

К этому разъяснению, которое предшествовало публикации текста рукописи, ассистент добавил краткий очерк истории самой экспедиции.

А именно, он напомнил, что идея экспедиции принадлежала ирландскому астроному О'Теймору, а первым

ее пылким приверженцем, нимало не сомневающимся в ее осуществимости, стал молодой, известный в то время в Бразилии португальский инженер Педро Фарадоль. Эти двое, найдя третьего энтузиаста — поляка Яна Корецкого, который отдал в их распоряжение все свое довольно значительное состояние, начали хлопотать над реализацией уже ясно очерченного к тому времени плана. Прежде всего они представили наброски проекта академиям и научным учреждениям, а затем обратились за помощью к авторитетным специалистам для разработки деталей. Идея неожиданно нашла признание и возбудила энтузиазм; вскоре это было уже дело не одиночек, а всего цивилизованного мира, который загорелся желанием выслать своих представителей на Луну, чтобы тщательно исследовать ее. По предложению академий и астрономических институтов правительства поспешили оказать проекту финансовую поддержку, а поскольку не было недостатка и в солидных частных пожертвованиях, то инициаторы вскоре располагали такими средствами, на которые можно было снарядить уже не одну, а несколько экспедиций. Так и было решено. Но, как известно, осуществились только две экспедиции.

Экипаж первого корабля должен был состоять из пяти человек, в том числе троих авторов проекта; четвертым был англичанин, врач Томас Вудбелл, пятым — немец Браун, который, однако, в последнюю минуту неожиданно отказался. Вместо него явился неизвестный доброволец.

Во втором снаряде отправились два брата — французы по фамилии Ремонье.

Вслед за этим кратким историческим очерком ассистент очень подробно остановился на технической стороне предприятия. Он рассказал о том, как было сделано огромное орудие в форме стального колодца, об устрой-

стве снаряда, который на безвоздушной поверхности Луны можно было превратить в герметически замкнутую машину, приводимую в движение специальным электромотором; описывал защитные устройства, которые должны были предохранить путешественников от смертоносного сотрясения при выстреле, а потом при падении на Луну; наконец, перечислил все элементы внутреннего оборудования и снаряжения «движущегося жилища».

Луна — мир негостеприимный. Астрономам это давно известно, хоть они и знают Луну лишь издалека и — односторонне. Несмотря на колоссальное усовершенствование оптических приборов в двадцатом веке, Луна успешно противилась всем попыткам «приблизить» ее к Земле при помощи этих приборов на такое расстояние, чтобы можно было исследовать все детали ее поверхности. Обращаясь вокруг Земли на среднем расстоянии 384 тысячи километров, в тысячекратно увеличивающих линзах она кажется отстоящей от нее на 384 километра, что все еще составляет немалое расстояние. А более сильные линзы использовать нельзя, потому что при большем увеличении из-за малой прозрачности земной атмосферы изображение получается настолько неясным, что на нем не различить даже тех гор, которые вполне отчетливо видны через более слабые телескопы.

Вдобавок исследованию доступно только одно полушарие Луны. Дело в том, что Луна, совершая свой путь вокруг Земли за 27 дней 7 часов 43 минуты и 11 секунд, делает за это время лишь один оборот вокруг своей оси, а поэтому она обращена к Земле всегда одной и той же стороной своей поверхности. Это не случайное явление. Луна — не идеальный шар, а приближается по форме к чуть продолговатому яйцу. Сила притяжения Земли приводит к тому, что это яйцо поворачивается к ней острым

концом и вращается так, словно на привязи, лишенное возможности повернуться.

Изученная астрономами половина Луны дала, однако же, достаточно сведений, чтобы полностью дискредитировать эту планету в глазах людей, мечтающих о заселении иных, внеземных миров. Поверхность нашего спутника, вдвое превосходящая по площади Европу, выглядит в телескопах как безводное и пустынное плато, усеянное неисчислимым количеством кольцевых гор, по форме напоминающих гигантские кратеры — порой в сотни километров диаметром, — края которых вздымаются до семи тысяч метров над уровнем окрестных равнин. В северной части обращенного к нам полушария тянется ряд обширных округлых низин, которые получили у первых селенографов название морей. Эти равнины с крутыми берегами, образованными цепями недосыгаемо высоких гор, изрезаны во всех направлениях множеством трещин, происхождение которых всегда ставило астрономов в тупик, так как на Земле не существует ничего подобного. Эти трещины нередко бывают длиной в сто-полтораста километров, шириной — километра в два; глубина же их достигает тысячи метров, а то и более.

Если мы напомним еще, что эта поверхность почти полностью лишена атмосферы, что лунный «день», продолжающийся четырнадцать наших дней, представляет собой тамошнее лето, во время которого зной достигает неслыханного накала, а четырнадцатидневная ночь — это зима более морозная, чем наши полярные зимы, — то мы получим представление о мире, отнюдь не вдохновляющем на то, чтобы выбрать его в качестве «постоянного местопребывания». Тем более следует восхищаться самоотверженностью людей, которые отправились на эту планету, рискуя жизнью, с той единственной целью, чтобы

обогащать достоверными подробностями запас наших познаний об этом ближайшем небесном теле.

Впрочем, путешественники намеревались лишь как можно скорее пройти это негостеприимное полушарие и выбраться на другую, невидимую с Земли сторону Луны, где они не без оснований ожидали найти условия, пригодные для жизни. Большинство ученых, пишущих о Луне, утверждает, правда, что и на той стороне атмосфера слишком разрежена для того, чтобы в ней можно было дышать, но О'Теймор, основываясь на своих многолетних наблюдениях и расчетах, предполагал, что найдет там воздух, имеющий достаточную плотность, чтобы поддерживать жизнь, а вместе с воздухом — воду и растительность, которые могут доставить хотя бы самое скудное пропитание. Впрочем, эти смельчаки были готовы и на смерть, лишь бы сначала вырвать у звездного неба хоть одну из тайн, которые оно столь ревностно скрывает от человека. Их мужество вдохновлялось мыслью, что эта жертва ни в коем случае не будет бесплодной, ибо они смогут передать свои наблюдения оставшимся на Земле людям при помощи телеграфного аппарата. «А что если, — думали они порой, упиваясь величием своего предприятия, — что если мы откроем на той, таинственной стороне Луны волшебный и странный рай, новый мир, ничуть не схожий с земным, но гостеприимный?» Они мечтали о том, как вызовут тогда с Земли новых смельчаков, чтобы те преодолели сотни тысяч километров и основали там, на этой светлой планете, на шаре, светящемся в ясные ночи, новое общество, новое человечество... быть может, более счастливое...

Между тем, нужно было считаться с необходимостью преодолеть безвоздушное и безводное пустынное плоскогорье, занимающее всю обращенную к Земле сторону Луны. Это была не безделица. Окружность Луны состав-

ляет около одиннадцати тысяч километров, так что если бы они упали, как рассчитывали, в середину обращенного к Земле полушария, то им предстояло бы пройти по меньшей мере три тысячи километров, прежде чем они достигли бы тех мест, где надеялись получить возможность дышать и жить. Снаряд, имевший форму длинного цилиндра, конусообразно заостренного на одном конце, можно было превратить в герметически закрытую машину; в нем в изобилии содержались запасы сжатого воздуха, воды, провизии и топлива, которых хватило бы для пяти человек на целый год, то есть даже на более долгий срок, чем нужно для того, чтобы попасть на обратную сторону Луны.

Кроме того, путешественники взяли с собой множество различных инструментов, небольшую библиотечку и... собаку с двумя щенятами. Это была крупная красивая английская легавая, принадлежавшая Томасу Вудбеллу, по кличке Селена.

Обо всем этом подробно говорил ассистент из К... в сопроводительном очерке, который должен был служить комментарием к изданной вскоре рукописи.

Сама лунная рукопись, написанная на польском языке участником первой экспедиции Яном Корецким, состояла из трех частей, возникших в разные периоды, но связанных друг с другом в органическое целое — в повесть об удивительнейших приключениях и переживаниях человека, заброшенного на планету, висящую в голубых просторах за 384 миллиона метров от Земли.

Вот дословная перепечатка этой рукописи в соответствии с первым изданием, которое было подготовлено ассистентом обсерватории в К...

**Дневник
Яна Корецкого**



SCHWARTZ

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

На Луне, день...

Боже мой! Какую же дату мне поставить?! Этот чудовищный взрыв, которому приказали мы выбросить нас с Земли, разрушил то, что считалось там самым устойчивым из всего сущего, — он разрушил и разладил нам время. Это поистине ужасно! Подумать только, что здесь, где мы сейчас находимся, нет ни лет, ни месяцев, ни дней — наших кратких, прекрасных земных дней... Часы говорят мне, что прошло уже более сорока часов с тех пор, как мы упали на Луну; падали мы ночью, а Солнце все еще не взошло. Мы рассчитываем увидеть его только через двадцать с лишним часов. Оно взойдет и двинется по небу — лениво, в двадцать девять раз медленней, чем там, на Земле. Триста пятьдесят четыре часа будет сиять оно над нашими головами, а потом снова наступит ночь и продлится она триста пятьдесят четыре часа. После ночи снова день, такой же, как предыдущий, и вновь ночь, и снова день — и так без конца, без перемен, без времен года, без лет, без месяцев...

Если мы доживем...

Мы праздно сидим, запершись в своем снаряде, и ждем Солнца. О! Эта страшная тоска по Солнцу!

Ночь, правда, светлая, несравнимо светлее наших тамошних, земных ночей в полнолуние. Исполинский диск Земли неподвижно висит над нами на черном небе в зените и заливает белым сиянием ужасающую пустоту во-

круг нас. В этом странном свете все так таинственно и мертво... И холод... какой страшный холод!..

О'Теймор с момента катастрофы еще не приходил в себя. Вудбелл, хоть и сам изранен, не покидает его ни на миг. Он опасается, что это сотрясение мозга, и не слишком нас обнадеживает. На Земле, говорит, я спас бы его. Но здесь, в этой омерзительной стуже, здесь, где чуть ли не единственная наша пища — это запасы искусственного белка и сахара, где нам приходится экономить воздух и воду... Это было бы ужасно! Потерять О'Теймора, именно его, кто был душой нашей экспедиции!

Я, Фарадоль и Марта, и даже Селена с ее щенятами — все мы здоровы. Марта словно ничего не видит и не слышит. Только следит взглядом за Вудбеллом — беспокоится за его раны. Счастливец Томас! Как любит его эта женщина!

Ах, этот холод! Кажется, что замкнутый снаряд наш вместе с нами превращается в глыбу льда. Перо выскальзывает из моих оочеченевших пальцев. Когда же наконец взойдет Солнце!

Той же ночью, через 27 часов

О'Теймору все хуже, нельзя больше обманываться — это уже агония. Томас, ухаживая за ним, позабыл о своих ранах и теперь сам до того ослабел, что пришлось ему лечь. Марта сменила его у постели больного. Откуда у этой женщины берется столько сил? Едва опомнившись от удара при падении, она оказалась самой деятельной из всех нас. По-моему, она с тех пор еще не спала.

Этот холод...

Фарадоль сидит вялый и молчаливый. На коленях у него клубком свернулась Селена. Он говорит, что так им

обоим теплее. Щенят мы положили в постель, рядом с Томасом.

Я пытался заснуть, но не могу. Холод мне спать не дает и это призрачное сияние Земли над нами. Теперь уж видна лишь половина ее диска. Это означает, что вскоре взойдет Солнце. Мы не можем точно вычислить когда, ибо не знаем, в какой точке лунной поверхности находимся. О'Теймор легко рассчитал бы все по расположению звезд, но он лежит без сознания. Придется Фарадолю вместо него взяться за работу. Не знаю, почему он медлит.

По расчетам мы должны были упасть в Центральном Заливе, но бог один ведает, где мы находимся на самом деле. Над Центральным Заливом в эту пору уже светило бы Солнце. Видимо, мы упали дальше к «востоку» — как зовут на Земле ту сторону Луны, где для нас будет заходить Солнце, но не очень далеко от центра лунного диска, ибо Земля стоит над нами почти в зените.

Столько новых странных впечатлений обрушивается на меня отовсюду, что я не могу ни собрать, ни связать их. Прежде всего — это удивительное, прямо-таки пугающее ощущение легкости... Мы знали и раньше, что Луна, будучи в сорок девять раз меньше и в восемьдесят один раз легче Земли, станет притягивать нас вшестеро слабей, хоть мы и находимся ближе к ее центру тяжести; но одно дело — знать о чем-либо, а совсем другое — самому это почувствовать. Мы уже около семидесяти часов на Луне, а все еще не можем к этому привыкнуть. Не можем приноровить усилия мускулов к уменьшенному весу предметов, и даже к собственному весу! Стоит только быстро подняться с сиденья — и взлетаешь вверх почти на метр, хотя собирался всего лишь встать. Фарадолъ хотел было согнуть крюк из толстой проволоки, прикрепленной к стене. Ухватился рукой за проволоку — и взлетел вверх,

на одной руке! Позабыл, что весит теперь всего лишь тринадцать килограммов вместо семидесяти с чем-то! То и дело кто-то из нас внезапно сбрасывает какую-нибудь вещь, хотя собирался только передвинуть ее. Вбить гвоздь стало почти невозможно, потому что молоток, весивший на Земле два фунта, здесь весит от силы сто семьдесят граммов. Перо, которым я пишу, почти не ощущается в руке.

Марта сказала, что чувствует себя так, словно уже превратилась в призрак, лишенный тела. Это очень удачное определение. Действительно, от этого ощущения странной легкости становится как-то не по себе... Можно и вправду поверить, что ты уже в мире духов, особенно если глянешь на Землю, что сияет на небе, словно месяц, — только в четырнадцать раз больше и ярче того, который озаряет земные ночи. Я знаю, что это явь, но все мне кажется, будто я сплю или в зале оперы смотрю какую-то странную феерию. Вот-вот, думаю, опустится занавес и эти декорации свернутся, как сон...

Ведь и об этом знали мы прекрасно до отправления в путь — что Земля вот так будет гореть над нами, словно гигантская лампа, неподвижно подвешенная к небу. Я все время твержу себе, что это ведь так просто: Луна совершает свой путь, обратясь к Земле одной и той же стороной, а значит, Земля должна казаться неподвижной для тех, кто смотрит на нее с Луны. Да, это естественно, а все же страшит меня этот светящийся стеклянистый призрак Земли, уже семьдесят часов недвижимо и упорно глядящий на нас с высоты зенита!

Я вижу Землю сквозь окошко в обращенной кверху стенке снаряда и невооруженным глазом различаю темноватые пятна морей и сверкающие щиты материков. Неторопливо проплывают передо мной, поочередно возникая из тени, Азия, Европа, Америка, соскальзывают на

край светозарного шара и уходят, чтобы снова появиться через двадцать четыре часа.

И кажется мне, что вся Земля превратилась в безжалостно и зорко раскрытый глаз и с изумлением неотрывно глядит на нас, которые покинули ее в телесной своей оболочке, — первые из всех ее детей.

Мы увидели ее над собой тут же после падения, едва несколько опомнились и отвинтили железные крышки, защищавшие иллюминаторы нашего снаряда. Она была почти полной. Тогда она походила на глаз, широко раскрытый от изумления; теперь на этот страшный неподвижный зрачок медленно надвигается веко тени. В тот миг, когда Солнце, которому не предшествует рассвет, вспыхнет над скалами, словно пламенный шар без лучей на черном небе, этот глаз уже наполовину прищурится; а когда Солнце встанет над нами в зените, он сомкнется совсем.

Тремя часами позже

Меня позвали к О'Теймору, и я прервал эти записи, которыми заполняю долгие часы вынужденной бездеятельности.

Такой ужасающей крайности мы никогда не принимали в расчет — что нам придется остаться одним, без него. Мы были готовы к смерти, но к собственной смерти, а никак не к его! А тут — нет спасенья... Томас тоже лежит в горячке и вместо того, чтобы ухаживать за О'Теймором, сам нуждается в уходе. Марта ни на миг не покидает больных, от одного переходит к другому, а мы с Педро беспомощны и не знаем, как быть.

К О'Теймору не вернулось сознание и уже не вернется. Шестьдесят с лишком лет прожил он на Земле, чтобы тут...

Нет, нет! Не могу я выговорить этого слова! Это ужасно! Он! В самом начале!..

Мы так чудовищно одиноки здесь, в этой долгой, страшным холодом пронизывающей ночи.

Часа два назад Марта, словно охваченная внезапно этим ощущением безбрежной пустоты и одиночества, бросилась к нам, умоляюще сложив руки, крикнула: «На Землю! На Землю!» — и расплакалась.

А потом она вновь закричала:

— Почему вы не телеграфируете на Землю! Почему не сообщаете туда! Смотрите: Томас болен!

Бедная девушка! Что же могли мы ей ответить?

Она знает не хуже нас, что еще за сто двадцать с чем-то миллионов метров до Луны аппарат наш перестал действовать... Наконец, Педро напомнил ей об этом, но она, будто веря, что передача известия спасет больных, принялась настаивать, чтобы мы использовали пушку, которую взяли с Земли на случай, если испортится телеграфный аппарат.

Этот выстрел — теперь уже одно-единственное средство связи с теми, кто остался там...

Мы с Фарадолом уступили ей — и отважились выйти из снаряда.

Признаюсь, меня страх охватывал при одной мысли об этом. Там, за охраняющими нас стенами, действительно почти полная пустота. Ведь по свидетельству барометра плотность атмосферы здесь не достигает и одной трехсотой плотности земного воздуха. Наличие атмосферы, пусть даже такой разреженной, — обстоятельство чрезвычайно для нас благоприятное, ибо позволяет надеяться, что на той стороне Луны мы найдем атмосферу, достаточно плотную для дыхания. С каким сердечным трепетом мы несколько десятков часов назад впервые выдвигали барометр наружу! Сначала ртутный столбик

упал так стремительно, что нам показалось, будто он совершенно сравнялся с нижней чертой. Чудовищный ледяной страх сдавил нам горло: ведь это означало бы абсолютную пустоту, неизбежную смерть! Но мгновение спустя ртуть, вернувшись к равновесию, поднялась в трубке на 2,3 миллиметра! Мы вздохнули свободней — хотя тем наружным воздухом дышать все равно нельзя.

И теперь нам предстояло выйти в эту пустоту! Надев свои гермокостюмы и прикрепив за плечами резервуары с запасами сжатого воздуха, мы стояли наготове в тамбуре у выхода. Марта плотно закрыла за нами внутреннюю дверь, чтобы не ушел из снаряда столь драгоценный для нас воздух, — и тогда мы открыли наружную крышку люка...

Мы коснулись подошвами лунной почвы, и мгновенно охватила нас ужасающая тишина. Сквозь стеклянную маску на лице я увидел, как Педро шевелит губами, я понимал, что он ко мне обращается, но ни слова не слышал. Воздух здесь слишком разрежен и не может проводить человеческий голос.

Я поднял обломок камня и бросил его под ноги. Он упал медленно — медленней, чем на Земле, и совершенно беззвучно. Я пошатнулся, как пьяный; казалось мне, что я уж и вправду нахожусь в мире призраков.

Нам приходилось объясняться жестами. Земля, которая нас вскормила, теперь своим сиянием помогала нам понять друг друга.

Мы извлекли из наружной ниши в стене пушку и банку со взрывчатым материалом, специально для нее приготовленным. Работа эта далась нам легко — ведь пушка весит здесь только одну шестую того, что весила на Земле!

Теперь оставалось лишь, нацелив пушку точно в зенит, зарядить ее и вложить записку в выдолбленное ядро;

на Луне все весит так мало, что силы взрыва вполне хватит, чтобы доставить ядро по прямой линии на Землю. Но этого мы уже не смогли сделать. Чудовищный, отвратительный, ужасающий мороз железными когтями сдавил нам грудь. Ведь тут уже триста с лишним часов не светило Солнце, а атмосфера слишком разрежена, чтобы так долго удерживать тепло камней, раскаляющихся за долгий лунный день...

Мы вернулись в снаряд, который показался нам блаженным теплым раем, хоть мы так экономим топливо.

До восхода Солнца, которое согреет этот мир, невысказанно повторять попытку выйти. А этого Солнца все нет как нет!

Когда же оно наконец появится и что нам принесет?

*70 часов 46 минут по прибытии
на Луну*

О'Теймор умер.

*Первый лунный день, 3 часа после
восхода Солнца*

Нас уже только четверо. Сейчас двинемся в путь. Все готово: к снаряду нашему приделали колеса, поставили на него мотор, и теперь он превратился в машину, которая повезет нас через пустыню туда, где можно будет жить....

О'Теймор останется здесь...

Мы покинули Землю, но смерть, великая владычица земных племен, вместе с нами пролетела сквозь космические просторы и вот напомнила сразу же, вначале, что она здесь, рядом — безжалостная и победоносная, как всегда. Мы ощутили ее присутствие, и близость, и всемогущество так живо, как никогда не ощущали там, на Зем-

ле. Невольно смотрим друг на друга — чья теперь очередь?

Была еще ночь, когда Селена вдруг сорвалась с места, выбежала из угла, где, свернувшись клубком, лежала последние два часа, и, вытянув морду к светящемуся в окне полумесяцу Земли, жутко завывала. Мы все вскочили, будто подброшенные какой-то внутренней силой.

— Смерть идет! — вскрикнула Марта.

А Вудбелл, который, почувствовав себя лучше, снова дежурил у постели О'Теймора, медленно повернулся к нам.

— Уже пришла, — сказал он.

Мы вынесли труп из снаряда. В этой скалистой почве невозможно выкопать могилу. Луна не хочет принимать наших мертвецов — как же примет она нас, живых?

Положили мы О'Теймора навзничь на этих суровых лунных скалах, лицом к небу и к сияющей на нем Земле и начали собирать рассыпанные кое-где на равнине камни, чтобы из них сложить могилу. Обнесли труп невысоким валом, но не нашли подходящей по размеру каменной плиты, чтобы прикрыть его сверху. Тогда Педро сказал в трубку, которая соединяла наши шлемы и давала возможность переговариваться:

— Оставим его так... Разве ты не видишь, что он смотрит на Землю?

Я взглянул на мертвеца. Он лежал на спине и, казалось, вправду всматривался раскрытыми остекленевшими глазами в око Земли, которое все сильнее жмурилось от блеска еще не видимого нам Солнца.

Пушай так и останется...

Из двух стальных брусьев, обломков раздробленной рамы амортизатора, который спас нас от гибели при падении, мы сделали крест и укрепили его на каменном валу над головой О'Теймора.



И тут — как раз когда мы, завершив свое печальное дело, собрались возвращаться — произошло нечто удивительное. Вершины гор, маячившие перед нами в мертвенном свете Земли, внезапно, без всякого перехода на мгновение стали кроваво-красными и сразу же вслед за тем запылали слепяще-белым пламенем на фоне все еще черного неба. Подножия гор, теперь совсем черные от светового контраста, были почти невидимы, и лишь эти вершины, все словно из стали, добела раскаленной в огне, висели над нами в вышине, медленно, но непрестанно вырастая. Из-за отсутствия атмосферы тут не было перспективы, которая на Земле позволяет оценить расстояние, и эти сверкающие пятна на фоне черного неба среди звезд будто висели прямо над нашими головами, оторвавшись от каменного основания, тонущего в сумраке. Мы руку боялись протянуть, чтобы не уткнуться пальцами в эти куски живого пламени.

А они все разрастались на наших глазах, казалось, что они медленно и неумолимо приближаются к нам; мы уже только их и видели, они словно были совсем близко, прямо перед нами... Мы невольно попятились, забыв, что до вершин этих сотни, а может, и тысячи метров.

Потом Педро обернулся и вскрикнул. Я тоже обернулся — и остолбенел, пораженный новым, невиданным зрелищем на востоке.

Над черными зубцами горного хребта стоял тусклый серебристый столб зодиакального света. Мы глядели на него, позабыв на миг об умершем, и вдруг, немного спустя, у подножия этого светового столба, над самым краем горизонта, начали вспыхивать подвижные, пляшущие красные огоньки, образуя венец.

Это всходило Солнце! Долгожданное, желанное, животворное Солнце, которого О'Теймор здесь уже не увидит!

Мы оба расплакались, как дети.

Сейчас Солнце сияет уже над чертой горизонта, яркое и белое. Красные огоньки, что засверкали первыми, были протуберанцами — гигантскими выбросами пылающих газов, которые летят из Солнца во все стороны. На Земле они меркнут от света, рассеянного в атмосфере, и бывают видны лишь во время полного солнечного затмения. Здесь же, где нет воздуха, они возвестили нам появление солнечного диска и долго еще будут каждый раз его возвещать, бросая кровавый отблеск на горы, прежде чем те раскалятся добела в полном свете дня.

Лишь минут через двадцать, когда свет уже спустился с горных вершин к нам в долину, мы вместо колеблющегося венца красных огоньков увидели над горизонтом белую кайму солнечного диска: целый час потребовался на то, чтобы этот диск целиком вынырнул из-за скалистых зубцов на востоке.

Все это время мы, несмотря на ужасающий мороз, занимались подготовкой к путешествию. Но действительно дорога каждая минута, больше медлить невозможно. Теперь уже все готово.

После восхода Солнца стало теплей. Лучи его, хоть и ложатся еще очень косо, греют в полную силу, не ослабленные, как на Земле, поглощающей атмосферой.

Странное зрелище...

Солнце сияет, как яркий шар без лучей, лежащий на горах, словно на гигантской черной подушке. Лишь два цвета, невыразимо терзающие взгляд своей контрастностью, существуют здесь: белый и черный. Небо черное и, хотя день уже наступил, усеяно бесчисленным множеством звезд; ландшафт вокруг пустынный, дикий, устрашающий — без смягченного света, без полутеней, слепяще-белый под лучами Солнца, непроглядно черный в тени. Здесь нет атмосферы, которая там, на Земле, придает

небу этот чудесный голубой цвет, а сама, пропитанная светом, растворяет в себе звезды перед восходом Солнца и рождает рассветы и сумерки, розовеет зорями и хмурится тучами, опоясывается радугой и творит нежные переходы от света к тьме.

Нет! Глаза наши определенно не созданы для этого света и этого пейзажа!

Мы находимся на обширной равнине с монолитной каменной поверхностью, кое-где изрезанной небольшими расселинами и вздымающейся невысокими, пологими и продолговатыми холмами, которые тянутся в северо-западном направлении. На западе (восток и запад этого мира я обозначаю в соответствии с истинным положением дел, то есть противоположно тому, что мы видим на земных картах Луны) — итак, на западе виднеются невысокие, но чрезвычайно крутые взгорья, над которыми господствуют уходящие в небо неровные зубцы какой-то вершины. На севере равнина поднимается плавно, однако же, кажется, на значительную высоту. На востоке множество расселин, возвышений, разломов и маленьких котловин, похожих на искусственно сделанные выемки; к югу простирается необозримая равнина.

Фарадоль считает на основании наспех проделанных измерений высоты Земли на небе, что мы действительно находимся в Центральном Заливе, куда и должны были упасть по расчетам. Мне в это не очень верится, ибо вершины, окаймляющие долину Центрального Залива с запада и с севера, известные по лунным картам — Мёстинг, Зоммеринг, Шрётер, Боде и Паллас, ни по размещению, ни по высоте не соответствуют тому, что мы видим здесь. Но, в конце концов, не все ли равно! Мы отправимся на запад, чтобы, двигаясь вдоль экватора, где, судя по картам, грунт наиболее ровный, обогнуть лунный шар и попасть на ту сторону.

Минуту спустя ничего тут от нас не останется, кроме гроба да креста, на веки веков обозначившего место, где первые люди ступили на Луну.

Прощай же, могила товарища, первое сооружение, которое мы воздвигли в этом новом мире! Прощай, мертвый друг, дорогой и недобрый отец наш, который увел нас с Земли и покинул у входа в новую жизнь! Этот крест, водруженный на твоей могиле, словно знамя, свидетельствующее о том, что победоносная Смерть, прибыв сюда вместе с нами, уже причислила этот край к своим владениям... Мы бежим от нее, а ты спокойней нас, ты останешься тут с ней, любуясь Землей, которая тебя родила, с крестом над головой, которому ты свято верил!

*Первый лунный день, 197 часов
после восхода Солнца, Море Дождей,
11° западной лунной долготы,
17°21' северной широты*

Наконец удалось мне собраться с мыслями. Что за ужасный, безжалостно долгий день, что за жестокое Солнце, чуть не двести часов пышущее пламенем с этого бездонного черного неба! Двадцать часов прошло после полудня, а оно стоит почти еще отвесно над нашими головами, среди непригасших звезд, рядом с черным кругом Земли в новоземлии, который окаймлен пламенным кольцом светящейся атмосферы. Какое странное небо над нами! Все вокруг нас изменилось, и лишь созвездия те же, на которые мы смотрели с Земли, но тут, где взгляду не мешает воздух, звезд этих можно увидеть несравненно больше. Весь небосвод усыпан ими, словно песком. Двойные звезды сверкают, будто разноцветные точки, зеленые, красные или синие, не сливаясь в белый цвет, как на Земле. Притом здешнее небо, лишенное цветного

воздушного фона, не кажется гладким полым куполом; нет, чувствуется его безмерная глубина, и не нужны вычисления, чтобы определить, какая звезда ближе, а какая дальше. Глядя на Большую Медведицу, я чувствую, в какую громадную даль отодвинуты некоторые ее звезды по сравнению с другими, более близкими, а на Земле все они выглядели, как семь гвоздей, вбитых в гладкий свод. Млечный Путь здесь не полоса, а огромная толстая змея, ползущая по черным безднам. Мне кажется, будто я смотрю на небо сквозь какой-то волшебный стереоскоп.

А самое странное — это Солнце среди звезд, пламенное, страшное, но не затмевающее ни одного, даже самого убогого небесного огонька...

Зной ужасный; кажется, скалы вскоре начнут таять и растекаться, словно лед на наших реках в погожие мартовские дни. Столько часов тосковали мы по свету и теплу, а теперь пришлось прятаться от Солнца, чтобы не погибнуть. Мы уже часов пятнадцать стоим на дне глубокой расщелины, тянущейся от крутых обрывов Эратосфена вдоль Апеннин в просторы Моря Дождей. Только здесь, в тысяче метров под лунной поверхностью, нашли мы тень и прохладу...

Укрывшись тут, мы спали, парализованные усталостью, часов двенадцать без перерыва. Приснилось мне, что я еще на Земле, в какой-то зеленой прохладной роще, где журчит по свежей траве разлившийся кристально чистый ручей. По голубому небу плывут белые облака, я слышу пение птиц, и жужжание насекомых, и голоса людей, работающих на поле.

Пробудил меня лай Селены, требовавшей пищи.

Я открыл глаза, но весь еще во власти снов долго не мог понять, где я и что со мной творится, что означает эта замкнутая машина, в которой мы лежим, и эти скалы вокруг, пустынные и дикие. Наконец я понял все, и невы-

разимая тоска стеснила мне грудь. Селена тем временем, увидев, что я уже проснулся, подошла ко мне и, положив морду на колени, начала вглядываться в меня своими умными глазами. Показалось мне, что я вижу в этом взгляде какой-то немой укор... Я молча погладил ее по голове, а она жалобно заскулила, озираясь на щенят, весело игравших в углу. Эти щенята, Заграй и Леда, — единственные существа, которым тут весело.

Ах, правда! Иногда еще и Марта бывает веселой, как маленький зверек, но лишь в те минуты, когда Вудбелл, все еще прихварывающий, протягивает руку, чтобы коснуться ее необычайно густых и пышных темно-каштановых волос. Тогда ее смуглое лицо светлеет от улыбки, а большие черные глаза, сияющие безграничной любовью, неотступно глядят на лицо любимого, еще недавно такое мужественное и красивое, а теперь изнуренное, изглоданное лихорадкой. Марта делает все, чтобы развеселить его, чтобы каждым движением, каждым взглядом сказать ему, что она его любит и счастлива с ним даже здесь, где так трудно быть счастливой. Не могу сдержать мучительной зависти, когда вижу, как она своими полными вишневыми губами, такими страстными, касается его исхудалых рук, шеи, лица, как целует веки холодных стальных глаз, а потом, охватив его голову ладонями, прижимает ее, словно малого ребенка, к груди и поет ему странные, непонятные для нас песни. Он слышал эти песни, наверное, из этих же так горячо целующих его уст в родном ее краю, на Малабарском побережье, и сейчас под их звуки ему грезится, должно быть, колыхание пальм и шум лазурного моря... Эта женщина тайком принесла сюда для него в душе своей весь тот мир, что для нас исчез безвозвратно.

Не забыть мне дня, когда я впервые увидел ее. Было это сразу после того, как мы получили известие об отка-

зе Брауна. Сидели мы все четверо в Марселе, в гостиничном номере, окна которого выходили на залив, и говорили об этом отступничестве товарища, которое всех нас очень чувствительно задело.

В это время нам доложили, что какая-то женщина хочет немедленно увидеться с нами. Мы еще колебались, принять ли ее, когда она вошла сама. Одетая она была так, как одеваются в Южной Индии дочери местных богачей; лицо ее, на редкость красивое, выражало и робость, и решимость. Мы все удивленно вскочили, а Томас побледнел и, перегнувшись через стол, пристально глядел на нее. Она остановилась у порога, поникнув головой.

— Марта! Ты здесь? — крикнул наконец Вудбелл.

Она шагнула вперед и подняла голову. На лице ее не было уже тени колебаний и сомнений, оно все пылало подлинно южной страстной любовью. Веки тяжело опустились на пламенные черные глаза, полураскрытый рот, округлый подбородок выдвинулись вперед. Она протянула руки к Томасу и ответила, глядя ему в глаза из-под полуприкрытых век:

— Я пришла вслед за тобой и пойду с тобой хоть на Луну!

Вудбелл был бледен как труп. Он схватился руками за голову и скорее простонал, чем крикнул:

— Это невозможно!

Тогда она обвела нас взглядом и, догадавшись, видно, по возрасту, что О'Теймор — наш руководитель, бросилась ему в ноги так быстро, что он не успел отступить.

— Господин! — молила она, цепляясь за его одежду. — Господин, возьмите меня с собой! Я возлюбленная вашего друга, я люблю его, я все для него бросила, так пускай он теперь не бросает меня. Я узнала, что вам не достает товарища, и приехала прямо из Индии! Возьмите меня! Я вам хлопот не доставлю, я служанкой вашей

буду! Я богата, очень богата, я дам вам золота и жемчуга, сколько захотите, — отец мой был раджой в Траванкоре на Малабарском побережье и великие сокровища оставил мне! И я очень сильная, смотрите!

Говоря это, она протягивала к нам нагие смуглые округленные руки.

Фарадоль возмутился:

— Но ведь к такому путешествию надо подготовиться! Это вам не прогулка на пароходе из Траванкора в Марсель!

В ответ она рассказала, как втайне от Томаса проделывала те же упражнения, которые делали мы, все время надеясь, что в последнюю минуту ей удастся умолить нас и мы возьмем ее с собой. Теперь она лишь пользуется случаем, чтобы осуществить давно принятое решение. Она знает от Томаса, что там, на Луне, можно встретить смерть, но она не хочет жить без него! И опять она молила нас.

Тогда О'Теймор, все время молчавший, обратился к Томасу с вопросом, хочет ли он взять ее с собой, а когда Вудбелл, не в силах вымолвить ни слова, кивнул, О'Теймор положил руку на пышные волосы девушки и произнес, медленно и торжественно:

— Пойдешь с нами, дочка. Может быть, бог избрал тебя Евой нового поколения — лишь бы оно было счастливей, чем земное!

Так живо стоит в памяти у меня эта сцена...

Но Марта зовет меня. У Томаса снова горячка, надо дать ему лекарство.

Двумя часами позже

Зной не слабеет, а все усиливается. Мы продвинулись еще глубже, чтобы от него укрыться. Пока жара не спадет, нечего и думать о дальнейшем пути. Ужас меня

охватывает, как вспомню, что мы должны проделать почти три тысячи километров, прежде чем достигнем цели... А кто поручится, что там можно будет жить?.. Один О'Теймор не сомневался в этом, но его уже нет среди нас.

Путемер в нашей машине показывает, что мы прошли уже сто шестьдесят семь километров; если посчитать время, то выходит по одному километру в час. А мы ведь продвигались сравнительно быстро.

Мы двинулись в путь через четыре часа после восхода Солнца, направляясь прямо на запад. Полагая, что находимся в Центральном Заливе, мы хотели выбраться на равнину между горами Зоммеринг и Шрётер, а оттуда, обойдя Зоммеринг с севера и запада, приблизиться к экватору и продвигаться вдоль него прямоком в направлении кольцевой горы Гамбарт и более высокой Ландсберг, лежащей дальше на запад по экватору.

Почва была на редкость ровная, почти без расщелин, поэтому машина шла быстро. Надежда и воодушевление возродились в наших сердцах, было нам тепло и легко, только воспоминание об О'Тейморе временами омрачало нашу радость. Томасу стало лучше, и Марта, видя это, сияла от радости. Вновь начали мы строить блестящие планы. Путь казался нам не очень дальним, труды не слишком тягостными. Мы восхищались невообразимо диким, великолепным в своей мертвенности пейзажем или же, развернув карту, пытались предугадать, какие фантастические картины нас ожидают. Фарадоль снова начал перебирать все расчеты и аргументы О'Теймора, по которым обратная сторона Луны наверняка пригодна для жизни, а уж занимательна и великолепна — сверх всяких мер. И правда, говорили мы себе, если там сверкают на Солнце такие же горы, как здесь, а вдобавок есть зелень и вода, то, воистину, стоит преодолеть триста восемьде-

сят четыре тысячи километров, чтобы повидать этот край! Мы оживленно переговаривались, а Томас и Марта, прижавшись, как обычно, друг к другу, строили радужные планы будущей своей жизни в том раю. Даже Селена, заслышав бодрые голоса, принялась радостно лаять и носиться по машине вместе с развеселившимися щенками.

Так прошло три часа, и мы проделали около тридцати километров, когда Фарадол, заступивший на вахту у руля, вдруг остановил машину. Перед нами с юга на северо-запад протянулся невысокий округлый скалистый вал. Его легко было преодолеть, но следовало точно определить направление, в котором нам надлежит двигаться. В северо-западной стороне вздымались какие-то изломанные, недосыгаемо высокие пики, которые мы сочли зубцами кратера Зоммеринг. Правда, этот кратер, как называют здешние кольцевые горы земные астрономы, поднимается всего лишь на 1400 метров над окружающей равниной, а пики казались несравненно более высокими, но мы приписывали это легко объяснимой оптической иллюзии. Впрочем, можно было также предположить, что мы упали в юго-западной части Центрального Залива, на равнине, открывающейся к широкому полукругу цирка Фламмариона, и, значит, справа от нас находится кратер Мёстинг, достигающий изрядной высоты — 2300 метров. Во всяком случае, надлежало обойти эту гору с севера, чтобы не менять первоначального плана. Вудбелл советовал еще раз произвести астрономические измерения, чтобы определить, где мы находимся, но мы не хотели сейчас терять времени и отложили эту работу на более жаркую пору, когда все равно придется остановиться из-за слишком сильного зноя.

Итак, мы направили машину прямо на север. Дорога становилась все более трудной. Местность медленно под-

нималась; то и дело натыкались мы на расщелины, которые приходилось объезжать, либо на обширные площади монолитной скальной породы вроде гнейса, сплошь усеянные обломками. Мы продвигались с большим трудом и все медленней. В нескольких местах пришлось выходить из машины, надев гермокостюмы, и прокладывать дорогу, отбрасывая нагроможденные обломки. В такие минуты мы благословляли малую силу тяжести на Луне — ведь нам легко было передвигать и перебрасывать даже большие глыбы. Поначалу нам эта работа даже нравилась. Ворочая огромные глыбы, любой из нас со стороны казался богатырем. Даже Марта помогала нам. Один Томас оставался в машине у руля — он был слишком слаб. Боль в ранах утихла, но лихорадка то и дело возвращалась.

Так двигались мы примерно километров десять от того места, где повернули на север. Слева все время тянулись невысокие, но чрезвычайно крутые предгорья, за которыми вздымались гигантские, невероятно отвесные пики. Местность перед нами постепенно поднималась, образуя гигантский вал; из-за него торчал одинокий острый пик. Направо, к востоку, тянулась цепь все более высоких гор.

Прошло уже двадцать четыре часа после восхода Солнца, когда мы выбрались на гладкое плато из скального монолита, где можно было продвигаться быстрее. Тут мы решили остановиться на отдых. Да и странный рельеф местности все более тревожил нас.

Мы уже были почти уверены, что находимся не в Центральном Заливе, а в каком-то другом районе Луны. Следовало, наконец, произвести точные измерения, чтобы определить лунную долготу и широту нашего местонахождения.

Наскоро перекусив, мы сразу же принялись за работу.

Педро установил астрономические приборы. Центр земного диска был отклонен от зенита на шесть градусов к востоку и на два градуса к северу, следовательно, мы находились под 6° западной долготы и 2° южной лунной широты, иными словами, на краю Центрального Залива, рядом с кратером Мёстинг. В этом не приходилось сомневаться, измерения были очень точны. Поэтому мы решили продвигаться дальше в том же направлении.

Только собрались мы продолжать путь, как Фарадоль воскликнул:

— А наша пушка! Мы забыли пушку!

И точно, мы лишь сейчас вспомнили, что наша пушка, единственное и последнее средство связи с Землей, осталась вместе с зарядом и ядром у могилы О' Теймора. Отправляясь в дорогу, мы были так ошеломлены смертью О'Теймора и похоронами, что забыли взять с собой столь ценную для нас пушку. Это была невосполнимая потеря, тем более мучительная, что после обрыва телеграфной связи возможность послать снаряд с известием была последней нитью, соединяющей нас с Землей. Мы вдруг ощутили себя столь безмерно одинокими, будто в этот миг оказались еще дальше от планеты, которую и так уже отделяют от нас сотни тысяч километров.

Первой нашей мыслью было вернуться и забрать оставленную пушку. Особенно настаивал на этом Вудбелл, который считал необходимым связаться с Землей, чтобы там приостановили дальнейшие намеченные экспедиции, пока мы не дадим знать, что нашли здесь условия для жизни.

— Если нам суждено погибнуть,— говорил он,— зачем же гибнуть еще и другим... Вы ведь знаете, что братья Ремонье уже готовы отправиться. Они ждут от нас телеграфного известия, но наш аппарат не действует. Нужно их задержать, хотя бы на время.

Однако вернуться было нелегко. Прежде всего потому, что перед нами лежал бесконечно долгий путь и дорог был каждый час: ведь если задержки будут повторяться, то запасы продовольствия и воздуха могут кончиться, а тогда мы будем обречены на неизбежную гибель. И так уже из-за болезни О'Теймора нам пришлось основательно задержаться, а мы знали, что мороз или зной еще неоднократно принудят нас останавливаться на десятки часов. А кроме того, кто поручится, что мы снова попадем на то место, где оставлена пушка?

Фарадоль пытался избавить Томаса от угрызений совести.

— Ведь братья Ремонье,— говорил он,— не отправятся в путь, пока не получают от нас известия. И вообще, почему знать, куда упадет на Земле ядро с посланием, может, в такое место, где его никто не найдет.

Припомнили мы и то обстоятельство, что пушкой, рассчитанной только на вертикальный выстрел, мы можем пользоваться лишь поблизости от центра лунного диска, где Земля будет находиться над нами в зените. Для параболического выстрела из другого района Луны не хватит силы заряда, да если б и хватило, то мы не смогли бы установить пушку столь точно, чтобы быть уверенными, что снаряд, летя по кривой, не минует своей цели — Земли. Так что, приостановив первым выстрелом последующие экспедиции, мы уже не могли бы потом, отыскав подходящие условия для жизни где-то на краю видимого с Земли лунного диска, повторным выстрелом призвать к себе новых товарищей. Таким образом, мы были бы обречены здесь на пожизненное одиночество. Теперь же, если случится так, что братья Ремонье все же придут, у них, возможно, окажется более мощный телеграфный аппарат, и тогда мы приобретем и товарищей, и средство постоянной связи с жителями Земли.

Из этих соображений следовало, что не стоит тратить время на поиски орудия, по существу почти бесполезного для нас. Поэтому после краткой задержки мы продолжили свой путь.

Снова прошло двадцать четыре часа, и за нами было уже около ста тридцати километров пути. Солнце стояло в 28° над горизонтом, и жара все нарастала. При этом мы заметили любопытное явление. Стенка машины, освещенная Солнцем, раскалилась так, что едва не обжигала, а теневая сторона ее была холодна, как лед. И мы ощущали холод всякий раз, как попадали в тень какого-нибудь скального карниза, которые встречались нам все чаще. Эти резкие перепады жары и холода вызваны здесь отсутствием атмосферы, которая на Земле, правда, уменьшает прямую силу солнечных лучей, но зато, прогреваясь сама, распределяет тепло равномерно и препятствует слишком быстрой его потере через лучеиспускание.

По той же причине любая тень здесь — это ночь. Свет не рассеивается в атмосфере и достигает лишь тех мест, которые открыты действию солнечных лучей. Если б не отражение от освещенных Солнцем гор да не свет Земли, то, попадая в тень, мы вынуждены были бы включать электрические фонари.

Мы уже преодолели наклонную равнину и начали поворачивать к западу, чтобы обойти предполагаемый кратер Мёстинг. Дорога становилась все хуже, и мы продвигались вперед очень медленно и с большим трудом.

Мы находились в краях гористых и несказанно диких с виду. Это ничуть не походило на земные альпийские пейзажи. Там среди горных хребтов простираются долины, продолбленные на протяжении тысячелетий воздействием воды; здесь ничего подобного и в помине нет. Почва тут вся складчатая и вздыбленная; повсюду множест-

во глубоких круглых котловин с приподнятыми краями и отдельно разбросанных гладких куполообразных холмов, которые достигают порой значительной высоты. Вместо долин — глубокие расщелины, длиной в целые мили; они будто возникли от удара гигантского топора, который по прямой линии рассек плоскогорья и вершины. Нет никаких сомнений, что эти трещины возникли, когда застывала и сжималась кора Луны.

Зато мы нигде не встретили следов воздействия воды, не наблюдали столь могущественной на Земле эрозии. Я думаю, что в этих краях никогда и не было ни воздуха, ни воды. Поэтому мы сначала удивлялись, видя множество обломков, рассыпанных по скальному грунту. Но несколько позже, когда зной достиг прямо-таки границ невозможного, мы поняли, какая сила взамен воды разрушает здесь скалы. Мы проезжали мимо высокой скалы из породы, чрезвычайно походившей на земной мрамор, как вдруг на наших глазах от ее вершины оторвался обломок диаметром метров десять и рухнул в пропасть, разбиваясь в крупный щебень. Происходило все это пугающе беззвучно. Из-за отсутствия воздуха мы не слышали грохота — только почва под машиной задрожала, будто Луна вдруг закачалась на своих устоях.

Это яростные клыки Солнца отгрызли кусок каменного мира. Скалы, стиснутые ночью морозом, словно железным обручем, во время страшного дневного зноя расширяются с той стороны, где на них падают палящие лучи. В тени все так же холодно; из-за неравномерного расширения монолиты трескаются и крошатся.

Эти колючие остроугольные обломки, устилавшие огромные площади, давали себя знать. Попадались такие участки, где машина на колесах вообще не могла продвигаться. Тогда мы надевали на нее «лапы», которые действуют точь-в-точь как ноги у животных, и, покачиваясь

на них, пробирались через нагромождения раздробленных скал или карабкались по крутым склонам.

Несмотря на многочисленные испытания, которые проводились на Земле со снарядам, превращенным в машину, мы не могли себе представить всех трудностей такого продолжительного путешествия. Я уверен, что если бы сила притяжения Луны, а следовательно, и тяжесть на этой планете была хоть наполовину больше, мы погибли бы среди этих нагроможденных скал и осыпей, не будучи в силах сдвинуться с места.

С восхода Солнца прошли уже третьи земные сутки; за эти последние двадцать четыре часа мы продвинулись всего на двадцать километров. Жара становилась уже невыносимой. Задыхаясь в душном, раскаленном воздухе кабины, страдая от непрерывной тряски, Вудбелл снова залихорадил. Раны, полученные при нашем падении на лунную поверхность, вновь начали мучить его. Счастье, что хоть мы трое целы и невредимы! Дрожь ужаса пронизывает меня, как вспомню об этом чудовищном сотрясении!

Сначала, еще в пространстве, глухо взорвались мины, размещенные под дном снаряда, чтобы снизить скорость падения, потом одним нажатием кнопки была выдвинута стальная защитная рама и... Нет! Это невозможно описать! Я только видел в последнюю минуту, как Марта, перегнувшись из своего гамака, прижалась губами к губам Томаса. О'Теймор воскликнул: «Вот мы и прибыли!»— и... я потерял сознание.

Когда я открыл глаза, О'Теймор лежал окровавленный, Вудбелл тоже, Фарадоль и Марта были без чувств... Из обломков раздробленной рамы мы сделали потом крест на могиле О'Теймора...

Наши хронометры показывали девяносто восемь часов после восхода Солнца, когда мы, изнемогая от уста-

лости и зноя, увидели наконец, что приближаемся к вершине возвышенности, на которую с таким трудом взбирались. За эти четверо земных суток, что составляет чуть больше четверти лунного «дня», мы спали мало, а потому решили остановиться на некоторое время для отдыха. Особенно Вудбелл нуждался в сне и покое.

Машину мы поставили в тень скалы, чтобы не изжариться заживо в нестерпимых лучах Солнца, и легли спать. Я проснулся через два часа, превосходно отдохнув. Остальные еще спали. Не желая их будить, я надел гермокостюм и вышел из машины, чтобы исследовать окрестность. Едва я выдвинулся из тени, как почувствовал, будто очутился внутри раскаленной домны. Уже не зной, а просто белый огонь лился с небес, почва обжигала ноги даже сквозь толстые подошвы защитной обуви. Мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не спрятаться в машину.

Мы находились в неглубокой горловине, разделяющей две куполообразные возвышенности; она заканчивалась чем-то вроде перевала между ними и дальше переходила — насколько можно было судить с того места, где я стоял, — в плоскогорье, тянувшееся за этими возвышенностями к западу. Эти куполообразные горки заслоняли мне вид также с севера и с юга. Только к востоку видна была дорога, которую мы уже прошли. Я смотрел на каменные просторы, сплошь состоящие из провалов, расщелин, котловин и торчащих скал, и прямо глазам своим не верил, что мы смогли пробраться через все это в своей тяжелой, громоздкой машине.

На Земле, при тяжести вшестеро большей, это было бы абсолютно невозможно.

Тут я почувствовал, что меня кто-то толкает. Я оглянулся: за мной стоял Фарадоль и делал отчаянные знаки. Хотя я и вышел из машины в гермокостюме, но не взял с

собой переговорной трубки, так что мы не могли понять друг друга. Я только видел, что он бледен и чем-то необычайно смущен. Подумав, что Томасу стало хуже, я бегом бросился к машине. Фарадоль последовал за мной.

Как только мы оказались в машине и сбросили гермокостюмы, Фарадоль сказал, наклонясь ко мне:

— Не буди никого и слушай: произошло нечто ужасное, я ошибся.

— Что? — воскликнул я, еще не понимая, о чем он говорит.

— Мы упали не в Центральном Заливе.

— А где же мы тогда?

— Под Эратосфеном, на перемычке, соединяющей этот кратер с лунными Апенниннами.

У меня потемнело в глазах. По фотографиям лунной поверхности, сделанным с Земли, я знал, что горный хребет, на котором мы находимся, обрывается почти отвесно к лежащей на западе огромной равнине Моря Дождей.

— Как же мы спустимся отсюда? — с ужасом воскликнул я.

— Тише. Один бог знает. Моя вина. Мы упали в Заливе Зноя. Смотри...

Он придвинул ко мне карту и листки, исписанные рядами цифр.

— А ты все же не ошибаешься? — спросил я.

— К сожалению, на этот раз не ошибаюсь! Те измерения тоже были точными, только я забыл, что Земля тогда не могла находиться в зените над центром лунного диска. Ты же знаешь, что Луна, вращаясь вокруг своей оси подвергается либрациям и поэтому Земля над ней не висит совершенно неподвижно в небе, а описывает небольшой эллипс. Так вот, я забыл ввести поправки на это отклонение ее от зенита и потому неправильно определил лунную долготу и широту той точки, где производил из-

мерения. Теперь все мы рискуем заплатить за мою рассеянность жизнью!

— Успокойся!— сказал я, хотя сам весь дрожал.— Может, нам удастся спастись.

Затем мы вместе принялись за проверку расчетов. На этот раз никаких сомнений не было. После введения необходимой поправки оказалось, что мы упали в Заливе Зноя, под $7^{\circ}35'$ западной лунной долготы и $13^{\circ}8'$ северной широты. Все это время мы продвигались вдоль крутых предгорий у подножия гигантского Эратосфена, имея прямо перед собой небольшой, но чрезвычайно обрывистый безымянный кратер, который располагался уже в отрогах начинающихся здесь Апеннин. В данный момент мы находились под 11° западной лунной долготы и $15^{\circ}51'$ северной широты.

Мы отметили этот пункт на карте Луны. Согласно ей, перешеек возвышался на 962 метра над уровнем Моря Дождей.

Это удивительно, что земные астрономы за сотни тысяч километров легко могут вычислить высоту любой лунной горы, измеряя в телескопы длину отбрасываемой ею тени, а мы, находясь на этой горе, должны прибегать к помощи карты, составленной на Земле, чтобы узнать, какова ее высота. Отсутствие атмосферы — такой, которую можно было бы принимать в расчет, — делало невозможным барометрические измерения высоты. Перемена, которую мы заметили в барометре, сводилась к тому, что ртуть в трубке упала, почти сравнившись с поверхностью жидкости в сосуде. На той высоте, где мы находились, была почти абсолютная пустота.

Томас и Марта вскоре проснулись. Нельзя было скрывать от них наше подлинное положение. Поэтому я сообщил им, со всевозможными предосторожностями, как обстоят дела. Это не произвело на них особо сильного впе-

чатления. Томас только нахмурился и прикусил губу, а Марта, насколько я мог судить по ее поведению, не вполне понимала всего ужаса ситуации.

— Ну и что ж,— заявила она,— как поднялись, так и спустимся, а не то, так вернемся обратно.

Как поднялись, так и спустимся! Боже мой! Да ведь это же чистейшая случайность, что мы попали на дорогу, которая нас сюда привела! А возвращаться... Потерять столько трудов и столько времени?

В конце концов, мы решили выйти на этот перевал, чтобы посмотреть, не удастся ли с него спуститься на равнину Моря Дождей. Машина двинулась с места, и минут через пятнадцать мы оказались над пропастью.

Мы остолбенели от того зрелища, что внезапно открылось перед нами. Скала почти отвесно обрывалась у наших ног, а там внизу, тысячу метров ниже, простиралась необозримая равнина Моря Дождей с кое-где торчащими на ней пиками. Из-за отсутствия воздушной перспективы даже далекие горы четко проступали перед нашим взором, выделялись своей немыслимой, блистающей белизной на абсолютно черном фоне звездного неба. Вид был поистине волшебный; мы даже забыли на миг о своем ужасном положении.

На севере у горизонта возвышался над необъятной равниной, словно остров над морем, величественный кратер Тимохарис высотой в семь тысяч метров; он был удален от нас на четыреста километров.

На Земле горы, если смотреть на них издали, сквозь слой воздуха, кажутся синевато-голубыми; здесь эта вершина в свете Солнца походила на добела раскаленную сталь с широкими черными полосами теней и багрово блестящими прожилками более темных пород. Чуть западнее столь же отчетливо рисовались на небе зубчатые края еще более отдаленного кратера Ламберт. Прямо к

западу на горизонте виднелось множество небольших бугров и скал, примыкавших к предгорьям гораздо более близкой к нам цепи лунных Карпат, которая ограничивала Море Дождей с юга.

За этой цепью поднимались вдали, на юго-западе, опираясь на более низкие предгорья, невообразимо высокие крутые склоны Коперника, одной из величайших лунных гор. Я уже сказал, что Тимохарис сверкал, как раскаленная сталь, и не с чем мне сравнить слепящий свет, расходившийся на сотни километров от этого гигантского горного кольца диаметром в девяносто километров!

На северо-востоке над многочисленными возвышенностями безмерно далеко высились вершины широкого цирка Архимеда. Вид на восток и на юг замыкала с одной стороны недосягаемая гряда лунных Апеннин, а с другой — обрывистые склоны Эратосфена; он соединялся с Апеннинскими перевалом, на котором мы и находились.

А в этом обрамлении — Море Дождей. Какой убийственной иронией прозвучало для нас это название, придуманное в давние годы земными астрономами! Пустыня, страшная, сухая, сумрачно-серая, изборожденная чудовищными трещинами, вспученная продолговатыми возвышенностями между величественным Тимохарисом на горизонте и Эратосфеном. Нигде ни следа жизни, ни травинки зелени! Лишь ослепительно сверкают кое-где у подножий огромных отдаленных кратеров желтые, красные и синевато-стальные прожилки каких-то пород, подобные ниткам драгоценных камней...

Мы молча глядели вперед, не зная, какую дорогу избрать. Оказавшись на Море Дождей, мы имели бы перед собой равнину, по которой можно быстро продвигаться; но в том-то и состояла вся трудность, что неизвестно было, как выбраться на равнину, как спуститься с этой тысячеметровой отвесной стены!

Коротко посоветовавшись, мы пешком отправились к югу, надеясь найти дорогу по склонам кратера Эратосфена. Мы шли по узкому карнизу между скалами и пропастью, открывающейся к Морю Дождей. В одном месте он совсем сузился и мы решили было вернуться, усомнившись, что здесь сможет пройти машина. К счастью, Марта вспомнила, что у нас есть запас мин, с помощью которых можно взорвать небольшой выступ скалы, преграждающий нам путь. Мы двинулись дальше по краю головокружительной бездны. Тут горный хребет заметно расширился, выровнялся и начал медленно подниматься вверх. Мы шли все время к югу; справа и слева уже громоздились чудовищные уступы кольца Эратосфена.

Через полчаса после того, как мы обогнули выступ скалы, нам пришлось остановиться над новой пропастью; она так внезапно возникла перед нами, что Педро Фарадоль, который шел впереди и первым взобрался на заслонявший ее скальный барьер, отпрянул с криком ужаса. Поистине трудно вообразить нечто более страшное, чем открывшийся нам вид.

Двигаясь все время на юг, мы оказались, сами того не зная, в глубокой зазубрине, прорезающей уже самое кольцо кратера. Справа и слева от нас громоздились две причудливо изломанные вершины — одна ослепительно белая на солнце, другая почти абсолютно черная в тени. А перед нами... Нет, кто смог бы это описать! Перед нами была бездна! Пропась бездонная и несказанная, нечто столь жуткое, столь прямо-таки хищное в своей небывалой громадности, мертвенности, что даже и теперь, как только вспомню об этом, меня сковывает парализующий страх.

Перед нами было жерло кратера Эратосфена.

Мощный горный вал, весь иззубренный, как пила, описывал круг диаметром в несколько десятков километров,

образуя громадную котловину — наверное, самую страшную из всех, какие видел взор человеческий. Вершины, вознесенные более чем на четыре тысячи метров над дном этой пропасти, падали к ней почти отвесно, какими-то неистовыми рывками. Казалось, будто рушатся в бездну каменные водопады, застыв на лету и разбившись об острые скальные грани. Дно кратера было примерно на две тысячи метров ниже уровня долины Моря Дождей, а вдобавок казалось гораздо более глубоким из-за окружающих громадных гор и густой тени, которая почти сплошь его заливала. Со дна вздымались кое-где конические вершины, едва достигавшие половины высоты кратерного вала. Мы смотрели на них сверху из нашего каменного окна. Из некоторых конусов время от времени вырывались небольшие облака темно-серого дыма, но тотчас опадали из-за отсутствия атмосферы и плоско стлались у их подножий, словно пепел. Несомненно, перед нами были непогасшие вулканы.

Ослепительные контрасты света и мрака усиливали ужасающее впечатление. Весь восточный склон кратера тонул в густом мраке, сливаясь с черным небом наверху в сплошную темную, таинственную пелену; зато на западном склоне сверкала под Солнцем белая стена, исчерченная темными трещинами, вся усеянная немислимо острыми пиками, словно костяными башенками, белеющими на черных пятнах теней. На юге вал казался ниже из-за расстояния и был похож на ошетилившиеся шипами ворота в это страшное жерло. У наших ног — головокружительная пропасть.

А над всем этим по черному небу, усеянному немигающими звездами, ползло огненное Солнце без лучей, все приближаясь к мертвенно светящейся Земле, которая изогнулась узким, острым серпом и висела над этой юдолью страха, словно символ смерти.

Невольно зазвучали у меня в ушах слова Данте:

Мы были возле пропасти, у края,
И страшный срыв гудел у наших ног...

И при звуке этих слов в мозгу моем, обессиленном усталостью, зноем и страхом, возникло видение Дантова ада, который поистине не мог быть ужаснее того, что простиралось перед моим взором! Дымы,двигающиеся на дне гигантской ямы, казались мне вереницами адских духов, которые кружатся вокруг чудовищного Сатаны, чей облик почудился мне в одном из вулканических конусов... Духи, души умерших, страшная процессия осужденных на вечные муки. Они блуждают повсюду, они свергаются гигантским потоком по скалистым склонам пропасти, сползают вглубь по расщелинам, валом валят, толпятся, теснятся... Некоторые пытаются подняться вверх, к свету, к Солнцу — целыми тучами отрываются от дна и вновь оседают, как свинцовые испарения, в долину вечной муки...

И все это происходит в такой страшной наводящей трепет тишине...

Свет померк у меня перед глазами; я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание.

И тут до меня донесся плач. Это меня так ошеломило, что я в первый миг решил, будто впрямь слышу голоса грешников... Но на этот раз мне не почудилось. Плач действительно был слышен через трубку, соединявшую шлемы наших гермокостюмов.

Я несколько опомнился и поглядел вокруг. Вудбелл, опершись спиной о скалу, стоял бледный, с поникшей головой. Фарадолъ, словно хищник на привязи, беспокойно расхаживал по площадке, насколько позволяла длина переговорной трубки, и осматривался, будто ища дорогу среди этих пиков и пропастей, Марта, коленопреклоненная, уткнув лицо в колени, сотрясалась от рыданий.

Проникшись безмерной жалостью, я приблизился к

ней и осторожно положил руку на ее плечо. Тогда она по-детски жалобно начала кричать, как в ту памятную долгую ночь перед смертью О'Теймора:

— На Землю! На Землю!

Такое глубокое, безысходное отчаяние было в ее голосе, что я не мог найти слов утешения. Да и чем ее утешить? Положение наше было воистину тяжким. Я повернулся к Фарадолу:

— Что же теперь будет?

Педро пожал плечами:

— Не знаю... смерть. Ведь отсюда спуститься невозможно...

— А если вернуться?— возразил я.

— О да! Вернуться! Вернуться!— рыдала Марта.

Фарадол словно не слышал ее рыданий. Он посмотрел вдаль, а потом ответил, обращаясь ко мне:

— Вернуться... Только затем, чтобы потерять массу драгоценного времени, а потом встретить на ином пути преграду вроде этой. Смотри!— тут он повернулся к северу и указал на необозримую равнину Моря Дождей.— Если б мы могли туда спуститься, перед нами была бы относительно ровная дорога, но мы туда не спустимся... Разве только очертя голову кинемся вниз...

Я посмотрел в том направлении. Море Дождей, ровное, залитое солнцем, выглядело раем, особенно по сравнению со страшным жерлом Эратосфена. Оно начиналось почти у самых наших ног, такое близкое, что, казалось, достаточно прыгнуть — и окажешься там. Однако от желанной равнины нас отделяла непреодолимая тысячеметровая крутизна.

Мы сбились в кучу и жадно глядели на этот спасительный простор. Мы не ощущали ни усталости, ни жгучих лучей Солнца, которое уже наполовину выглянуло из-за каменного гребня над нами.

Помолчав, Педро повторил:

— Туда мы не попадем...

Ему ответило громкое, судорожное всхлипывание Марты, которая уже перестала владеть собой.

Фарадоль нетерпеливо дернулся:

— Замолчи!— крикнул он, хватая Марту за плечо.— А то я сброшу тебя вниз! Мало нам еще хлопот!

Томас вдруг шагнул вперед:

— Оставь ее... А ты не плачь. Мы попадем на Море Дождей. Идемте к машине.

Такая решимость и уверенность чувствовалась в этих спокойно, отчетливо сказанных словах, что мы тут же, не смея ни возражать, ни спрашивать, повернулись, чтобы выполнить приказ.

Вудбелл остановил нас.

— Смотрите,— сказал он, указывая на внешние, обращенные к Морю Дождей склоны Эратосфена,— видите эту грань, что начинается вот тут, на пятьдесят метров ниже, у подножия крутой стены? Насколько можно судить, она довольно полого сходит к самой равнине; по ней мы сможем спуститься вниз...

— Но эта стена... — невольно шепнул я, глядя на отвесно обрывающуюся скалу, которая отделяла нас от широкого хребта ранее не замеченной нами грани.

— Ерунда! Мы же тренировались в лазании по скалам! Мы легко обойдем ее. А машину... машину мы спустим раньше, обвязав ее канатами. Не забывайте, что мы на Луне: здесь тела весят вшестеро меньше и упасть тут с высоты пятидесяти метров — это то же самое, что на Земле упасть с восьмиметровой высоты!

Мы сделали так, как советовал Томас.

Через 109 часов после восхода Солнца мы начали спускаться по крутому склону Эратосфена, чтобы попасть на равнину Моря Дождей. Почти трое земных суток про-

должался этот спуск в долину, лежавшую прямо у наших ног. Большую часть пути мы прошли пешком, палимые безжалостными, все более отвесными лучами Солнца, изнемогая от усталости и напряжения.

Машину действительно удалось спустить на канатах с высоты нескольких десятков метров. Ей это не повредило, но запертые внутри собаки сильно ушиблись, несмотря на все наши предосторожности. Несколько раз мы оставались, совершенно потеряв надежду, что живыми доберемся до равнины. Дорога по скальной грани не была такой удобной, как нам это показалось сверху и издали. Пересеченная завалами и расщелинами, она вынуждала нас к поворотам и обходам тем более трудным, что машину всюду приходилось тащить за собой либо спускать на канатах. Часто овладевало нами отчаяние. В такие минуты Вудбелл, хоть и ослабевший от лихорадки и ран, проявлял величайшее самообладание и силу воли. Ему мы обязаны тем, что живем и будем жить.

За эти трое суток мы вряд ли спали более двенадцати часов, всякий раз выискивая место как можно более затененное, чтобы не изжариться заживо в солнечных лучах. Временами жара доводила нас прямо-таки до иступления.

Был лунный полдень, и Солнце стояло прямо над нами, рядом с черным шаром Земли в новоземлии, окаймленным кровавым кольцом светящейся атмосферы, когда мы, изнуренные до предела, ступили, наконец, на равнину.

Зной был такой чудовищный, что перехватывал дыхание, а кровь туманила взгляд и молотками колотила в виски. И тень уже не давала защиты! Раскаленные скалы повсюду дышали пламенем, как жерло доменной печи.

Селена часто дышала, вывалив язык, щенята жалобно скулили, недвижно растянувшись в углу кабины. Все время то один, то другой из нас впадал в беспамятство; ка-

залось, что смерть настигнет нас у входа на долгожданную равнину!

Нужно было бежать от солнца, но куда?

И тут Марта вспомнила, что, спускаясь с горы, мы видели глубокую расщелину, которую теперь, вероятно, заслоняли от нас скалы. Мы скорым ходом двинулись в ту сторону, и действительно, спустя час, который показался нам целым годом, обнаружили расщелину. Этот провал с отвесными стенами, возникший при растрескивании лунной коры,— глубиной в тысячу, шириной в несколько сот метров — ничуть, впрочем, не походит на земные ущелья и овраги. Он тянется, насколько мы можем судить отсюда, на десятки километров параллельно цепи Апеннин. На лунных картах он не обозначен; наверное, астрономы его не заметили потому, что он лежит вблизи высоких гор и почти постоянно покрыт тенью.

Для нас эта расщелина оказалась спасительной. Мы отыскиали место, где она начинается, быстро спустились вглубину и лишь здесь, в тысяче метров под поверхностью Моря Дождей, нашли относительную прохладу...

Сон отлично подкрепил всех нас. Только Томаса, которого до сих пор поддерживала стальная воля, теперь вновь залихорадило. Он так ослаб, что шевельнуться не может. Тем не менее часов через двадцать мы продолжим свой путь. Солнце начинает склоняться к западу. Там, на равнине, зной, наверное, еще ужасный, но все же не такой, как в разгар лунного дня. Да и мы после отдыха легче сможем его переносить.

Серьезно поразмыслив, мы изменили план путешествия. Мы не пойдем на запад, а повернем прямо на север, к лунному полюсу. Выигрываем мы на этом вдвойне. Прежде всего перед нами будет более тысячи километров относительно ровной и хорошей дороги по долине Моря Дождей, что значительно ускорит движение. Затем, приб-

лижаясь к полюсу, мы попадаем в края, где Солнце не стоит днем так высоко над горизонтом, а ночью не уходит так глубоко за горизонт; поэтому мы надеемся найти там более сносную температуру. Ибо еще один такой полдень, как теперешний, и смерть наша неизбежна.

*Море дождей,
через 340 часов после
восхода Солнца*

День уже на исходе. Скоро, через четырнадцать с половиной часов, зайдет Солнце, которое сейчас стоит над далекими округлыми взгорьями на западе лишь на несколько градусов выше горизонта. Малейшие неровности почвы, любая скала, каждое небольшое возвышение — все отбрасывает длинные, неподвижные тени, прорезающие в одном и том же направлении огромную равнину, на которой мы находимся. Насколько видит глаз — ничего, одна лишь пустыня, бескрайняя, смертоносная, перепаханная с юга на север длинными каменными бороздами, поперек которых чернеют полосы теней... Далеко-далеко на горизонте торчат высочайшие шпили гор, которые видны были с Эратосфена, а теперь их почти заслоняет от нас кривизна лунного шара.

По мере того как мы удаляемся от экватора, стеклянистая Земля над нами отклоняется от зенита к югу. Теперь конец первой четверти, и Земля светит ярко — как семь полных лун. Там, куда не проникает слабейший солнечный свет, серебрится ее призрачное сияние. Два небесных светильника над нами, и тот, что сильнее, кажется по контрасту желтым, а другой — синеватым. Весь мир вокруг наполовину ярко-желтый, наполовину — серосиний. Когда смотришь на восток, желтизной отливает пустыня и отдаленные вершины лунных Апеннин; на за-

паде же под алмазно искрящимся Солнцем все кажется холодным, синим и мрачным. А над двухцветной пустыней висит все то же бархатно-черное небо, усеянное разноцветными драгоценными камнями, овеянное сказочной дымкой мельчайшего золотистого песка...

Ночь приближается. Она уже выслала вперед своего вестника, единственного, какой есть у нее в этом мире, лишенном сумерек и вечерних зорь... Холод идет перед ней по пустыне, затаивается в каждой расщелине, в каждом затененном месте и терпеливо ждет, когда по-черепаши медлительное Солнце сползет с небосвода, соскользнет с пустыни, оставляя его и ночь на полновластное царствование...

Пока мы движемся в ярком солнечном свете, то еще не догадываемся о присутствии этого пришельца, но в тени наши разогретые тела пронизывает легкая дрожь, говорящая о его близости...

В закрытой нашей машине уже не так душно, и все мы стали как-то веселее и бодрей. Фарадолъ, преисполненный надежд, снова строит планы на будущее или играет с Селеной и щенками; Вудбелл заметно окреп и, стоя у руля, разговаривает сейчас с Мартой. Стоит мне оторвать взгляд от бумаги, как я вижу их обоих. Особенно отчетливо Марту. Она сейчас стоит в профиль ко мне и смеется. Удивительно она смеется. Губы ее складываются так, будто она целует воздух. Этой улыбкой полны ее глаза и грудь, которая поднимается едва заметными, быстрыми движениями. Днем, в жару, грудь ее была приоткрыта, — слишком жарко было даже для нее, опаленной индийским солнцем. Сейчас она закрыта до самой шеи. Я невольно ищу глазами эту великолепную смуглую грудь, такую теплую по цвету, и странно не хватает мне чего-то, когда я ее не вижу. Напрасно я так много думаю об этой женщине, но ею действительно наполнено

здесь все. С того времени, как призрак смерти немного отдалился от нас, крохотный мирок машины весь словно пропитан присутствием Марты. Даже Фарадол, будто бы играя с собаками, украдкой, я знаю, смотрит на нее. Меня это злит. Почему Томас не обращает на него внимания? А впрочем, какое мне дело до этого?

Мы в пути уже более шестидесяти часов. Машина все время движется вперед. Мы спим посменно, не останавливая машины, и сейчас я пишу тоже на ходу. Мы немного задержались лишь для того, чтобы подзарядить аккумуляторы нашего электромотора. Чтобы сэкономить топливо, которого много потребуется нам во время ночных холодов, мы запустили динамо с помощью расширяющегося сжатого воздуха. Аккумуляторы нуждаются в подзарядке, потому что одних батарей не хватает для быстрой езды.

А движемся мы быстро, и все вперед — насколько позволяет местность. Значительные неровности почвы помешали нам свернуть на север сразу после выхода из Ущелья Спасения (так назвали мы ту трещину под Эратосфеном, потому что она действительно спасла нас своей прохладой от смерти). Под 12° западной долготы мы натолкнулись на одну из тех блестящих полос, которые лучами расходятся от кратера Коперника на сотни километров вокруг. Полосы эти, отчетливо видимые даже в слабые земные телескопы, всегда удивляют астрономов. Как мы убедились воочию, это полосы расплавленных, словно стекло, скальных пород шириной в несколько десятков километров. Не знаю, как определить природу этих странных образований.

Здесь вообще многое для нас загадка — даже то, что находится прямо под рукой. Как возникла эта равнина, на которой мы находимся, как образовались эти кольцеобразные горы диаметром в несколько десятков, а то и

сотен километров, окруженные валом высотой в несколько тысяч метров? Это наверняка не жерла погасших вулканов, как полагали некогда на Земле. Мы заглянули в недра Эратосфена и видели там вулканические конусы, ничем не отличающиеся от земных вулканов, но само это громадное кольцо никогда не было кратером! Об этом свидетельствуют — не говоря уже о его громадных размерах — и горные породы, из которых состоит вал, и то, что дно впадины ниже уровня окружающей ее равнины, и многое другое, что мы могли видеть собственными глазами.

Мне кажется, чтобы понять эти поразительные формации, нужно мысленно перенестись в те отдаленные времена, когда Луна была еще жидким, расплавленным шаром, поверхность которого лишь начала остывать в ледяных межзвездных просторах. Тогда-то чудовищные, превосходящие силу человеческого воображения взрывы газов, растворенных в жидкой массе и выделяющихся при ее остывании, вздували ее податливую еще поверхность, образуя громадные пузыри и волдыри. Эти пузыри лопались и тут же застывали, не успев растечься по окружающей их равнине. Кольцевые горы — как раз следы этих пузырей. Позже Солнце выгрызло в них отдельные пики, выщербило и разрушило их, вулканические силы образовали внутри некоторых колец конусообразные кратеры — и вот они, не тронутые водой, все сглаживающей на Земле, высятся сегодня, как свидетельство созидательной мощи природы, для которой глыбы планет и огненные шары звезд — всего лишь покорная материя в гигантском тигле извечного созидания.

Так внятно говорят мне обо всем этом и огромные горы, и небольшие горки, густо рассеянные на нашем пути, и созданные по их подобию котловины, что, всматриваясь в окружающий пейзаж, я испытываю временами

ощущение, будто эти скалы, ярко-желтые от солнца,— это масса, еще пламенеющая, текучая и почти живая; мне чудится, что вот-вот вся равнина заколышется, словно море, начнет изгибаться, вздыматься, расти, вспучиваться и под напором газов выбрасывать в черное небо первобытную лаву, застывающую гигантскими кольцами.

Но сколько же сотен тысяч веков минуло с той поры! Лунная кора застыла и растрескалась, непрерывно сокращаясь; какие-то таинственные огневые силы выжгли на ней огромные лучистые полосы остекленевшего камня; и здесь, где некогда бушевали необузданные противоборствующие силы творения, теперь стоит такая страшная и безнадежная мертвенность и тишина, что нас даже удивляет и смущает биение собственных сердец.

Мы продолжаем двигаться по светлой полосе, образованной стекловидной жилой, что тянется от самого Коперника. Она служит нам удобной и ровной дорогой. Северо-восточное ее направление очень нам на руку — мы выйдем прямо на равнину между Архимедом и Тимохари-сом, которую нам предстоит пройти. Сейчас, когда мы находимся на равнине, Архимед совсем не виден. В той стороне, где он должен находиться, перед нами встают лишь невысокие крутые бугры, похожие на гористые острова среди моря. Это, по-видимому, группа «кратеров», вздымающихся на 11° западной долготы и 19° северной лунной широты. Мы рассчитываем обогнуть ее еще до захода Солнца. А потом — на север, все на север, лишь бы подальше от этой ужасной зоны, где рядом со зловещим серпом Земли прямо над головой висит в зените убийственное Солнце, подобно яростному, обезумевшему огненному коню. О, этот ленивый белый шар без лучей — это не наше земное животворное солнце; нет, это некий бог, алчный и насмешливый, бог — разрушитель и пожиратель! А мы четверо — единственные живые жертвы, кото-

рые он высмотрел для себя на этой равнине смерти! Нужно бежать от него, прежде чем он вторично возникнет на черном, расшитом золотом саване небосвода.

Я прерываю записи. Фарадол, сменивший в свое время Томаса, кричит, что теперь моя очередь становиться у руля. Те двое уже спят. Марта, как обычно, перегнулась из своего гамака и положила голову на грудь Томаса — единственного счастливого человека среди нас!

Первый лунный день, через 4 часа после захода Солнца, на Море Дождей, 10° западной долготы, 20°28' северной лунной широты

Итак, уже началась ночь — долгая ночь, для которой земные сутки меньше, чем часы для земной ночи. Земля, все заметней склоняясь к югу, сверкает над нами, словно огромный яркий циферблат. Наблюдая, как ползут тени по ее диску, можно без труда определять время. На закате Солнца она была в первой четверти, в полночь будет полноземлие, а последняя четверть наступит на рассвете. Роль минутной стрелки на этих небесных часах выполняют континенты. По тому, когда они уходят в тень, можно определять часы, которые для лунных долгих суток не более чем минуты.

После захода Солнца холод наступил так внезапно, что нам показалось, будто мы из парной бани прыгнули прямо в бассейн с ледяной водой. Но закат приготовил для нас великолепный сюрприз: мы ожидали, что вслед за ним немедленно наступит ночь, а между тем еще долго держалось какое-то странное сияние, спорившее с блеском Земли и несколько похожее на наши сумерки.

Как раз окончилась стеклянистая полоса, по которой мы ехали более ста километров, когда мы выбрались из тени небольших кратеров, о которых я упоминал ранее. Мы приближались к двадцатой параллели, направляясь теперь прямо на север, когда солнечный диск, не зарумяненный закатом, а все такой же светлый и сверкающий, как днем, начал медленно уходить за горизонт.

Внезапно охватила нас страшная тоска по этому исчезающему Солнцу, которое снова явится нам лишь через четырнадцать суток. Мы стояли все рядом у западного окна машины. Марта простерла руки к уходящей дневной звезде и начала певуче и монотонно произносить слова индийских гимнов, которыми факиры на Земле прощаются с этим лучезарным божеством.

Вудбелл время от времени вторил ей, вспоминая, наверно, подобные минуты в Траванкоре, когда пламенное Солнце тонуло в безбрежном океане.

Между тем Солнце, укрыв часть своего диска, казалось, замерло на горизонте и ждало чего-то. Сияние его освещало простертые руки девушки, сверкало на ее белоснежных зубах. Невозможно было не поверить, что они говорят друг с другом — эта девушка и это Солнце.

Полчаса спустя виднелся уже лишь краешек солнечного диска. Каменная пустыня под этой ослепительно белой полоской почернела, будто обратилась в чернильное море. Лишь кое-где сверкали гладкие скалы, отражающие синеватый свет Земли. Марта уже кончила петь и молча всматривалась в пустыню, склонив голову на плечо Томаса.

Нами овладела странная грусть: даже Педро, наименее сентиментальный из всех, понурился и неслышно шевелил губами, словно отвечал каким-то своим мыслям или воспоминаниям. А я... Эх, как же безумно быстро пронеслась моя жизнь на Земле! Перед моими глазами

развертывался причудливый танец воспоминаний и видений: мне чудились равнины над Вислой, и укрытые облаками вершины Татр, и неисчислимая вереница людей, знакомых лиц, дорогих, но оставленных теперь уже навсегда... Навсегда!

И тут солнце внезапно погасло. Еще мгновение над горизонтом, подобно крохотным огненным язычкам, дрожали багровые протуберанцы, потом исчезли и они, и в сумраке, внезапно упавшем на пустыню, было нечто столь неожиданное, что мы невольно прижались друг к другу, словно пытаясь укрыться от чего-то метнувшегося на нас, как серый лесной кот на запоздалого путника. Но то был только сумрак, а не ночь. Ибо в ту же минуту, когда исчез последний краешек Солнца, на западе взвился световой столб, рассыпаясь вверх будто сказочный фонтан золотистой пыли и образуя подобие купола.

Это сверкал перед нами зодиакальный свет в таком неслыханном великолепии, какого на Земле никогда не видел человеческий глаз. Молча и долго смотрели мы на этот искрящийся столб, слегка склоненный к югу и усеянный разноцветными звездами, которые проглядывали сквозь эту космическую пыль, что вращается вокруг Солнца и после заката сияет перед нами, отражая исчезнувший солнечный свет.

Теперь погасло уже все, и над нами светит только Земля да звезды, странные звезды в глубине черного неба — разноцветные и немигающие. Эта многоцветность, которой не скрадывает отсутствующий здесь воздух, так удивительна, что к ней невозможно привыкнуть, хоть эти же звезды горели над нами на протяжении всего лунного дня.

Земля шлет нам столько света, что можно продолжать путь. Это очень благоприятное для нас обстоятельство — нам не приходится тратить время и за ночь мы

сможем уйти так далеко на север, что назавтра уже не надо будет опасаться отвесных солнечных лучей. Только мысль о ночном морозе, который уже чувствуется изрядно, пронизывает нас страхом.

Местность снова стала неровной, вынуждает нас к многократным поворотам и обходам, замедляющим продвижение. На носу машины горит прожектор, освещая дорогу. Иначе мы рисковали бы провалиться в одну из трещин, плохо различимых в тусклом свете Земли. Ориентируемся по звездам, потому что в этом странном мире никак не можем разобраться в показаниях компаса. К тому же металлические стены машины искажают положение стрелки.

*На Море Дождей, 7°45'
западной лунной долготы,
24°1' северной широты, в
первом часу вторых лун-
ных суток*

Уже миновала полночь, и мы позабыли даже, как выглядит Солнце; трудно понять, как можно было жаловаться на жару. Почти сто восемьдесят часов, с самого заката, нас терзает такой неслыханный холод, что кажется, будто мысли замерзают в мозгу. Наши печи работают во всю мочь, а мы, съезжившись около них, дрожим от холода.

Я пишу, прислонившись к печи. Спину мне жжет, и в то же время я чувствую, как кровь во мне леденеет и сгущается от мороза. Собаки лезут к нам на колени и воют не умолкая, а мы уже с ума сходим. Молча глядим друг на друга с какой-то непонятной ненавистью, словно кто-то из нас виноват, что здесь Солнце не светит и не греет триста пятьдесят четыре с половиной часа кряду.



Я пытался превозмочь себя и записать кое-какие впечатления ночного пути, но вижу, что не способен связать даже самые простые представления. Мозг у меня замороженный, неповоротливый, словно он из льда. В сознании сменяют друг друга то бессвязные картины, то какие-то отчаянные проблески, и мне никак не удастся связать их друг с другом. Временами мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. Вижу Марту, Томаса, собак, Педро, печь — и совершенно не понимаю, что это все значит, не знаю, кто я, откуда здесь взялся, зачем...

Действительно — зачем?

Хотел задуматься над этим, припомнить что-то — и не могу. Существовала же какая-то причина, по которой я вместе с этими людьми покинул Землю. Не помню... Мысли меня утомляют.

Кажется, мы стоим. Не слышно гуденья моторов. Надо бы сходить, посмотреть, что случилось, но я знаю — ни я, ни они этого не сделают. Ведь пришлось бы отойти от печки.

Что за мерзкий мороз!

В окно видны какие-то скалы, ярко освещенные Землей. Наверно, потому мы и стоим, что оказались среди скал... Все это страшно — и все безразлично...

Что я пишу? Может, я и в самом деле схожу с ума? Ужасно хочется спать, но знаю, что если усну, то замёрзну и уже не проснусь. Нужно встряхнуться, прийти в себя... Странно, что в первую ночь в Заливе Зноя мороз был не так силен. Видимо, там под поверхностью тянутся какие-то вулканические жилы, и они немного согревают почву.

Писать, писать, чтобы не заснуть, — иначе смерть.

После заката мы непрерывно продвигались на северо-запад при все более ярком свете Земли, входящей в полноземлие, и все более жгучем морозе. Вблизи 9° за-

падной долготы и 21° северной широты мы перебрались через низкие, покатые валы, преграждавшие путь. Не меняя направления, мы двигались на северо-запад, в сторону взгорья, широко раскинувшегося вокруг кольца Архимеда, в надежде найти здесь какой-нибудь действующий вулкан, а вблизи него — тепло. Мы уже на границах этой горной страны, но все вокруг застывшее и мертвое. Мы выехали на середину странного полукруглого плато, за которым вздымается амфитеатр скалистых уступов. Фарадолъ сделал астрономические измерения, чтобы определить положение этих гор. Из его расчетов следует, что мы на возвышенности, которая на лунных картах обычно обозначается буквой Е и находится под $7^{\circ}45'$ западной долготы и $24^{\circ} 1'$ северной лунной широты.

Холод, холод, холод... но нужно превозмочь себя и не спать, только не спать, потому что это — смерть! Она где-то поблизости, эта смерть. Там, на Земле, следовало бы изображать Смерть восседающей на Луне — потому что здесь ее царство...

Почему мы стоим? Ах, да! Все равно!

Нет, нужно превозмочь себя. О чем я писал только что? Ага, горы... Станный амфитеатр шириной около четырех километров, открытый к югу. Над ним, словно фонарь, висит Земля. Прямо перед нами, на севере, самая высокая из скал. Не меньше тысячи двухсот метров. Как-то жутко все это выглядит. Словно театр для гигантов — ужасающих, скелетоподобных гигантов. Я не удивился бы, если бы вдруг на склонах этих гор появились толпы огромных скелетов, неторопливо движущихся в земном сиянии, чтобы занять свои места в этом театре. На фоне черного неба, среди звезд, белели бы огромные черепа тех, что сели в верхних рядах. Мне даже кажется, что я их вижу. Восседают гигантские скелеты и переговариваются: «Который час? Уж полночь, и Земля, наш

огромный и яркий циферблат, уже встала полной в небе — пора начинать...» и обращаются к нам: «Пора начинать, мы смотрим, умирайте же...»

Дрожь меня пробирает.

Гнилое Болото, на дне расщелины, 7°36' западной лунной долготы, 26° северной широты. Вторые сутки, шестьдесят второй час после полуночи

Итак, свершилось. Мы приговорены к смерти, без всякой надежды на спасение. Вот уже шестьдесят часов, как мы знаем об этом — время достаточное, чтобы освоиться с этой мыслью. И все-таки — смерть...

Спокойней, спокойней, ведь это бессмысленно. Нужно смириться с неизбежным. В конце концов, это не так уж неожиданно для нас; ведь еще на Земле, собираясь в это путешествие, мы знали, что идем навстречу смерти. Но почему эта смерть не поразила нас внезапно, как молния, почему приближается так медленно, что мы можем рассчитать каждый ее шаг и знаем, когда ее ледяная рука схватит нас за горло и начнет душить...

Да, душить. Все мы задохнемся. Запаса сжатого воздуха при величайшей экономии едва хватит на триста часов. А потом... Ну, что ж, нужно заранее приготовить к тому, что будет потом... Еще триста часов все будет, как прежде. Будем дышать, есть, спать, двигаться... За это время опустеет последний резервуар сжатого воздуха, единственный оставшийся у нас. Через триста часов... То будет лунный полдень... Солнце будет стоять еще довольно высоко. Будет светло и тепло, даже жарко, — может быть, слишком жарко. Какое-то время, несколько

часов, все будет еще хорошо. Потом мы начнем постепенно ощущать вялость, шум в голове, сердцебиение... Воздух в машине, не освеженный кислородом, которого нам уже недостает, переполнится выдыхаемой нами углекислотой. Сейчас мы искусственно удаляем ее, но тогда — зачем же ее удалять, если не будет кислорода, чтобы ее заменить? Эта углекислота начнет отравлять нас. Гулкие удары пульса, вялость, удушье, сонливость... Да, сонливость, необоримая сонливость. Мы ляжем в гамаки, ожидая смерти; Марта, наверно, как всегда, перегнется из своего гамака и положит голову на грудь Томасу... Потом придут сны... Земля, родные края, зеленые луга, воздух — много-много воздуха, целое море, огромное, голубое, чистое! И во сне — ужасный удушающий призрак садится на грудь; я уже будто ощущаю его! Он ломает ребра, хватает за горло, стискивает сердце... Ужас меня охватывает. Хочется стряхнуть призрак, вскочить, бежать... А потом сны кончатся. На Луне, среди бескрайней равнины Моря Дождей, в закрытой машине будут лежать четыре трупа.

Нет! А может, иначе? В ту минуту, когда начнет не хватать воздуха, мы откроем двери машины настезь! Мгновение — и мы будем уже в пустоте. Кровь брызнет из рта, ушей, глаз, носа; несколько судорожных, отчаянных вдохов — и конец. Зачем я все это пишу? Зачем я пишу вообще? Ведь в этом нет ни смысла, ни цели. Через триста часов я умру.

Часом позже

Возвращаюсь к запискам. Нужно чем-то заняться, потому что мысль о неизбежной смерти невыносима. Мы ходим по кабине и бездумно улыбаемся друг другу или разговариваем о совершенно безразличных вещах. Толь-

ко что Фарадоль рассказывал, как в Португалии готовят какой-то соус из цыплячьих печенок с каперсами. При этом все мы, не исключая его самого, думали о том, что через двести девяносто девять часов умрем.

Если вдуматься, смерть вовсе не страшна — почему же мы так ее боимся? Ведь...

Ах! Как бессмысленны все эти философствования насчет смерти! Тиканье часов в моем кармане звучит отчетливей, чем голоса всех мудрецов, проповедующих спокойствие перед кончиной. Я слышу тихие, слабые металлические постукивания и знаю, что это шаги приближающейся смерти. Она будет здесь прежде, чем зайдет Солнце того долгого дня, что вскоре начнется. Она не опоздает ни на час.

Мы стояли среди этих подковообразных скал, цепenea от мороза, как вдруг Фарадоль, случайно взглянув на манометр одного из резервуаров сжатого воздуха, отчаянно закричал. Мы все вскочили, словно от удара тока, и устались туда, куда Педро показывал дрожащей рукой, будучи не в силах от страха выговорить хоть слово.

В одно мгновение мне стало жарко: манометр не показывал никакого давления внутри. У меня мелькнула мысль, что, быть может, воздух в резервуаре, вделанном в стену, конденсировался от чудовищного холода. Я открыл кран — резервуар был пуст. То же самое во втором, третьем, четвертом, пятом. Только в шестом, последнем, был воздух.

Мы вдруг обезумели от ужаса. Не задумываясь над причиной загадочной, по сию пору, пустоты в резервуарах, над тем, что мы делаем, что нужно делать и можно ли вообще что-нибудь сделать, мы бросились разом к мотору, не ощущая ни холода, ни усталости, ни сонливости, ничего — одержимые одной мыслью: бежать, бежать... Словно от смерти можно убежать.

Через несколько минут машина уже мчалась. Выбравшись с площадки, окруженной скалами, мы будто в беспмятстве спешили что есть сил прямо на север, среди невысоких взгорий, простирающихся от кольца Архимеда и заполняющих всю западную часть Гнилого Болота, которое граничит с Морем Дождей. Дорога была на редкость тяжелая и неровная. Машина подпрыгивала, тряслась, то взлетала, то проваливалась, немилосердно швыряя нас, но мы не обращали на это внимания. В пароксизме отчаяния и страха мы воображали, что нам удастся добраться до обратной стороны Луны, прежде чем кончится наш скудный запас воздуха!

Какая смехотворная мысль! Воздуха хватит всего лишь на триста часов, а от северного полюса Луны нас отделяет по прямой около двух тысяч километров, и половина из них приходится на горные неприступные районы!

Холод сковывал кровь в жилах, перехватывал дыхание в груди, но мы, не замечая ничего, безостановочно мчались напролом через горы, серебрившиеся в свете Земли, через черные котловины, через заваленные осыпями участки — только бы дальше, дальше. Даже о желаний спать, недавно так мучившем нас, никто теперь и не вспоминал.

Лишь внезапное препятствие прервало эту адскую гонку, столь же безумную, сколь и бессмысленную. Мчась вслепую напрямик, мы наткнулись на расщелину, похожую на Ущелье Спасения под Эратосфеном, но более широкую и несравненно более глубокую. Мы заметили ее лишь вблизи — еще немного и мы рухнули бы в нее вместе с машиной.

Машина остановилась — и внезапно какое-то странное равнодушие овладело нами. Энергия отчаяния, охваченные которой мы без памяти мчались столько часов, ис-

чезла так же мгновенно, как и появилась, уступив место невыразимой, парализующей подавленности. Все вдруг сделалось совершенно безразличным. Зачем мучиться и выбиваться из сил, если это все равно бесцельно. Мы должны умереть.

Молчаливые и апатичные, уселись мы у печки. Мороз терзал все яростней, но мы уже не заботились об этом. Ведь смерть — это все равно смерть, что от холода, что от удушья. Прошло много времени. Так мы и замерзли бы, если б не Вудбелл, который опомнился первым и начал уговаривать нас серьезно обдумать ситуацию.

— Нужно искать выход, какой-нибудь способ спастись, — говорил он, — пусть даже мы ничего не найдем, но, будучи чем-то заняты, хоть на время забудем о смерти, призрак которой гнетет нас.

Совет, конечно, был неплохой, но мы так устали и околеченели, что выслушали его абсолютно равнодушно и даже ничего не ответили Томасу.

Помню, я смотрел на него и видел, что он продолжает говорить, но не понимал ни слова. В эту минуту меня занимало только одно: а как он будет выглядеть после смерти?

С упорством маньяка я вглядывался в его двигающиеся губы и мысленно сдирал мясо со скул и челюстей, потом обнажил череп, ребра, берцовые кости — и, глядя на человека, видел перед собой скелет, который будто говорил мне, злорадно оскалась: такими вы все станете — скоро.

Увидев наконец, что с нами не договоришься, Томас сам стал у руля, и вскоре машина уже ползла вдоль края расщелины. Примерно через полчаса мы достигли того места, где расщелина кончалась. Увидев это, Фарадоль прыгнул к рулю, охваченный внезапно пробудившейся в нем энергией отчаяния, и закричал как безумный:

— Мы можем объехать ущелье и снова двигаться на север, к полюсу, где есть воздух!

Он смеялся и дергался, словно и впрямь сошел с ума. Но когда он попытался ухватиться за руль, Томас слегка отстранил его и произнес кратко и решительно:

— Мы не объедем ущелье, а въедем в него.

Педро мгновение смотрел на него бессмысленным взглядом, потом вдруг — видимо, в нервном припадке — бросился на Томаса и схватил его за горло:

— Убийца! — зарычал он. — Душитель! Ты хочешь нас убить, уничтожить, а я хочу жить! Слышишь, жить! На север, на север, к полюсу, там есть воздух!

Педро бесился, орал, будучи сильнее Томаса, он повалил его и придавил коленом, прежде чем мы успели прийти на помощь. Я бросился вместе с Мартой усмирять безумца, и началась борьба, сопровождаемая яростным лаем собак. Наконец, мы схватили его, но тут он внезапно весь вытянулся, вскрикнул и безвольно повис у нас на руках. Томас, измученный и бледный, поднялся с пола. В эту минуту машина накренилась; я ощутил резкий толчок и потерял сознание.

Придя в себя, я увидел, что лежу в гамаке, а надо мной стоит Томас и трет мне виски эфиром. Марта и Фарадоль сидели тут же, молчаливые и понурые.

Томас действительно мужественный человек.

Во время его борьбы с Педро машина, лишенная управления, наткнулась на скалу. Брошенный этим толчком вперед, я ударился головой о стенку и потерял сознание. Томас и Марта вышли из происшествия невредимыми, так же как и Педро, который без сознания лежал на полу, обессиленный припадком. И тогда Томас, поняв, что произошло, поручил Марте уложить нас в гамаки, а сам подал машину назад, развернулся и въехал в глубь ущелья. Лишь здесь, на глубине, где, как он и предполагал, было

несравненно теплее, чем на поверхности, он начал приводить нас в чувство. Первым очнулся Педро. Он даже не помнил вспышки безумия, которая так испугала нас. Потом и я пришел в себя.

Смерть от холода пока уже не угрожает нам, потому что в этом невероятно глубоком ущелье мороз не очень силен. Видимо, недра Луны не целиком еще лишены собственного тепла, хотя Луна, будучи в 49 раз меньше Земли, и должна была остыть много раньше.

Томас предвидел это и потому ввел машину в ущелье. Он хотел, чтобы мы, защитившись от непосредственной опасности, которой угрожал нам парализующий мысли холод, могли спокойно посоветоваться, что делать дальше.

Мы начали совещаться. Нам пришло в голову, что, быть может, удастся настолько сгустить нагнетательным насосом окружающий разреженный воздух, что можно будет дышать им в кабине. Эта мысль сверкнула, как звезда надежды и спасения, и мы тотчас принялись сообщать претворять ее в жизнь. Однако после часа напряженных, изнурительных трудов мы убедились, что это неосуществимая затея. Лунная атмосфера здесь настолько разрежена, что даже если вдвинешь поршень до упора, невозможно преодолеть давление воздуха в кабине и открыть клапан. Мы пытались еще сгущать воздух в одном из пустых резервуаров, заделав в нем предварительно трещину, но и это оказалось невозможным.

Разочарованные и уставшие, мы бросили бессмысленную работу. Томас еще утешает нас, что, может, дальше к северу мы найдем более плотную атмосферу, где наши насосы смогут работать, но вряд ли он сам в это верит. На всем опрощенном пространстве Моря Дождей атмосфера будет такой же разреженной, иными словами, ее вообще почти не будет, а прежде чем мы одолеем это пространство, наши запасы воздуха исчерпаются и наступит

неизбежное... Через двести девяносто часов мы умрем. Тем не менее, как только рассветет и станет теплее, мы выберемся из ущелья и двинемся дальше на север. Это ничего не даст, но ведь и стоять на одном месте—тоже ничего не дает. А вдруг... вдруг... мы действительно найдем где-нибудь более плотную атмосферу...

*На том же месте, 70 часов
после полуночи*

Мы наконец открыли причину, по которой потеряли свои запасы воздуха. Резервуары были повреждены, когда мы спускали машину со склонов Эратосфена. Какой-то острый выступ на пути скольжения машины глубоко процарапал стенки, а внутреннее давление довершило остальное. Трещины видны отчетливо. Два лишь обстоятельства меня удивляют: что давление сжатого воздуха не разорвало поврежденных медных резервуаров и что мы не заметили своей потери много раньше. Я ломаю голову над этими загадками, будто их решение может чем-то нам помочь.

Ни о чем другом не могу думать — все стоит и стоит перед глазами этот призрак смерти. И самое тут страшное то, что, зная о предстоящей смерти, мы чувствуем себя совершенно здоровыми. Это увеличивает ужас того чудовищного, что должно на нас обрушиться. Томас спокойнее всех, но я вижу, особенно по его обращению с Мартой, что и он непрестанно думает о приближающемся. Нежным, почти женственным движением он проводит рукой по ее волосам и смотрит на нее так, словно хочет просить прощения. А Марта целует его руки, говоря ему этой лаской и взглядом: не печалься, Том, все хорошо, ведь умрем мы вместе...

Для них это, может, действительно какое-то утешение, но для меня, откровенно говоря, эта общность нашей судьбы нисколько не уменьшает ее чудовищности. Все чувства во мне так возбуждены, что никакие размышления на меня ничуть не влияют. Я трезво оцениваю все, во всем ясно отдаю себе отчет, мысленно повторяю сотни раз, что умираю вместе с этими людьми как добровольная жертва всемогущей жажды познания, которая оторвала нас от Земли и швырнула на эту негостеприимную планету, уговариваю себя, что нужно смириться с судьбой и сохранить спокойствие перед лицом неизбежности,— а несмотря на все эти замечательные рассуждения, непрерывно ощущаю только одно: страх, безграничный, отчаянный страх! Так это неумолимо и так медленно приближается...

Не понимаю, действительно, почему мы не решаемся разом покончить с этим отчаянным положением. Ведь в наших силах сократить эту жизнь, которая стала уже только пародией на жизнь, мучительной и тягостной...

Часом позже

Нет! Я не могу этого сделать! Не знаю, что удерживает меня, но — не могу. Быть может, детская тоска по Солнцу, этой доброй дневной звезде, которая скоро должна взойти над нами, а может, какая-то смешная, почти животная привязанность к жизни, какой бы краткой она ни была, или остатки глупой, абсолютно беспочвенной надежды...

Знаю, что нас ничто не спасет, и все же так отчаянно хочу жить и так... боюсь...

Все равно! Пусть будет, что будет.

Я смертельно устал. Пускай бы уж, наконец, пришло это — неизбежное! При каждом вдохе думаю, что мне осталось на один вдох меньше. Все равно...

Через час мы отправляемся в путь. Западный край ущелья уже сверкает над нами в солнечном свете. Снова выберемся на широкую равнину, чтобы еще раз увидеть Солнце, увидеть звезды и Землю, спокойную и такую яркую на этом черном небе...

И двинемся на север. Зачем? Не знаю. Никто из нас не знает. Смерть бесшумно двинется рядом с нами через каменистые плато, через горы и долины, а когда стрелка манометра на последнем воздушном резервуаре опустится до нуля, смерть войдет в машину.

Мы молчим; нам не о чем говорить. Мы лишь стараемся чем-нибудь заниматься — наверное, не столько для собственного развлечения, сколько из ложного стыда перед другими. Какая работа может интересовать человека, который знает, что все его труды напрасны?

Итак, мы пойдем навстречу своей судьбе!

*Вторые лунные сутки,
14 часов после полудня.
На Море Дождей, 8°54'
западной лунной долготы,
32°16' северной широты,
между кратерами*

Мы спасены! И спасение пришло так внезапно, так неожиданно, так странно и... страшно, что я до сих пор не могу опомниться, хотя миновало уже двадцать часов с той поры, как смерть, сопровождавшая нас две земные недели, отвернулась и отошла.

Отошла, но не без добычи... Смерть никогда не уходит без добычи. Если из жалости или по необходимости она позволяет жить тем, кто уже был в ее когтях, то берет за них любой выкуп, где попадется, без разбора...

На восходе Солнца мы отправились в путь, скорее по привычке, чем по какой-либо осмысленной необходимости. Мы были уверены, что не увидим вечера этого долгого дня. Ехали молча, а призрак смерти восседал среди нас и спокойно ждал минуты, когда сможет схватить нас в свои ледяные удушливые объятия. Присутствие смерти ощущалось так живо, будто она была осязаемым и зримым существом, и мы удивленно оглядывались, не видя ее.

Теперь это все уже только воспоминание, но тогда это было невыразимо ужасной действительностью. Даже понять невозможно, как мы смогли прожить эти триста с лишним часов — в отвратительном беспомощном страхе, с неумолимым призраком перед глазами. Без преувеличения скажу, что мы умирали ежечасно, думая, что неизбежно должны умереть. Ибо спасения — особенно такого — никто из нас не ожидал.

Не припомню уже подробностей пути.

Час тянулся за часом, машина все так же быстро двигалась на север, и мы, как сквозь сон, смотрели на проносившиеся пейзажи. Сейчас я понимаю, что все ощущения слились у меня тогда в одно целое с ощущением неумолимой смерти. Я не могу сейчас распутать этот клубок. Все, что помнится мне в этом пути, было ужасным. Сначала мы двигались по границе между Гнилым Болотом и Морем Дождей. Справа от нас была гористая дикая местность. Налево, к западу, простиралась равнина, переходившая вдали в невысокие волнистые взгорья, тянущиеся параллельно нашему пути. За этими нагорьями сверкали далекие вершины Тимохариса, освещенные отвесными лучами Солнца.

В памяти сохранились ужасное величие и странно гармонизировавшее с ним неслыханное богатство красок этого пейзажа. Самые высокие пики кратера были абсолютно

белыми, но от них спускались вниз полосы и кольца, играющие всеми цветами радуги. Не знаю, чем это объяснить; возможно, Тимохарис, горное кольцо размерами с Эратосфен, и вправду некогда действовавший, а ныне погасший огромный вулкан. Может, эти радужные полосы возникли от того, что на склонах вулкана оседали полевые шпаты, трахиты, сера, лава и пепел? Не могу сказать, а в ту пору я и не задумывался над этим. Было только впечатление чего-то неправдоподобного, чего-то напоминавшего сказки о волшебных странах и о горах из драгоценных камней. Вглядываясь в эти искрящиеся на солнце вершины, подобные грудам топазов, рубинов, аметистов и бриллиантов, я ощущал в то же время их пронзительно-холодную мертвенность. В резком блеске разноцветных скал, блеске, не погашенном и не смягченном ничем, даже воздухом, было нечто безжалостно суровое и неумолимое... Какое-то мрачное величие смерти веет от этих гор.

Через несколько часов после восхода Солнца, все еще имея впереди вершины Тимохариса, мы въехали в тень невысокого кратера Беер. Миновав его, продвинулись вдоль подножия еще более низкого, расположенного рядом кратера Фейе и выбрались на бескрайнюю, необозримую равнину, тянущуюся на шестьсот километров до северной праницы Моря Дождей. Повернув к северу, мы оставили вершины Тимохариса несколько сзади, зато на северо-западе показался на краю горизонта отдаленный, утонувший в тени кольцевой вал Архимеда.

Мне вдруг почудилось, что мы вступаем в гигантские ворота, настезь распахнутые на равнину смерти. Безграничный, гнетущий ужас обуял меня снова. Невольно захотелось остановить машину, свернуть в скалы, лишь бы только не въезжать на эту широкую равнину, с которой — я был в этом уверен — нам уже не выйти живыми.

Видно, не только у меня возникло такое ощущение, остальные тоже мрачно глядели на простирающуюся перед нами каменистую пустыню.

Вудбелл, угрюмо склонив голову и сжав губы, казалось, долго мерял взглядом просторы равнины, которым не видно было конца, потом медленно перевел глаза на стрелку манометра, прикрепленного к последнему резервуару со сжатым воздухом. Я невольно последовал его примеру. Стрелка в небольшом цилиндре опускалась все ниже — медленно, но безостановочно...

И вдруг страшная, чудовищная мысль сверкнула в моем сознании; воздуха не хватит на четверых, но, может, хватило бы на одного. С этим запасом воздуха один человек мог бы добраться к местам, где лунная атмосфера достаточно плотна, чтобы дышать, хотя бы нагнетая воздух с помощью насоса.

Эта гнусная мысль напугала меня, я хотел сразу прогнать ее, но она была сильнее моей воли и возвращалась снова и снова. Глаза мои были прикованы к стрелке манометра, а в ушах неотвязно звучало: для четверых не хватит, но для одного... Украдкой, как вор, я взглянул на товарищей и — страшно сказать — прочел в их горящих тревожных взглядах ту же самую мысль. Мы поняли друг друга. Молчание, гнусное, угнетающее, воцарилось в кабине.

Наконец, Томас потер рукою лоб и проговорил:

— Если мы хотим это сделать, нужно делать быстро, прежде чем запас иссякнет...

Мы знали, о чем он говорит; Фарадоль молча кивнул; я почувствовал, как пылает от стыда мое лицо, но промолчал.

— Будем тянуть жребий? — вновь проговорил Томас, с явным усилием выдавливая из себя эти слова. — Но... — тут голос его дрогнул и изменился, становясь мягким, мо-



лящим,— но... я хочу... просить вас... Пусть Марта... тоже... останется в живых.

И снова глухое давящее молчание. Наконец, Педро пробормотал:

— Двоим не хватит...

Томас каким-то надменным движением вскинул голову:

— Тогда ладно, пусть будет, что будет! Так даже лучше.

С этими словами он взял четыре спички, обломал у одной головку и, спрятав их в кулаке так, что видны были лишь концы, протянул к нам руку.

Все это время Марта стояла в стороне и ничего не слышала. Она подошла к нам именно в то мгновение, когда мы протянули руки к спичкам, и внезапно спросила совершенно спокойным голосом:

— Что вы делаете?

А потом обратилась к Томасу:

— Покажи, что у тебя в руке...

И вынула из его руки эти спички, в которых был смертный приговор троем из нас, чтобы мог жить четвертый.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели ей помешать. Мы до корней волос побагровели от стыда. Эта девушка разоблачила нас в тот миг, когда мы собирались совершить отвратительное преступление, продиктованное эгоизмом, подлостью и трусостью. Мы переглянулись — и вдруг обнялись, разразившись судорожными, долго сдерживаемыми рыданиями.

Не было уже и речи о том, чтобы тянуть жребий. Взаимная ненависть, вызванная близостью и неизбежностью нависшей над нами смерти, сменилась теперь чувством теплоты и душевной откровенности. Удивительное, безграничное умиротворение снизошло на нас. Мы сели рядом — Марта своим гибким упругим телом прижалась к

Томасу — и вполголоса, от всего сердца говорили о всем том, что некогда было дорого нам на Земле. Каждое воспоминание, каждая мелочь приобретали теперь огромное значение: мы знали, что этот разговор — прощание с жизнью.

А машина тем временем неустанно мчалась на север через безграничную равнину смерти.

Проходили земные часы и сутки; все ниже падала стрелка манометра, но мы уже были спокойны — мы смирились с судьбой. Мы разговаривали, ели, даже спали, словно ничего не случилось. Я только чувствовал странное, болезненное сжатие возле сердца и в горле: пытаешься забыть огромную утрату и не можешь.

К полудню мы находились уже между 31 и 32 параллелями. Зной, хоть и весьма сильный, не терзал нас, как накануне, потому что на этой широте Солнце поднимается над горизонтом всего лишь на неполных шестьдесят градусов. Земля, все так же висящая в южной части неба, была в фазе полноземлия, когда диск Солнца, коснувшись пламенного кольца земной атмосферы, начал медленно скрываться за ней.

Нам предстояло увидеть почти двухчасовое затмение Солнца, которое люди на Земле наблюдают как затмение Луны.

Яркое кольцо земной атмосферы, когда его коснулось Солнце, превратилось в венец из кровавых молний, охвативший громадное черное пятно — единственный участок неба, где не сверкали звезды. Около часа понадобилось Солнцу, чтобы зайти за этот чернеющий среди пламени круг. Тем временем венец разгорался все багровей и шире. В тот миг, когда Солнце исчезло, сияние венца было уже столь ярким, что в его оранжевом полусвете прозрачно проступали очертания местности. Черное пятно Земли зияло теперь, будто отверстие гигантского колод-

ца, вырытого в звездном небе; багрово-огненный ободок, окаймлявший его, далее переходил в красные, оранжевые и желтые тона, расплывался широкими кругами и постепенно таял в слабом бледном свечении на черном фоне. А из-за пламенного венца стремились на запад и восток два снопа лучей, как два фонтана золотистой пыли,— то был зодиакальный свет, который виден при затмениях.

Тем временем все вокруг из оранжевого стало багровым, словно кто-то залил кровью мрачную пустыню перед нами.

Нам пришлось остановиться — в этом тусклом багровом полумраке невозможно было найти дорогу. Вместе с темнотой вернулся мучительный холод. Укутавшись и прижавшись друг к другу, мы ждали появления Солнца. Над нами в несказанном великолепии все пылал сверкающий фогатый венец многоцветных лучей — и вдруг собаки принялись выть, сначала тихо, а потом все громче и все тоскливей. От этого воя пошла по спине ледяная дрожь, вспомнилась ночь перед кончиной О'Теймора, когда Селена вот так же выла, встречая смерть, вступавшую в нашу машину. И по контрасту с великолепием небосвода еще резче ощутили мы безмерно ужасную безнадежность нашего положения; казалось, будто весь этот небесный фейерверк зажегся в насмешку над умирающими, на которых Солнце глядеть уже не хотело.

Воздуха в резервуаре оставалось всего часов на двадцать.

Два часа спустя край Солнца появился из-за черного диска Земли, а сверкающий ореол сузился и потускнел. Вид Солнца сначала даже удивил меня — настолько я уже свыкся с этой багровой ночью, настолько ощутил в ней предвестницу иной ночи, глубокой, вечной, в которую мы уйдем, так и не дождавшись света, что зарождающийся день показался мне чем-то непонятным. А потом

вдруг — не знаю откуда — родилась во мне надежда, словно с появлением Солнца нас должно было спасти какое-то чудо.

— Мы будем жить! — воскликнул я так внезапно и так убежденно, что все обернулись ко мне с выражением недоумения и надежды.

В эту минуту произошло нечто странное. Из ящика, в котором был спрятан бесполезный теперь телеграфный аппарат, послышалось постукивание. Мы не верили собственным ушам, но стук доносился все явственней. Мы бросились к ящику и, открыв его, убедились, что аппарат действительно стучит, будто принимая идущую откуда-то депешу. Но тщетно пытались мы разобраться в ее смысле. Видимо, что-то испортилось или перепуталось, мы смогли уловить лишь несколько отдельных слов: «...Луна.. через час... от центра диска.. под углом... да... Франция... те... а если... смерть...»

Мы были поражены до крайности. Фарадоль метнулся к аппарату и простучал:

— Кто передает?

Мы ждали минуту — никакого ответа. Педро снова повторил запрос и снова, но безрезультатно. Аппарат замолчал, и стук уже не возобновился.

В абсолютной тишине прошло полчаса и уже начинало казаться, что все случившееся было какой-то непонятной галлюцинацией.

Солнце вышло из-за края Земли и застыло в небе рядом с ней. Зной снова усиливался.

И тут что-то мелькнуло в лучах Солнца и сверкнуло перед нами, и в ту же минуту почва под ногами дрогнула, как стена, в которую ударило орудийное ядро. Вскрикнув от удивления и испуга, мы бросились к окну. Какое-то металлически поблескивающее тело, отскочив от лунной поверхности, описало гигантскую дугу в пустоте, и

вновь ударилось о грунт, и вновь отскочило — второй, третий, четвертый раз, чудовищными скачками уносясь на северо-запад.

Не понимая, что это такое, мы застыли в изумлении, и вдруг Педро крикнул:

— Это братья Ремонье!

Внезапно мы поняли все! Ведь прошло ровно шесть земных недель с того часа, как мы упали на поверхность Луны — это тот срок, после которого вслед за нами должна была отправиться вторая экспедиция. Видимо, наш телеграфный аппарат стучал, принимая депешу, которую братья Ремонье посылали на Землю, приближаясь к Луне. Быть может, он и раньше стучал, но слабее, и звук внутри ящика, где он находился, не привлек нашего внимания. Видимо, и братья Ремонье, занятые в последние минуты приготовлениями к спуску, тоже не услышали нашу передачу.

Все эти мысли молниеносно пронеслись в моем сознании, пока мы с лихорадочной поспешностью запускали мотор. Мгновением позже мы уже мчались на полной скорости в ту сторону, где исчез снаряд. Одна мысль, заслонившая в этот миг все остальное, владела нами: у братьев Ремонье есть воздух!

Менее чем за полчаса добрались мы до места, где после многократных скачков замер наконец снаряд наших друзей.

Страшное зрелище представилось нашему взгляду: среди обломков разбитого снаряда лежали два окровавленных, изуродованных труп.

Как можно быстрее натянув гермокостюмы и наполнив их остатками воздуха, мы выскочили из машины, дрожа от волнения, которое порождалось — что скрывать! — не столько ужасной гибелью друзей, сколько опасением, не повреждены ли резервуары с воздухом.

Два резервуара действительно лопнули и валялись пустые среди искореженных металлических плит, но остальные четыре остались невредимыми.

Мы были спасены!

На мгновение нами овладела безумная радость, так мало соответствовавшая тому, что нас окружало. Но мы ведь умирали вот уже триста пятьдесят часов кряду, а сейчас узнали, что будем жить!

Успокоившись насчет собственной участи, мы начали наконец раздумывать об участи, постигшей братьев Ремонье. Фактически то же обстоятельство, которое спасло нас, стало причиной их гибели. Из-за чисто случайной неточности в расчетах они упали там, где находились мы, а не в центре лунного диска, за тысячу километров отсюда. Эта случайность снабдила нас запасом воздуха, а их убила. Ибо на этой широте они падали на лунную поверхность не вертикально, а под углом, так, что снаряд ударился о твердую почву боком, где не было защитной рамы, и, отскочив несколько раз, в конце концов разбился. Ужас охватил нас, когда мы представили себе, что то же самое могло случиться и с нами...

Тщательно укрыв трупы камнями, мы принялись разбираться в печальном наследстве. Выбирая из обломков все, что могло пригодиться, мы, конечно, прежде всего перенесли в нашу машину драгоценные резервуары со сжатым воздухом, потом продовольствие, запасы воды и некоторые не слишком поврежденные инструменты. С замиранием сердца искали мы телеграфный аппарат, надеясь, что он окажется достаточно мощным и мы сможем связаться с жителями Земли. Однако эта надежда оказалась тщетной, аппарат разбился при падении. Та же участь постигла большинство астрономических инструментов. Мотор, хоть и сильно поврежденный, мы все же взяли с собой.

Какое счастье, что медные воздушные резервуары не пострадали в этой ужасной катастрофе!

Забрав имущество несчастных Ремонье, мы немедленно двинулись снова на север, потому что зной, прерванный морозом во время затмения, теперь быстро усиливался и нужно было поскорей найти какую-нибудь тень.

Мы остановились лишь здесь, между небольшими кратерами С и Д.

Эти крутые конусообразные горки, почти соприкасающиеся подножиями, имеют, несомненно, вулканическое происхождение. Вся земля вокруг покрыта пленкой серы и в ослепительном солнечном свете отливает желтизной. Глубокие трещины, которыми изрыты склоны кратеров от вершин до подножий, представляют собой надежную защиту от жгучего зноя.

Мы спасены, но угнетенное состояние не оставляет нас. Невольно встают перед глазами жуткие искалеченные трупы Ремонье. Мы никак не повинны в их смерти, но что-то гложет мою совесть: ведь эта смерть нас спасла...

Я устал от этих событий, устал от этих долгих записей. Нужно лечь и отдохнуть перед продолжением пути. Ведь тяготы, да, наверно, и опасности для нас еще не кончились.

Я сейчас взглянул на Селену, играющую со щенками. Они удивительно выросли за эти недели... Странно — когда нам грозила смерть от удушья, мы готовы были принести в жертву троих, чтобы спасти четвертого, и никому не пришло в голову избавиться от собак, которые тоже ведь потребляют много воздуха, и продлить тем самым время жизни, оставшееся — как мы думали — нам! Как это было бы страшно, если бы мы действительно вот так пожертвовали кем-нибудь, а собак сберегли только по забывчивости!

Ну, пока опасность миновала и лучше, что собаки уцелели. В своей звериной простоте они живее напоминают о Земле, чем мы сами можем напомнить о ней друг другу. Растроганно смотрю я на них... Мы так одиноки и так ужасно оторваны от Земли. Двух человек выслала она за нами, но нам довелось увидеть только их трупы. Как мы надеялись, что с прибытием братьев Ремонье обретем друзей, а заодно и возможность связи с Землей, а между тем они спасли нам жизнь, но зато мы приговорены к вечному одиночеству.

На Море Дождей, 9° западной лунной долготы, 37° северной широты, вторые сутки, 152 часа после полудня

Почти сто часов, то есть около четырех земных суток, мы движемся по равнине, которой, кажется, нет конца. До самого горизонта — ни единой возвышенности, ни единой горной вершины, на которой мог бы остановиться взгляд, ничего. Это страшное однообразие угнетает и томит нас. На Земле я однажды путешествовал по Сахаре, но, воистину, по сравнению с окружающей нас пустыней Сахара кажется мне прекрасным и щедрым краем! В Сахаре то и дело встречаются гряды скал, волнистые песчаные возвышенности, за которыми нередко обнаруживаешь зеленые верхушки пальм, окруживших великолепный оазис; над Сахарой — голубое небо, которое серебрится на рассвете, сияет в полуденный час, румянится зарей или затягивается звездным покровом ночи; по Сахаре бродят ветры и, волнуя ее песчаное море, напоминают своим дыханием о жизни. Здесь ничего этого нет. Каменная равнина, изрытая неглубокими борозда-

ми, искрошенная поверху солнечным зноем, однообразная, страшная, как это небо над головой, которое почти не меняется за триста с лишним часов! Ветер, лазурь, зелень, вода, жизнь — все это кажется отсюда милой, прекрасной, но неправдоподобной сказкой, услышанной или пережитой когда-то в детстве, давно, уже очень давно... По земному счету мы находимся на Луне неполных два месяца, но нам кажется, что прошла уже вечность с тех пор, как мы покинули Землю. Постепенно мы привыкаем к новым условиям жизни; нас уже не удивляет окружающее — скорее уж удивляют воспоминания, которые шепчут, что там, на светлом шаре, висящем в сотнях тысяч километров от нас в черном небе среди звезд, есть страна, где мы выросли, такая непохожая на этот мир и такая прекрасная, такая несказанно прекрасная!..

Нет, люди не умеют ценить красоту Земли! Если б им довелось побывать здесь, они любили бы ее так же, как мы сейчас любим ее, потерянную навсегда, и вспоминали бы о ней в тревожных, горячечных снах, наполненных упорной и мучительной тоской... Так утомительны эти сны! Просыпаешься через несколько часов и видишь, что Солнце стоит в небе почти там же, где стояло, когда ты засыпал, что машина, безостановочно мчась, все так же далека от горизонта, остается в центре все той же пустыни, и начинает казаться, что нет ни времени, ни расстояния, а есть лишь безмерность и вечность.

Чтобы развлечься, чтобы не сойти с ума в этой пустыне, мы подолгу рассказываем друг другу всевозможные истории или читаем взятые с Земли книги. У нас есть книги по естествознанию, обширная история цивилизации, несколько великолепнейших поэтов и Библия. Особенно часто мы читаем Библию. Обычно Вудбелл раскрывает ее и выразительно, звучным голосом читает Книгу Бытия или Евангелие...

Мы внимаем тому, как бог сотворил Землю для человека, чтобы он ступал по ней, и Луну, чтобы было светло по ночам, как он повелел ночи приходить вслед за днем, как изгнал Адама из цветущего рая в пустынный, бесплодный мир, как пришел на Землю спаситель, чтобы искупить грехи человеческие, как он ходил с толпой верующих по благовонным полям и зеленым холмам Галилеи, как страдал и умер; слушаем все это, глядя на Землю, подобную серебряному серпу на черном бархате небес, мчась по пустынной страшной равнине, под Солнцем, которое ползет лениво и забывает отмечать для нас дни и ночи...

Марта всей душой попружается в эти рассказы, а когда Томас окончит чтение, задает ему разные, порой довольно странные вопросы... Она все приспособливает к нашему здешнему положению. Недавно она сказала Томасу: «Мы с тобой здесь, как Адам и Ева». Действительно, они здесь — первая человеческая пара, изгнанная с Земли в пустыню, как некогда были изгнаны из рая первые люди. Но мы с Педро, кто же тогда мы с ним? Нечто противоестественное вижу я в нашем теперешнем существовании: смысл жизни Марты и Томаса заключен в них самих, но мы — зачем живем мы?

Мне вспоминается, что мы говорили на Земле, собираясь в этот заоблачный путь: мы отправляемся туда во имя познания! Теперь я вижу, что одно лишь познание не удовлетворяет человека, если он не может закрепить его результаты и передать другим. Мы видим такие чудеса, каких не видел еще ни один человек от сотворения мира, и с удивлением замечаем, что относимся к ним весьма равнодушно — ибо нам некому рассказать об увиденном! И поэтому же невольно мы не исследуем многое из того, что могли и должны были бы исследовать... О, если б у нас была возможность общаться с Землей! Без этого на-

ша жизнь бессмысленна. Счастливым Томас, счастливая Марта! Они живут друг для друга!

Какая-то лихорадка жжет меня, когда я смотрю на них, думаю о них. Прожив на Земле тридцать шесть лет, я принадлежал к числу тех, признаю теперь, безумцев, для которых существует одна лишь тоска по истине. Теперь я тоскую по великой тайне человеческой жизни, которая заключена в женщине, и по тому священному безумию, в облике которого является человеку эта тайна, — по безумию любви.

До чего смешно выглядят эти слова, когда они написаны на бумаге! Я одинок и буду одинок до самой смерти, которая придет и задушит меня вместе с этой нерастраченной жизнетворящей мощью, вместе с этим бесполезным знанием, подобным роднику, бьющему среди неприступных и бесплодных скал...

Марта... Сам не знаю, почему вдруг написал я это имя. Что мне до этой прекрасной, словно молодой проворный зверь, полудикой малабарки, которую загнала в этот мир, удаленный на сотни тысяч километров от Земли, не благороднейшая жажда постижения тайн, а обычная глупая любовь к мужчине?

Да, мне нет до нее дела, и все же я думаю о ней непрестанно, упорно, даже мучительно. Нас трое мужчин, сильных и умных, и все же не мы перенесли в этот мир человека, а она — эта глупая, слабая женщина. Лишь один из нас что-то значит — тот, которого она выбрала...

А мы двое — ничто, и по существу только служим этой паре своим мозгом, как рабочая скотина — мышцами.

Как это несправедливо, если вдуматься. Почему он, почему только он, почему именно он?

Марта говорила на Земле, умоляя нас взять ее с собой: «Я буду вашей рабыней». А по существу это мы ее рабы, хотя она нам никогда ничего не приказывает и мы

не стараемся ей служить. Мы ее рабы по той весьма простой причине, что невольно, хоть и по-разному, служим той цели, которую она одна может осуществить: создать здесь новое человечество.

Ого, куда меня занесли мои мысли! Стоило лишь призраку смерти исчезнуть с моих глаз, а уж я по старому земному человеческому обычаю размышляю о будущем, которое, возможно, никогда и не наступит. Человечество, новое человечество! А тут вокруг нас пустыня, а тут мир безвоздушный, безводный и мертвый. Луна пока ничего нам не дала, мы все еще живем той частицей Земли, которую взяли с собой. У нас вообще нет доказательств, которые убеждали бы нас в том, что здесь можно найти условия для жизни. Мы прошли вот уже несколько сотен километров, так и не заметив никакой разницы ни в рельефе местности, ни в плотности атмосферы. Воздух всюду разрежен до такой степени, что даже днем не может затмить звезды и окрасить голубизной черное небо; на скалистой поверхности нигде не видно следов воздействия воды.

И все же мы не теряем надежды. Почти все наши разговоры начинаются исполненными веры словами: «А когда мы уже доберемся до той стороны... Какая она будет, та сторона?» Мы знаем об этом так же мало, как в ту минуту, когда отпавлялись с Земли, то есть ровно ничего не знаем.

*Под Тремя Головами, 7°40'
западной лунной долготы,
43°6' северной широты, пе-
ред полночью вторых су-
ток*

Мы стоим у подножия горы, вздымающейся в северной части Моря Дождей и совершенно непохожей на все

возвышенности, встречавшиеся нам до сих пор. Свет Земли, поднятой здесь лишь на сорок с небольшим градусов над горизонтом, косо падает на скалы, напоминающие гигантский готический храм или сказочный замок великанов.

Ночной свет здесь много слабее, чем там, где Земля стояла в зените; однако и при этом свете можно различать общие очертания. Это первая вершина, которая не имеет формы кольцевого кратера. Она похожа скорее на обломок развалин такого кольца, уничтоженного каким-то ужасным стихийным катаклизмом или же медленным действием воды.

Да, мы уже говорим — действием воды, и хоть это всего лишь робкое предположение, но мы чувствуем такое радостное возбуждение, словно это уже истина... ибо если здесь была вода, то можно надеяться, что там, дальше, на той стороне, вода и сейчас есть; а если есть вода, то должен быть и воздух, пригодный для дыхания. Мороз, хоть и много слабее вчерашнего, все же мучительно угнетает нас, но, несмотря на это, мы вышли ненадолго из машины и в косом свете Земли исследовали окрестность, пытаясь найти что-либо, подтверждающее наши предположения. Ничего определенного мы не знаем, но несомненно, что эта гора создана иными силами, чем встречавшиеся до сих пор кольцеобразные возвышенности. Прямо перед нами высится почти вертикальный склон, увенчанный тремя мощными зубцами, словно обломок циклопической крепостной стены с выступающими башнями. Мы назвали ее Тремя Головами. Стена тянется на северо-восток и обращена к нам черной, неосвещенной стороной. Только зубцы сверкают гребнями, обращенными в сторону Земли, и выглядят как три серебряных шлема на черных головах. Сама гора выделяется на фоне неба лишь как черное пятно без звезд, усеявших остальную часть

небосвода. Ее очертания угадываются так же, как на Земле угадывается ночью темная туча на темном, но звездном небе.

Мы движемся в абсолютном мраке, потому что гора заслоняет свет Земли. Дорогу можно различить только с помощью электрических фонарей. Это невероятно затрудняет путь. Каждый бугор отбрасывает длинную тень, и приходится продвигаться с величайшей осторожностью, чтобы не застрять в какой-нибудь неровности грунта или мелкой расселине, которые встречаются все чаще. По-видимому, мы немного успеем пройти за ночь, тем более что мороз, крепчающий перед рассветом, заставит нас, наверно, сделать привал. Хотелось бы добраться по крайней мере до вершины Пико, которая, судя по карте, находится в семидесяти километрах к северу от нас. По опыту мы знаем уже, что вблизи гор много теплее, чем на равнине. Мы объясняем это вулканическим характером многих из этих гор — там, должно быть, много ближе к поверхности проходят огненные русла лунной лавы.

После краткой остановки, необходимой для ремонта мотора, мы снова двинемся в путь. Приходится прервать записи, потому что во время езды о писании нечего и думать.

Неровности грунта и бесчисленные тени, которые отбрасывает спустившаяся к горизонту Земля, заставляют всех нас быть начеку. Даже сон мы организовали теперь так, что один спит, а трое бодрствуют, чтобы не останавливать машину. Сейчас спит Марта. Я слышу ее ровное, спокойное дыхание, вижу в свете пригашенного фонаря ее лицо, выглядывающее из-под груды мехов. Ее губы чуть приоткрыты, будто в улыбке или поцелуе... Что ей снится сейчас?

А, глупости! Мы отправляемся.

Третьи сутки, 30 часов после полуночи, на Море Дождей, 9°14' западной лунной долготы, 43°58' северной широты

Как странно, как странно все, что я вижу...

Почти в полночь мы двинулись от Трех Голов. Дорога была ужасающе трудная, мы то и дело попадали в тень небольших возвышенностей. В течение часа несколько раз пришлось останавливаться, чтобы разведать путь с помощью фонарей или измерить высоту звезд — наших единственных ориентиров. Равнина вокруг, перерезанная тенями, похожа на клубящиеся, слегка посеребренные сверху тучи. Ничего нельзя разглядеть, кроме общих очертаний. И все же... Может, именно поэтому...

За тридцать часов мы прошли всего сорок с лишним километров. И сейчас наконец добрались до странной серой полосы, напоминающей песчаную отмель. Она тянется на большое расстояние к северо-западу слегка изогнутой дугой, выделяясь более светлой окраской на темном фоне каменной пустыни. Насколько можно разглядеть при свете Земли, эта полоса кончается около диковинной группы скал, издали похожих на фантастические руины какого-то замка или города. Города?..

Мы направляемся по этой полосе: здесь дорога гораздо ровнее, чем усеянная камнями пустыня, а притом мы почти не отклоняемся от намеченного направления. Мы движемся довольно быстро, и эта группа скал, видимая издали, вырисовывается перед нами все более отчетливо. Можно уже ясно разглядеть отдельные камни, причудливо громоздящиеся друг на друга и поразительно напоминающие руины башен и зданий.

Не знаю, что и думать об этом. Стараюсь дать себе

отчет... Нет! Это действительно слишком странно! Какой-то почти суеверный страх охватывает меня...

Неужели это...

*Третьи сутки, 36 часов, на
Море Дождей*

Проклятье! Проклятье! Если мы потеряем Томаса... Он был и так страшно изможден болезнью, а теперь вновь... Боже! Спаси его, потому что мы уже... Этот год мертвецов...

*59 часов после полуночи,
на Море Дождей под Пи-
ко, 9°12' западной лунной
долготы, 45°27' северной
широты*

Собираюсь с мыслями... Надо, наконец, записать это.

Помню, я прервал записи и, глядя на загадочные руины или нагромождения глыб, невольно воскликнул:

— Но ведь это действительно похоже на город!

Томас, который все время стоял у окна и с возрастающим интересом разглядывал скалы, быстро обернулся. Он был явно взволнован.

— По-моему, ты прав,— сказал он серьезно, с легкой дрожью в голосе.— Это действительно может оказаться городом...

— Что?!

Мы бросились к окну.

Даже Педро остановил машину и отошел от руля, чтобы поглядеть на это диво. Томас протянул руку.

— Смотрите туда, направо,— сказал он.— Ведь это же явно развалины каменных ворот. Видны оба столба,

и даже остаток арки еще сохранился вверху. Или там, в глубине,— разве это не башня, только полуразрушенная? А тут, смотрите, какое-то большое здание, впереди низкая колоннада, а по бокам две усеченные пирамиды... Ручаясь, что вот это ущелье, кое-где заваленное глыбами, когда-то было улицей. А сейчас все это разрушено и мертво... Мертвый город.

Я не могу выразить чувства, которое овладело мной.

Чем дольше я вглядывался, тем больше склонен был поверить, что Томас прав. Взгляд мой находил все новые башни, арки и колонны, обломки разрушенных оград, улицы, перегороженные развалинами зданий. Свет Земли серебрил эти фантастические руины; они возникали из черного озера тьмы таинственно, как привидения. Смутный страх наводили они. Словно лунные Помпеи или Геркуланум, только не выкопанные из-под пепла, а скорее сами в пепел рассыпающиеся, и еще более страшные, громадные, более мертвые в этом жутком одиночестве, в этом призрачном свете.

Фарадоль пожал плечами и пробормотал:

— Да, эти скалы действительно очень похожи на развалины... Но ведь здесь, на Луне, никогда не было живых существ.

— Кто знает! — возразил Томас.— Сейчас на этой стороне Луны нет ни воды, ни воздуха, но, возможно, они были тут когда-то, столетия, тысячи столетий назад, когда Луна вращалась быстрее и Земля встходила и заходила на ее небе...

— Это возможно... — шепнул я в раздумье.

— Мы нигде не встретили следов эрозии,— сказал Педро.— А это доказывает, что воды здесь никогда не было; значит, не было и воздуха, а стало быть, и жизни.

Вудбелл усмехнулся и, протянув руку, показал на почву под колесами машины:

— А этот песок? А Три Головы, которые мы миновали недавно? Ведь они же выглядели, как остатки размытой горы. Нельзя утверждать, что здесь никогда не было воды. Может быть, все, что она создала, уничтожено и стерто многовековыми морозами и зноем...

Некоторое время в кабине царило полное молчание, потом Вудбелл вдруг сказал:

— Мне кажется, перед нами самая любопытная загадка из всех, какие мы могли встретить на Луне. Надо ее разгадать.

— Что же ты предлагаешь? — спросил я.

— Да просто подъедем к этим развалинам и осмотрим их.

Меня почему-то мороз пробрал. То не был страх, но было нечто очень на него похожее. Эти развалины — зданий или все же скал — казались белыми скелетами среди необъятной пустыни.

Педро тоже неодобрительно пожал плечами:

— Странные причуды! Не стоит тратить время, чтобы разглядывать скалы, которые при свете Земли действительно слегка напоминают здания, только и всего.

Мы все-таки повернули машину к развалинам. Марта всматривалась в них напряженно и с явным беспокойством.

— А если это город мертвых, построенный мертвецами... — прошептала она, когда всего уже два километра отделяло нас от аркады, образующей вход в это странное место.

— Город мертвых... очевидно, — сказал улыбаясь Томас, — но поверь мне, что строили его когда-то живые.

— Или силы природы, — добавил Педро и в тот же миг резко затормозил машину.

Мы бросились к нему посмотреть, что случилось. Песчаная гряда кончалась как раз в этом месте, а дальше

все было так завалено каменными глыбами, что нечего было и пытаться в машине приблизиться к городу. Томас, увидев это, задумался, но потом воскликнул:

— Я пойду пешком!

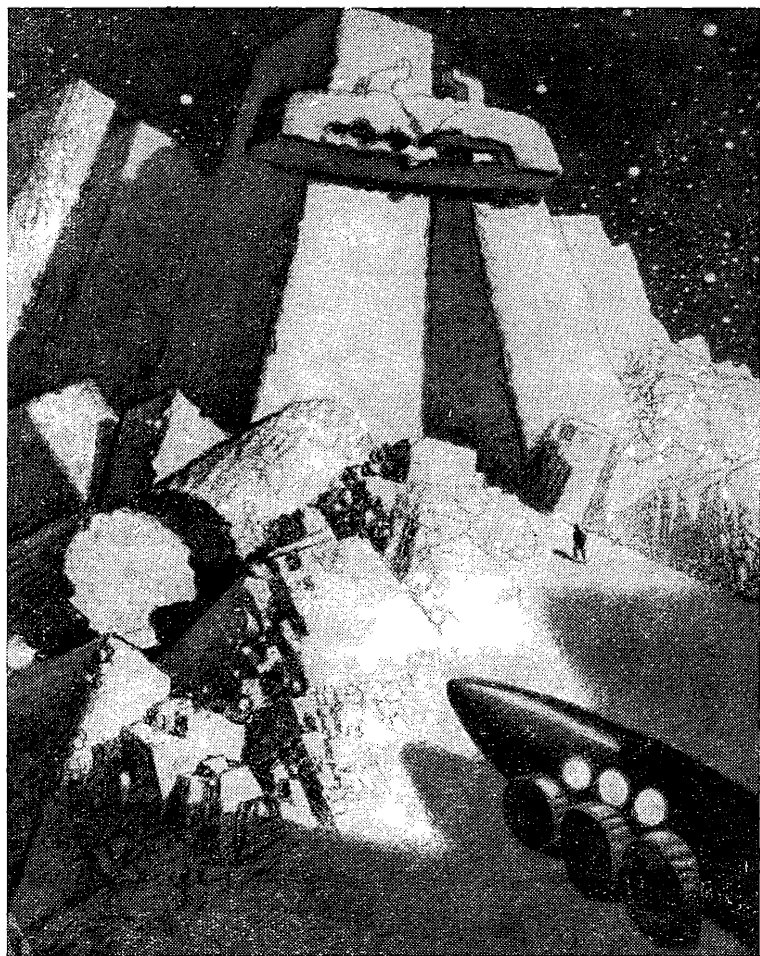
Сами не понимая почему, мы сразу же единодушно принялись отговаривать его.

Неужели это было предчувствие?

Однако он в конце концов настоял на своем. Педро чертыхнулся сквозь зубы и пробормотал, что это полнейшее сумасбродство — тратить время и выходить из машины на жгучий мороз ради пустой химеры. Я предложил сопровождать Томаса, но когда он отказался, я не стал настаивать. По сию пору не знаю, что меня, собственно, удержало — то ли боязнь холода, то ли это странное, необъяснимое и тягостное ощущение какого-то страха перед мертвыми развалинами. Так или иначе, я не пошел с Томасом — и свершилось ужасное.

Выйдя из машины, Томас напрямик двинулся к причудливо громоздящимся развалинам. Стоя у окна, мы видели его в свете Земли, как на ладони. Он шел медленно, часто наклонялся, видимо исследуя почву. На мгновение исчез в тени небольшой скалы, потом мы увидели его вновь, но уже значительно дальше. И тут случилось нечто непонятное. Вудбелл, пройдя примерно треть пути, выпрямился и стал, как вкопанный, и вдруг, повернувшись, отчаянными скачками кинулся обратно к машине.

Мы смотрели, ничего не понимая. В нескольких шагах от машины он споткнулся и упал. Видя, что он не поднимается, мы оба, уже охваченные тревогой, бросились к нему на помощь. Мы вышли не сразу — ведь нужно было надеть гермокостюмы. Наконец, управившись с ними, мы выбрались наружу. Томас лежал без сознания. Не время было соображать, что с ним случилось, — мы схватили его на руки и как можно быстрее внесли в машину.



Когда мы сорвали с него гермокостюм, нам представилось жуткое зрелище. Набрякшее и посиневшее лицо Томаса все было залито кровью, хлынувшей из рта, из ноздрей и ушей; на опухших руках и на шее тоже проступали капли крови, хотя ран мы нигде не обнаружили.

Марта дико закричала и бросилась к нему — только силой удалось Фарадолю удержать ее и немного успокоить. Я тем временем принялся приводить несчастного в чувство. Сначала мы думали, что его сразил апоплексический удар, но когда Педро осмотрел сброшенный гермокостюм, нам открылась истинная причина обморока. В первую минуту мы не заметили, что стекло в маске было разбито. Видимо, это случилось, когда Томас споткнулся и упал. Тогда воздух улетучился из гермокостюма. Прежде чем мы успели добежать, почти весь запас воздуха в резервуаре иссяк. Это вызвало кровотечение и обморок. Но пока оставалось загадкой, почему Томас так бежал.

Прошло довольно много времени, прежде чем нам удалось соединенными усилиями привести его в чувство. Первым признаком возвращающейся жизни был судорожный, глубокий вздох, после чего кровь снова хлынула из рта. Затем Томас открыл глаза и часто, тяжело дыша, окинул нас безумным взглядом, видно, не понимая, что с ним происходит. Вдруг он пронзительно вскрикнул, протянул руки, словно отталкивая что-то, и снова потерял сознание. Мы опять привели его в чувство, но сознание к нему так и не вернулось: у него началась горячка, которая, кажется, предвещает длительную болезнь.

Уложив больного как можно заботливей в гамак, мы двинулись в дорогу. Так встревожены мы были страшным происшествием и так горели желанием поскорей выбраться из зловещих мест, что никто уже не думал о диких скалах или таинственном городе.

Через двадцать с лишним часов мы наконец добрались до склонов Пико, где и стоим сейчас. Мы задержимся здесь до рассвета.

Состояние Вудбелла остается по-прежнему опасным. Кровотечение, правда, уже прекратилось, но горячка все усиливается. Временами он вскакивает, мечется, будто хочет бежать, бредит, выкрикивает непонятные фразы, в которых часто повторяются имена несчастных братьев Ремонье. За этими приступами следует полнейшее изнеможение. Томас становится тогда мертвенно бледным, будто во всем его теле не осталось ни единой капли крови.

Мы встревожены всем этим до чрезвычайности. Марта сходит с ума от тревоги и горя, но старается владеть собой, понимая, что ее помощь нужна больному. Мы всячески утешаем ее, скрывая собственные опасения...

Во всем этом страшном происшествии кроется какая-то тайна. Не могу понять, что вынудило Томаса к отчаянному бегству, которое, собственно, и стало причиной несчастья. Это ведь ясно, что маска разбилась только при падении. Теперь я жалею, что мы не догадались выйти из машины и осмотреть дорогу, по которой он прошел. Может, в этом был ключ к загадке — что могло так устрашить Томаса? Ибо что-то уж там было, что-то произошло! Кто-кто, а уж Томас, который проявлял такое самовладение и трезвость в самых отчаянных положениях, не поддался бы беспричинному страху. Но что его испугало? Что вообще могло его испугать в этом мертвом море?.. Он не прошел и полпути к воротам этого мнимого города мертвецов...

Под Пико, 148 часов после полуночи

Наконец-то мы вздохнули спокойней: кажется, нам удастся сохранить жизнь Томаса. Сейчас он уснул — это

признак того, что кризис уже миновал. Мы стараемся двигаться как можно тише, даже говорим только шепотом, чтобы его не разбудить. Хочется верить, что этот сон его спасет.

Только бы собаки не залаяли, ведь сейчас разбудить Томаса — это значит убить его. Мы по очереди непрерывно дежури́м около собак, если какая-нибудь из них залает, мы тотчас вышвырнем ее из машины. На наше счастье, собаки ведут себя спокойно. Селена, любимица Томаса, уселась недвижимо возле его гамака, словно на страже, и не сводит глаз со своего больного хозяина. Я убежден, что это разумное животное отлично понимает состояние своего господина. В ее глазах столько жалости и тревоги... Когда кто-нибудь из нас приближается к больному, она тихонько ворчит, будто предупреждает, что охраняет его и не даст в обиду, а затем машет хвостом в знак того, что верит в наши добрые намерения и радуется нашей заботливости.

По ту сторону гамака сидит Марта. Вот уже сто часов, как она молчит. Разжимает губы лишь для того, чтобы договориться с нами об уходе за больным. Не могу представить себе большей скорби. Она не плачет, не жалуется, нет, она спокойна, но в этом спокойствии, в этих сжатых губах и сухих, широко раскрытых глазах есть нечто такое страшное, что глянешь — и прямо сердце разрывается.

Мы ощущаем какое-то невольное уважение к ней и к ее скорби. Хотелось бы утешить ее, вдохнуть в нее бодрость и надежду, но мы просто не решаемся ни приблизиться к ней, ни заговорить. И она смотрит на нас с удивительным безразличием; видимо, она замечает нас лишь постольку, поскольку мы помогаем ей спасать Томаса. Кажется, что помимо этого мы для нее вообще не существуем.

Самая высокая вершина Пико уже засверкала на солнце; через три-четыре часа и здесь, внизу, наступит день. Всю ночь серебрился перед нами в сиянии Земли отвесный склон могучей горы; теперь эта стена посерела и потемнела по контрасту с сияющей вершиной.

Подобно Трем Головам, Пико не кратер, а скорее огромный обломок разрушенного горного кольца. Мы стоим под самым высоким из его зубцов, вздымающимся на северо-западе. Обрывается он здесь к долине почти отвесно и кажется еще выше оттого, что вокруг простирается равнина. Кружится голова, когда смотришь снизу на этот пик высотой в две с половиной тысячи метров.

Трудно понять, какие силы разрушили ту кольцевую гору, от которой остался только этот пик. Возможно, тут были мягкие породы, и они раскрошились от перепадов температуры, а может быть, их размыва вода?

Второй уже раз за время пути делаем мы такое предположение. Здесь в его пользу говорит и то обстоятельство, что нигде не видно вала из обломков скал, который должен был бы возникнуть, если б эти горы разрушились под воздействием мороза и зноя. Там, где некогда вздымался, надо полагать, хребет горного кольца, смутно виднеется в свете Земли невысокий сглаженный вал. Невзирая на страшный холод, Педро выбежал наружу, чтобы исследовать почву. Он не смог пробыть там долго, но принес осколок камня, удивительно похожего на осадочную породу. Когда взойдет Солнце и осветит окрестность, нам, может быть, удастся выяснить что-нибудь.

Томас спит уже почти тридцать часов подряд. Это снится с нас часть забот, но, с другой стороны, такой долгий сон начинает нас тревожить. Страшно глядеть на это мертвенно бледное лицо. Глаза закрыты, запавшие щеки

обтянуты желтой, почти прозрачной кожей, губы спеклись и обескровлены. Он лежит неподвижно, только ребра чуть поднимаются от слабого дыхания. Временами мне кажется, что передо мной не живой человек, а мертвец. Хоть бы он наконец проснулся!

Марта, по-прежнему молчаливая, не отходит от его постели; побежденная изнеможением, она даже и засыпает так, сидя. Но сон ее длится недолго; она тут же просыпается и вновь глядит на Томаса широко раскрытыми глазами, словно хочет излечить его своим взглядом. Я начинаю всерьез беспокоиться за ее здоровье. Не хватает еще, чтобы и она расхворалась. Но все наши уговоры бессильны. Только с большим трудом нам удается заставить ее поесть. Меня тревожит, что будет, если Вудбелл не проснется до рассвета? Мы хотели бы сразу же двинуться в путь, но боимся прервать его сон. Первоначально мы собирались повернуть от Пико на восток, чтобы обойти цепь Альп, замыкающих Море Дождей с северо-востока, но в конце концов решили направиться прямо на север к громадному цирку Платона. Педро, детально изучив карты, утверждает, что нам удастся перевалить через это кольцо прямо на Море Холода, за которым находится горная страна, простирающаяся до самого полюса. Это значительно сократило бы нам дорогу.

На Море Дождей, 10° западной лунной долготы, 47° северной широты, 20 часов после восхода Солнца третьего дня

Наконец-то мы приближаемся к границе необозримого Моря Дождей, для перехода через которое нам потребовалось почти два месяца. Здесь это два дня, но там, на

Земле, Луна за это время дважды прошла все фазы — дважды сияла круглым диском и дважды исчезала в новолунии.

Вот уж часов пятнадцать, как появился из-за горизонта мощный вал цирка Платона. Его восточная часть уже сияет на солнце как громадная белоснежная стена на темном небе; на западе еще царит ночь, и только самые высокие вершины пылают в той стороне, словно факелы в ночи. Решительно, это самое великолепное и самое грандиозное зрелище из всех виденных нами до сих пор; мы, однако, так обеспокоены здоровьем Томаса, что почти не обращаем внимания на окружающее.

Томас проснулся на рассвете. Какое-то время он ошеломленно смотрел на нас, потом попытался сесть, однако сил не хватило. Он беспомощно откинулся назад, но Марта поддержала его и помогла сесть. Я сейчас же подбежал спросить, не нужно ли чего; Педро в это время стоял у руля машины.

Сначала Томас удивился, что уже настал день. Он не помнил ничего о своей болезни, забыл даже о том происшествии, с которого она началась. Я напомнил ему; он задумался, видимо припоминая, а потом вдруг побледнел — если можно это сказать о человеке и без того мертвенно-бледном, — и, закрыв глаза рукой, начал тревожно повторять:

— Это... было ужасно, ужасно!

Он содрогнулся.

Когда он немного успокоился, я попытался осторожно расспросить, что привело его в ужас и вызвало бегство, роковое по своим последствиям, но все мои старания были безрезультатны. Он упорно молчал или отделялся бессвязными словами, и в конце концов я прекратил этот бессмысленный допрос, увидев, что только утомляю и мучаю Томаса. Вместо этого мне пришлось рассказать ему

со всеми подробностями, в каком состоянии мы его нашли и как протекала болезнь. Он внимательно слушал, негромко вставляя по временам медицинские термины по-латыни, допытывался о самых незначительных деталях и симптомах и, выслушав все, наконец сказал мне со странным спокойствием, даже слегка улыбаясь:

— Знаешь, я, кажется, умру.

Я живо и решительно запротестовал, но он только покачал головой:

— Я ведь врач и сейчас, когда нахожусь в сознании, смотрю на мою болезнь с профессиональной точки зрения. Я только диву даюсь, что до сих пор жив. Ты говоришь, при падении разбилось стекло в маске. Я не погиб сразу лишь потому, что вы быстро пришли на помощь, раньше, чем воздух из резервуара успел просочиться через отверстие и улетучиться. Но из того, что ты рассказываешь о состоянии, в котором вы меня нашли, я заключаю, что воздух в моем гермокостюме все-таки был уже, по-видимому, крайне разрежен, и поэтому кровь под давлением изнутри начала выходить не только через рот и нос, но даже через поры тела. Если б вы опоздали еще на несколько секунд, то застали бы только бескровный труп. Вообще удивительно, что при такой страшной потере крови мне удалось пережить многодневную горячку. Впрочем, она, конечно, не могла быть очень сильной — с чего бы? — при такой потере крови и такой слабой деятельности сердца. Так или иначе, горячку я выдержал и живу, но это вовсе не значит, что выживу. Во мне нет крови. Смотри, пульс почти не прощупывается; коснись груди — слышишь, как бьется сердце? Еле-еле. На Земле я, может быть, справился бы с этим, но здесь нет условий...

Он устало замолчал и прикрыл глаза. Мне показалось, что он вновь засыпает, но это было не так. Опершись о подушку, он глядел из-под полуприкрытых век на

Марту, занятую приготовлением лекарства, которое он только что сам себе прописал. Невероятная, бесконечная тоска была в этом взоре. Он шевельнул губами, потом тихо произнес, глядя мне прямо в глаза:

— Вы будете добры к ней? Правда?

Судорожная боль сжала мое сердце и в то же время мне почудилось, что какой-то наглый, мерзкий голос шепчет на ухо: когда он умрет, Марта достанется одному из вас, быть может, тебе...

Я опустил глаза, стыдясь самого себя, но Томас словно бы успел уже прочесть эту мысль на моем лице, хотя, клянусь богом, она мелькнула всего на мгновение!

Он усмехнулся с невыразимой скорбью и, протягивая мне мертвенную руку с тончайшими голубоватыми жилками под восковой кожей, добавил:

— Не ссорьтесь из-за нее. Оставьте ее... уважайте... уважайте...

Он не в силах был договорить. Замолчал, перевел дыхание и внезапно изменившимся жестким голосом сказал:

— В конце концов, я могу выжить. Вовсе не обязательно, чтобы я умер.

Я поспешно стал его уверять, что он выживет, но сам в этом сомневаюсь.

С тех пор прошло уже десятка полтора часов, но его состояние ничуть не улучшается; напротив, кажется, даже ухудшилось. Непрерывно повторяются приступы сердцебиения, удушье, обмороки. Не знаю, что будет дальше. Он стал вдобавок невероятно привередлив и раздражителен. Марта не может отойти от него ни на шаг; на нас он глядит, как на врагов.

Я еще несколько раз пытался узнать причину его таинственного бегства, но стоит мне об этом заговорить, как он тотчас умолкает, а в глазах появляется выражение такого страха, что у меня не хватает духа мучить его рас-

спросами. Да и что это мне даст, в конце концов? Несчастье уже произошло — и хоть бы только на этом кончилось!

*Третьи лунные сутки,
66 часов после восхода
Солнца, вблизи Платона,
по дороге на восток*

Предположения Фарадоля оказались совершенно неверными. Переход в машине через центр кольца Платона абсолютно невозможен. Нам придется обогнуть горную цепь Альп, что крайне удлинит наш путь. Но ничего не поделаешь.

Миновало чуть больше тридцати часов с восхода Солнца, когда мы остановились под вершинами Платона, пройдя за это время около ста километров, правда, по исключительно ровному грунту.

Гигантское, около девяноста с лишним километров в диаметре, кольцо Платона расположено на северном крае Моря Дождей. К юго-востоку от него тянется хребет лунных Альп до самого Болота Туманов, через которое Море Дождей соединяется с Морем Ясности.

Только в одном месте этот хребет прорезан широкой поперечной долиной, едва ли не единственной на видимой стороне Луны,— она ведет к Морю Холода, которое нам нужно будет преодолеть по пути на полюс. К западу от Платона на необозримое расстояние тянется высокий и крутой полукругом изогнутый обрыв, в который вдается широкий Залив Радуг. Само кольцо Платона образовано горным валом, охватывающим внутреннюю территорию площадью около 7500 квадратных километров! Самые высокие вершины в восточной части вала достигают двух с половиной тысяч метров.

Внимательно изучив по карте все эти детали, мы за-

метили, что в южной части вала Платона, неподалеку от расположенного на нем небольшого кратера, хребет понижается и делается пологим, образуя нечто вроде широкого перевала.

План Педро состоял как раз в том, чтобы для сокращения пути пройти через этот перевал на внутреннюю равнину цирка, а затем пересечь ее в северном направлении и снова поискать проход на возвышенность, полого спускающуюся к Морю Холода.

Подойдя к склонам Платона, мы легко отыскивали место, отмеченное на карте. Нам помог в этом остроконечный кратер, торчащий над седловиной. Но мы не решились все-таки сразу пускаться через перевал в машине. Сначала надо было убедиться, что там действительно удастся проехать.

Оставив Вудбелла под опекой Марты, мы с Педро отправились вперед пешком. Машина должна была ждать нашего возвращения.

Поднимаясь все выше в гору, мы обошли с востока кратер в основании Платона. Дорога совсем не была такой легкой, как это казалось снизу. Нам встречались каменные россыпи и обрывы, которые приходилось обходить. Но мы видели, что машина сможет здесь пройти. Оба мы были в наилучшем расположении духа. Солнце, стоявшее еще невысоко над горизонтом, грело в меру, нам было тепло и легко; вокруг нас простирались поистине чудесные места! Склоны скал, расщепленные черными, как смола, тенями, переливались в ослепительном солнечном свете всей симфонией великолепных радужных красок. Мы ступали по сокровищам, за которые на Земле можно было бы купить королевства и троны: среди выветрившихся каменных глыб кроваво-рдели темно-красные рубины; малахитовые жилы издали походили на зеленые газоны; рассыпанные по ним топазы и ониксы сверкали, как чу-

десные цветы. Временами из какой-нибудь трещины, куда проник луч солнца, взлетал радужный фонтан ослепительного блеска, подлинная оргия света, преломившегося в огромных призмах горного хрусталя.

Это неслыханное богатство, по странной прихоти природы сосредоточенное в одном месте, вначале ослепляло и ошеломяло нас, но вскоре мы так привыкли к этому зрелищу и к этим бесполезным сокровищам, что ступали по ним, как по заурадным камням.

Этот сказочный пейзаж оказал на нас, однако, свое чарующее воздействие: нам стало весело. Мы позабыли обо всех огорчениях и заботах, о болезни Томаса, о пережитых тяготах и несчастьях, об опасностях, которые нам еще грозят, даже о ненадежном будущем! Мы, как дети, радовались чудесному утру и изумительным пейзажам. К неудобным гермокостюмам мы уже вполне привыкли, а мысль об опасности, которой грозила нам окружающая пустота, почему-то не портила отличного настроения, несмотря на недавнее происшествие с Вудбеллом. Пользуясь легкостью тел на Луне и силой своих земных неослабленных мышц, мы перемахивали через огромные каменные глыбы или прыгали с высоких обрывов.

Только необходимость торопиться несколько сдерживала эти взрывы беззаботного веселья. Продовольствие и воздух мы взяли с собой на сорок часов, а это было совсем немного, если учесть, что могли встретиться какие-нибудь непредвиденные трудности, которые заставили бы нас задержаться в пути.

Не прошло и десяти часов, как мы уже стояли на перевале. Перед нами открылся вид на таинственную внутреннюю область Платона. Северный вал кольца, отдаленный от нас почти на сто километров, виднелся вдали как гигантская неровная пила с зубцами вершин. До самой этой зубчатой стены простиралась темно-серая равнина,

гладкая, как застывшее недвижимое море. Лишь там и сям ее пересекали более светлые широкие полосы с кое-где разбросанными по ним низкими кратерами, походившими скорее на неглубокие котловины. У наших ног скалы обрывались к внутренней долине необычайно круто, не могло быть и речи о том, чтобы спуститься туда в машине.

Безнадежной тоской веяло от этого моря смерти. Трудно представить себе пейзаж, более неподвижный и мертво-оцепенелый. Даже скалы здесь будто не спускаются, а как-то замедленно и словно лениво стекают к глубинам, вершины вздымаются сонно, громоздко, и так угрюмы они в свете Солнца, будто поднялись с трудом, неохотно,— лишь только потому, что им велено встать на страже и оградить эту ужасную пустынную и серую равнину.

Наша прежняя веселость исчезла без следа.

Удивительно, как влияет пейзаж на душу человеческую! Я долго глядел молча, не в силах оторвать глаз от этой пустыни, и сердце мое все сильнее сжимала печаль— сам не знаю, о ком и о чем... Таким все стало для меня безразличным, и утомительным, и не стоящим усилий, и такой вожделенной показалась мне Смерть-утешительница, которая ведь недавно, нависнув надо мной, таким чудовищным страхом наполняла душу.

Я чувствовал, что меня убивает этот пейзаж, я не мог его больше выносить, однако мне понадобилась вся сила воли, чтобы от него оторваться.

Я повернулся лицом к югу, к сияющему в небе серпу Земли. За вершинами кратера, который служил нам ориентиром при восхождении, а теперь лежал далеко внизу, простиралось передо мной Море Дождей. Огромная-огромная пройденная равнина! Я смотрел на нее так же, как некогда с перевала у Эратосфена, только тогда она

еще лежала впереди, как неведомый путь к неведомой стране обетованной, а сейчас она уже была далеко позади...

Серая она была, мертвая и обширная, как и тогда, только вместо пылающих на солнце вершин Тимохариса и Ламберта здесь чернели передо мной укутанные тенью остроконечные вершины: Пико и дальше к востоку — Питон. Серп Земли стоял над этим морем, уже более близкий к горизонту, чем к зениту. И вдруг вся эта равнина показалась мне широкой дорогой, идущей от самой Земли. Какая страшная, какая тяжкая и дальняя дорога! Пока мы двигались по ней, дважды прошло над нами Солнце, словно огонь губительный и живой, и дважды окружал нас ледяной, нескончаемый мрак. А сколько сил, сколько страданий и опасностей! Спуск с Эратосфена, смертельный полуденный зной, а потом яростный мороз, а потом вновь призрак смерти, сопровождавший нас столько часов! А потом смерть братьев Ремонье, а потом несчастный случай и болезнь Томаса... Смертью О'Теймора началась наша дорога, но она еще не окончена.

Так я стоял, погруженный в эти печальные размышления и охваченный внезапной тоской по Земле, сиявшей над необозримой пустынной равниной, как вдруг возглас Фарадоля пробудил меня от задумчивости. Я стремительно обернулся, подумав, что вновь приближается какая-то беда, но Педро стоял рядом, невредимый, и только протягивал руку в сторону далекого северного вала Платона. Я поглядел туда и увидел нечто, похожее на тающее облачко — нет! — едва лишь на тающую тень облачка, которая заслонила подножие гор, за секунду до этого видневшихся совершенно отчетливо.

Я вздрогнул, словно это не облако двигалось, а сами горы сдвинулись с места и шли на нас. Педро же что есть силы кричал в трубку:

— Это облако! Значит, там есть атмосфера, там есть воздух, там можно будет дышать!

Безумная радость звенела в его переполненных надеждой словах. Да, над этой равниной смерти, как я называл ее в мыслях, нам забрезжил первый луч жизни. Конечно, это облако еще не означает, что человек может дышать в тамошней атмосфере, но не подлежит сомнению, что воздух там плотнее, чем в пройденных ранее местах, если в нем могут рождаться облака и существовать хотя бы над самой поверхностью. Внутри Эратосферы дым кратеров сразу же оседал на землю, как песок.

Вдохновленные этим явлением, которое укрепляло нас в надежде найти на той стороне Луны, а может и раньше, достаточно плотный воздух, мы начали обратный спуск к Моря Дождей. Настроение у нас вновь улучшилось, хотя цели нашей мы, собственно, не достигли — не нашли пути через кольцо Платона. Спускаясь, мы обсуждали, что делать. Быть может, дальше на запад от Платона мы и нашли бы место, где можно взобраться на крутые склоны возвышенности, но нельзя нам рисковать. Ведь если бы это не удалось, нам пришлось бы пройти почти тысячу километров, чтобы обойти границу Моря Дождей с запада. Куда надежней было сразу повернуть на восток. Быть может, нам удастся прорваться по той поперечной долине, что пересекает хребет Альп. Но даже если это окажется невозможным, мы ненамного удлиним путь, обходя всю горную цепь с востока.

С этим решением мы и спустились в долину. Но каков же был наш ужас, когда мы не обнаружили машину на месте. Мы сначала решили, что сбились с пути; но нет, это было то самое место — отчетливо виднелись скалы, под которыми мы оставили машину. Забыв об усталости, мы бросились к ним, еще не доверяя собственным глазам. Машины не было. Мы искали следы колес, чтобы выяс-

нить, в каком направлении искать ее, но на скалистой поверхности ничего нельзя было распознать. Отчаяние охватило нас. Продовольствие, которое мы взяли с собой, было уже съедено, воды оставалось совсем немного, а воздуха — на несколько часов. Фарадолъ принялся звать, позабыв, что если кто и может здесь услышать его зов, то лишь я, соединенный с ним переговорной трубкой!

Мы пустились на поиски, исходили всю окрестность, потратив на это шесть часов, но нигде не нашли и следа машины. Голод уже начал нас терзать, вода кончилась, а запас воздуха был на исходе, когда мы вернулись на прежнее место после бесплодных поисков. Мы беспомощно опустились на камни в ожидании смерти. Фарадолъ громко ругался, а я в отчаянии ломал голову, пытаюсь понять, что могло их заставить двинуться с места до нашего возвращения...

И вдруг у меня мелькнула догадка: быть может, Томас бежал умышленно, обрекая нас на смерть под влиянием болезненной ревности, проблеск которой я ощутил, когда он говорил о своей смерти и о Марте. Ярость охватила меня. Я вскочил и хотел бежать, догнать его, отомстить, убить и тогда...

И тут шагах в десяти от себя я увидел Марту. Она неторопливо шла к нам, на ее лице за стеклянной маской была привычная уже печальная улыбка. Мы бросились к ней и закричали, перебивая друг друга. Марта спокойно смотрела на нас, а когда мы умолкли, охрипшие и оглушенные собственными голосами, она знаками показала, что ничего не слышит! Мы забыли про отсутствие воздуха. Вся наша злость вдруг испарилась, и мы расхохотались, показывая жестами, что хотим вернуться в машину. Марта повела нас — машина стояла невдалеке, за скалой, которая ее закрывала.

Лишь теперь все объяснилось. Вскоре после нашего

ухода Солнце, описывая пологую дугу на небосводе, зашло за скалы и машина оказалась в тени. Томас начал дрожать от холода. Тогда Марта двинула машину и, обогнув скалу, остановилась с ее южной стороны, где грело Солнце. Мы ужаснулись исчезновению машины и искали ее вдалеке, нам и в голову не пришло заглянуть за скалу, тут же рядом. Марта видела нас из машины, однако решила, что мы пошли исследовать местность в другом направлении, и терпеливо ждала нашего возвращения. Только увидев, что мы вернулись вторично и почему-то не подходим к машине, она вышла узнать, в чем дело, по-прежнему не предполагая, что мы просто не можем ее отыскать! Все происшествие окончилось до смешного благополучно, хотя могло стать для нас роковым.

Вудбелла мы нашли в относительно хорошем состоянии. За время нашего отсутствия он лишь четыре раза терял сознание. Сейчас он много спокойней и говорит, что чувствует себя лучше. Хотя по его мертвенно-бледному и жутко исхудавшему лицу этого не скажешь, но дай бог, чтобы так было. И без того хватит с нас жертв для начала.

Мы двинулись в путь согласно намеченному плану. Пока продолжаем двигаться на восток под громогласящими все выше зубцами Платона. Скоро доберемся до хребта лунных Альп.

Надо спешить изо всех сил — ради Томаса. Чем быстрее он окажется там, где сможет выйти из закрытой машины, свободно двигаться и дышать, тем вероятнее его спасение. Поэтому мы будем мчаться и днем и ночью — лишь бы подальше от этой пустыни и поближе к полюсу, где, вероятно, начнутся места, не лишенные воздуха и воды.

*Вблизи Альп, 3° западной
лунной долготы, 47°30' се-
верной широты, 161 час
после восхода Солнца,
третьи лунные сутки*

Все меньше надежд на то, что нам удастся сохранить жизнь Томаса. Мы гоним машину во всю мочь, насколько лишь позволяет местность, но полюс все еще далек, а Томас тем временем тает у нас на глазах. Мы дрожим от тревоги и нетерпения, а в довершение всего полоса Альп, преграждающая дорогу, вынуждает нас двигаться на юго-восток, и вместо того, чтобы приближаться к желанному полюсу, мы пока удаляемся от него. Через десяток-полтора часов мы доберемся до устья Прямой Долины; только бы нам удалось повернуть по ней на север! Все так же высятся слева от нас отвесные склоны Альп, рядом с которыми наша машина кажется крохотной букашкой, ползущей под стеной гигантской крепости. С нетерпением ждем мы минуты, когда в этой стене откроются перед нами ворота, а за ними — скальный коридор в полтора-два километра длиной, ведущий к Морю Холода. Уже попадаются кое-где невысокие, но обрывистые скалы, торчащие, как столбы, на подходах к долине; это признак того, что мы действительно к ней приближаемся.

Вудбелл то и дело спрашивает, далеко ли еще до полюса. Ему хотелось бы поскорее быть там, а мы не прошли ведь еще и полпути от Залива Зноя. Страх меня берет, как подумаю об этом! Томас, видно, позабыл о расстоянии! Он говорит с тоской о полярных краях, о воздухе и воде, словно все это мы увидим не позже чем завтра, а ведь совершенно ясно, что лунное утро, хоть до него еще и далеко, не принесет нам ничего подобного. Чем заметнее тают силы Томаса, тем крепче он верит в свое вы-

здоровление. Он уже строит планы на будущее и думает о том, как сложится его жизнь с Мартой... Тревожит меня его уверенность; на Земле говорят, что это дурная примета для больного.

Марта терпеливо выслушивает все, улыбаясь своей всегдашней печальной улыбкой. Как она, наверное, страдает! Ведь не может же она не видеть, что Томас умирает.

В Прямой Долине, 82 часа после полудня

Какой-то внутренний голос шепчет мне, что все напрасно. Меня охватывает отчаяние, ибо я хочу, чтобы Томас жил, хочу тем пламенней, что у меня в мозгу будто вьется мерзкая, гнусная змея и наперекор моей воле нашептывает: «Если он умрет, Марта достанется одному из вас, может быть, тебе...» Нет, нет! Он должен жить, должен, а если он умрет — я знаю, за ним последует и Марта. Что тогда? Что тогда? Зачем мы останемся? Для чего?.. Некогда я сетовал, что мы оба служим этой паре, а теперь понимаю: это служение — единственный смысл нашего существования здесь. С их смертью начнется и наше умирание, ибо мы сами ничего из себя сотворить не можем, наша жизнь и наш труд не нужны будут никому, даже нам самим — зачем они нам? Зачем?..

Вот, если б Марта после его смерти осталась в живых, если б так же прильнула губами к одному из нас — может, ко мне — если б так же обвила руками, как сейчас Томаса... И мне кажется, будто огненный шар лопается в моей груди, перехватывая дыхание и разливая жар по всем жилам.

Прочь, прочь, подлая мысль! Да ведь этим избранником может оказаться и Фарадолъ... Нет! Пускай лучше не будет этой женщины между нами! Я чувствую,

как против воли начинаю ненавидеть Фарадоля и желать смерти Томасу... А она сидит спокойно и всматривается в лицо умирающего возлюбленного...

Вудбелл не хочет умирать, он так отчаянно сопротивляется смерти. То и дело — кажется, наперекор собственным мыслям — он принимается рассказывать о своей будущей жизни и требует от нас подтверждений. Мы подтверждаем, кривя душой; одна лишь Марта кивает с глубочайшей убежденностью и повторяет низким певучим голосом: «Да, ты будешь жить... ты мой...» И глаза ее при этом туманятся страстью и упоением... Неужто она и вправду обманывается и думает, что этот высохший труп, без сил, без капли крови в жилах, может жить?

А все же — чего бы я не отдал, чтобы он жил!

В полдень мы решили не останавливаться. Прежде всего зной был не так страшен, как в предыдущие дни, потому что мы уже в высоких широтах; а, кроме того, из-за Томаса мы крайне заинтересованы в быстром продвижении. Мы проделали уже изрядный путь от склонов Платона. Сейчас находимся на середине Прямой Долины, к закату доберемся, по-видимому, до Моря Холода.

Около полудня, миновав разбросанные на равнине невысокие скалистые утесы, мы неожиданно оказались перед широким входом в долину. Отвесная стена Альп здесь изламывается и отступает к востоку, разорванная горловиной огромного ущелья. Море Дождей входит туда широким полукругом, постепенно сужаясь в долину. Вход в нее прегражден округло выступающей террасой, чем-то вроде скального яруса высотой в несколько сот метров. По другую сторону этого полукруга, словно опора ворот, величественно вознесся почти на четыре тысячи метров лунный Монблан.

Мы несколько колебались, прежде чем въехать в долину. Нас напугала эта терраса. Если на пути встретятся другие такие же, рассуждали мы, то путешествие мы не ускорим, а, напротив, затянем, потому что придется то и дело взбираться на крутые склоны.

Фарадоль снова извлек фотографические снимки Луны. Они уже неоднократно подводили нас, в последний раз — на Платоне, но другого способа ориентироваться у нас не было. В конце концов, после недолгих размышлений, мы решились войти в долину. На решение наше повлиял и Томас. С упрямством больного, который не терпит возражений, он настаивал, чтобы мы повернули на север. Он ведь знает, что долгий путь в обход Альп через Болото Туманов несомненно убьет его.

Что сделала болезнь с этим человеком! Прежде решительный, сообразительный и хладнокровный, отличавшийся рассудительностью и негибимой волей, он стал теперь похож на капризного и упрямого ребенка. Он бранит нас за что попало, а потом начинает просить прощения и умолять, чтобы мы его спасли... Но уж лучше это, чем те периоды полного изнеможения, когда он целыми часами лежит навзничь, похожий скорее на мертвеца, чем на живого человека. В остальное время он говорит даже больше обычного, будто в звуках собственного голоса ищет подтверждения, что еще живет. Лишь если кто-нибудь из нас по рассеянности помянет о том, что с ним случилось, он тотчас умолкает и начинает дрожать всем телом, изъясняя величайшее беспокойство. Тщетно я ломаю себе голову, что это за тайна...

Уже миновал полдень, когда мы остановились перед скальной террасой, преграждающей вход в долину. С большим трудом удалось нам отыскать дорогу, по которой можно на нее взобраться. Поднявшись наверх, мы еще раз оглянулись назад, на Море Дождей, которое от-

ныне теряли из виду навсегда. Что до меня, признаюсь, что прощался я с этой равниной не без некоторой печали, хоть не видели мы здесь ничего, кроме тягот, страданий и отчаяния... Странно устроено сердце человеческое. Целых два месяца, от полудня до полудня, мы пробирались через эту равнину, горя одним лишь желанием — как можно быстрее пройти ее, а теперь я оглядывался на нее чуть ли не с тоской.

По долине мы продвигаемся довольно быстро и относительно легко. Широкие террасы больше не попадают, а возвышенности поменьше, не занимающие всю ширину долины, удастся обходить. Солнце сейчас стоит в небе так, что освещает всю долину. По обеим ее сторонам вздымаются мощные горные кряжи до четырех тысяч метров высотой. Долина, которая у входа имела в ширину более десятка километров, к северо-востоку постепенно сужается. Так и кажется, будто ее массивные стены сближаются, все сильнее сжимая нас. Такое впечатление, словно мы движемся в гигантском коридоре, по прямой линии прорубленном среди гор. Глядя вперед, видишь вдалеке выход из этого коридора — словно узкую и глубокую расселину в белых скалах, закрытую куском неба. Не знаю, может, обманывает меня зрение, но мне кажется, что это небо не такое уж черное, а звезды на нем не так многочисленны и сверкают слабее. Это означало бы, что на Море Холода существует более плотная атмосфера... И барометр наш тоже едва заметно поднимается. Только бы довести Томаса живым туда, где будет вдоль воздуха!

*В Прямой Долине, 168 часов после полудня,
третьи лунные сутки*

От восхода Солнца мы проделали уже пятьсот с лишним километров и приближаемся к выходу из долины.

Широкая горловина в скалах все более сужается, а кряжи по обеим сторонам становятся все ниже. Зато выход из ущелья на Море Холода, отчетливо видимый теперь, будто расширяется по мере того, как мы приближаемся к нему, а утесы, обрамляющие его, словно растут на наших глазах. К закату мы снова выйдем на равнину — лишь бы только выйти всем вместе...

Какой мучительный крестный путь прошли мы сегодня! Вот уже много часов мы вздрагиваем от малейшего шороха, поглядывая на гамак, где лежит Вудбелл — может, уже?.. Он угадает; в этом нет ни малейшего сомнения. Он лежит теперь тихий и спокойный и только смотрит на нас молящим взором, и взор этот говорит, что он жаждет, мучительно жаждет жить! А мы ничем не можем ему помочь.

Толчки и сотрясения при переправе через трещину еще больше повредили ему. Мы прошли уже почти две трети пути, когда примерно на 3° восточной долготы наткнулись на препятствие, которое едва не заставило нас вернуться на Море Дождей. Солнце стояло уже низко над горизонтом, и вся западная часть долины тонула в непроницаемом мраке, лишь некоторые места были едва заметно высвечены косыми и слабыми лучами Земли. Нам приходилось держаться подножия восточного вала, чтобы не заблудиться во мраке. Вал достигал здесь наибольшей высоты и громадной вертикальной стеной уходил в небо над нами, подобно отвесному обрыву Альпийского хребта, вдоль которого мы двигались до полудня.

И вот в этом месте мы вдруг заметили в сотне шагов впереди черную полосу, преграждавшую путь по всей ширине долины. Чуть заметный подъем помешал нам разглядеть ее раньше. Приблизившись, мы увидели, что это трещина, поперек прорезающая обе скальные стены и дно долины. Густая тьма заполняла ее по самые края, так

что нельзя было судить о ее глубине. Тысячметровые стены гор были разорваны этой трещиной до самой подошвы.

В полном отчаянии мы остановились перед этим новым непреодолимым препятствием.

Мы, конечно, видели на карте эту трещину, пересекающую возвышенность между Морем Дождей и Морем Холода в юго-восточном направлении и идущую от самого северного склона Платона, но мы не предполагали, что она настолько глубока, чтобы расцечь и дно Прямой Долины, расположенное на две-три тысячи метров ниже уровня окружающих ее плоскогорий. При виде этой бездонной пропасти меня прошиб холодный пот. Педро начал тихонько ругаться.

Тем временем Томас, обеспокоенный и нашим поведением, и тем, что машина стоит, принялся допытываться, что случилось. Мы не решались открыть ему ужасную правду, но он, видимо, не поверил нашим уклончивым словам, собрал остаток сил и, приподнявшись, поглядел в окно. С минуту он смотрел, потом снова улегся — спокойный и с виду равнодушный. Из уст его лишь вырвалось:

— Они не хотят, чтобы я жил...

— Кто? — удивленно спросил я.

— Братья Ремонье, — ответил больной и замолчал, прикрыв глаза, словно уже приготовился к смерти.

Я больше не обращался к нему и некогда мне было даже задуматься над смыслом этих странных слов, так как нам с Педро надо было решать, что теперь делать. Мы стали даже подумывать о возвращении к Морю Дождей, но тут у Педро мелькнула счастливая мысль осветить дно расщелины сильным прожектором, чтобы измерить ее глубину. Подойдя к самому краю провала, мы направили в него луч электрического света. В этом месте трещина была неширока и неглубока. Но дно ее было сплошь по-

крыто крупным щебнем, среди которого торчали огромные каменные обломки. Она напоминала высохшее русло могучего горного потока. И кто знает, не бурлила ли здесь и впрямь когда-то вода, воспользовавшись дорогой, проложенной другими стихиями?

Луч прожектора проползал по черным хаотически громоздящимся скалам, то и дело поблескивая на макушках самых высоких утесов, и тонул в глубоких, беспорядочно разбросанных мелких трещинах. Мы всматривались, не зная, на что решиться. Наконец, Марта приблизилась к нам.

— Почему мы не двигаемся в путь? — спросила она таким тоном, будто приказывала.

И добавила, кивнув в сторону Томаса:

— Я должна жить для него... при мне вы не должны теперь ничего бояться...

Мы уставились на нее в изумлении. Что с ней произошло? Она никогда еще так с нами не разговаривала. Глаза ее странно сверкали, во всей фигуре, в словах и в движениях сквозила какая-то неожиданная и уверенная торжественность. Как она была прекрасна и желанна, эта женщина! Фарадолъ впился в нее горящим взглядом, а я ощутил внезапную бешеную злость. Я грубо схватил его за плечо и крикнул, совершенно разъярившись:

— Ты что, не видишь: нам некогда! Говори, куда ехать — вперед или назад?

Педро резко повернулся ко мне и какое-то мгновение мы мерили друг друга взглядом, готовые кинуться в бой.

И тут раздался негромкий, насмешливый и презрительный смех Марты. Мне показалось, будто в мое сердце вдруг впились сотни иголок. Мы пристыженно опустили глаза, а она отошла, слегка пожав плечами. Я почувствовал, что начинаю ее ненавидеть.

В конце концов мы решили спуститься в трещину и

пройти по устилающим ее обломкам. Это легче было решить, чем сделать. В одном месте, под самой стеной восточного вала, мы отыскивали пологий уступ и начали с величайшей осторожностью спускаться по нему машину. Но самое худшее ожидало нас на дне расщелины. Сюда уже не проникал ни солнечный, ни земной свет, так что мы очутились в крошечной мгле. Я не в силах передать, каких трудов нам стоило преодолеть эти несколько сотен метров. Луч прожектора вырывал из тьмы только узкий коридор прямо перед нами, ориентироваться было невозможно. Поочередно один из нас шел впереди машины пешком, а другой стоял за рулем. Машина то и дело кренилась, подпрыгивала, ударялась о скалы и проваливалась; один раз она застряла так, что мы уже сомневались, сумеем ли ее вытащить. Наконец-то мы добрались до противоположного края расщелины. К счастью, здесь когда-то произошел оползень, так что образовался склон, по которому мы вскарабкались наверх с помощью «лап».

Примерно на середине склона мы снова оказались в солнечном свете. Переход от полного мрака к ослепительному блеску после очередного прыжка машины был так стремителен, что я невольно закрыл глаза, защищаясь от лавины света, внезапно обрушившейся на нас. Когда я поднял веки и оглянулся, весь переход через трещину показался мне кошмарным сном. В нескольких сотнях шагов позади я видел край внезапно обрывающейся дороги, а между ним и нами лежала полоса абсолютного мрака. Смутно казалось мне, что мгновение назад мы были там, на дне этой словно бездонной трещины, в этом непроницаемом мраке, что мы пробирались там среди ужасных черных скал, которые так внезапно и мгновенно сверкали перед нами в электрическом свете, будто вдруг возникали из небытия и тотчас снова в нем утопа-

ли, — попросту не верилось, что эта страшная переправа происходила в действительности.

Выбравшись на поверхность Прямой Долины, мы ненадолго остановились, чтобы снять «лапы» и осмотреть машину — не повреждена ли она. Все оказалось в порядке, можно было двигаться дальше. Все — кроме здоровья Томаса. Перенесенные толчки и сотрясения так обессилили его, что он пластом пролежал несколько часов подряд, лишь изредка тихо постанывая.

Мы прошли уже немалую часть пути, когда Томас внезапно приподнялся и сел в гамаке. В широко раскрытых глазах его вновь пылал лихорадочный огонь. Педро стоял у руля, но мы с Мартой тотчас подбежали к гамаку. Томас взглянул на нас невидящим взором, а потом вдруг воскликнул:

— Марта! Я умру!

Марта побледнела и склонилась к нему:

— Нет. Ты будешь жить, — тихо, но отчетливо проговорила она, и багровый румянец вдруг залил ее лицо.

Томас слегка встряхнул головой, но она, еще ниже склонившись к нему, о чем-то тихо заговорила на малабарском наречии. Я не понимал слов, но видел, что они произвели сильное впечатление на Томаса. Сначала лицо его прояснилось, потом по нему пробежала невыразимо печальная улыбка и, наконец, слезы появились у него на глазах и, тихо простонав, он принялся целовать волосы Марты, разметававшиеся по его груди.

Некоторое время он лежал спокойно, не выпуская руку Марты из своих истаявших горячих рук. Но вскоре вновь начал беспокойно вскакивать и садиться — видно, он задыхался.

— Марта, я умру, — тревожно повторял он.

А она неизменно отвечала:

— Ты будешь жить.

И всякий раз, услышав этот ответ, он затихал, как плачущий ребенок, которому мать положила руку на глаза. Но однажды в ответ на ее слова он произнес:

— Что мне с того, раз я не доживу...

А потом добавил:

— Они не позволяют мне жить... Ремонье...

Я уже не мог больше сдержать свое любопытство и напрямик спросил, что общего имеют Ремонье с его болезнью.

Он поколебался немного и наконец сказал:

— Теперь уже все равно... теперь я могу вам рассказать...

И заговорил медленно, тихо, прерываемый сердцебиением и удушьем.

— Помните,— говорил он,— тот мертвый город в пустыне, за Тремя Головами? Он и сегодня еще маячит передо мной, с этими руинами башен и полуразвалившимися воротами... Я знаю, что скоро умру, и все-таки мне жаль, что я в нем не побывал... Но, понимаете, дело было так... Когда я вышел из машины, мне пришлось карабкаться по нагромождениям камней, похожим на разрушенное покрытие древнеримской дороги где-нибудь в Швейцарии или в итальянских Апеннинах... Наконец, я выбрался на чуть более ровное место. Теперь город лежал передо мной, как на ладони. Я уже отчетливо видел огромные ворота с сохранившейся половиной арки, и тут... тут...

Он схватил нас за руки и слегка приподнялся. Глаза его широко открылись, мертвенно бледное лицо позеленело.

— Я знаю,— сказал он,— вам кажется, и мне... казалось... когда-то... что единственная истина — это знание... опирающееся на опыт и доступное выражению в математических формулах, однако же есть вещи непонятные и



странные... Мы все еще очень мало знаем, очень, очень мало.

Он замолчал на мгновение и взглянул на нас, словно проверяя, не смеемся ли мы в душе над ним, но мы сидели неподвижно и задумчиво. Тогда он глубоко вздохнул и возобновил прерванный рассказ:

— И тут... я увидел... две тени — нет! — двух человек, то ли мертвецов, то ли призраков, — они вышли из ворот и двигались прямо ко мне... Ноги у меня подкосились. Я закрыл глаза, чтобы прогнать видение, но, разомкнув веки, вновь увидел... в четырех шагах от себя — братьев Ремонье! Они стояли оба, держась за руки, жуткие, опухшие, посиневшие, окровавленные — такие, какими мы их нашли, — и смотрели на меня таким ужасным взглядом... Вы знаете меня, я не трус, я не склонен к галлюцинациям, но говорю вам — они стояли там, и я оледенел от страха. Я не мог пошевелиться, не мог отвернуться... Тогда они заговорили, да, заговорили! И я слышал их голоса, как слышу вас, хоть там не было воздуха...

— Что же они говорили? — невольно спросил я.

— Зачем вам это знать, — ответил Томас. — Довольно того, что я это слышал. О, счастье, счастье... Они рассказали мне, как я умру и как вы умрете, вы оба... Они назвали мне день и час. И еще сказали они, что нельзя безнаказанно оставлять Землю и нельзя безнаказанно узнавать тайны, сокрытые от людского ока. Лучше вам было, говорили они, умереть там, на Море Дождей, чем красть воздух у мертвых, продлевая свою жизнь для мучений, лишь для мучений, лишь для мучений... «Мы пошли за вами, — так они говорили, я слышал, — и вы в нашей смерти повинны, но и вы...» И говоря это, завистливо сверкали побелевшими зрачками и злобно усмехались страшными, распухшими губами. И тут я увидел, что за ними

стоит О'Теймор, бледный, белый, иссохший... Он не усмехался и ничего не говорил, но был печален и смотрел на меня словно бы с жалостью... Я вскрикнул от ужаса и, собрав всю свою волю, бросился бежать. Я забыв в ту минуту о городе, обо всем на свете. Потом я споткнулся, хотел подняться и встать, но почувствовал, что мне не хватает воздуха, и потерял сознание.

Он устало замолчал, а нас охватила странная подавленность. В глубине души я убежден, что все это было только иллюзией, так же как и этот город считаю теперь иллюзией, порожденной причудливой группировкой скал. Но как-то не посмел я сказать этого Томасу. Да и в конце концов — почему я знаю? Есть странные тайны, удивительные загадки. В этот застывший мир уже пришли люди и пришла Смерть, и, быть может, вместе с людьми и их неразлучной спутницей Смертью пришло сюда и неведомое Нечто, которое на Земле извечно противится всякому познанию, всяким опытам и пробам...

Кончив свой рассказ, Томас заснул на полчаса.

Проснувшись, он начал спрашивать, где мы находимся. Я ответил, что мы приближаемся к концу Прямой Долины и скоро выберемся на Море Холода. Он слушал, словно не понимая, о чем я говорю.

— Ах, да, — сказал он наконец, — да, да... мне снилось, что я на Земле.

Потом он повернулся к Марте:

— Марта! Расскажи мне, как там, на Земле.

И Марта начала рассказывать:

— На Земле голубой воздух, а в нем плавают облака. На Земле много-много воды, целое большое море... На берегу моря лежит песок и разноцветные раковины, а дальше идут поляны, на которых цветут такие ароматные, сладкие, влажные цветы... А за полянами — леса, где полным-полно всяких зверей и щебечущих птиц. Когда

веет ветер, море рокошет, и леса шумят, и травы шелестят.

Она говорила с детской простотой, а мы слушали ее слова, как прекраснейшую волшебную сказку... Томас беззвучно шевелил губами, словно повторял вслед за ней: «И леса шумят, и травы шелестят...»

— Мы там уже никогда не будем,— громко сказал он наконец.

Ему внезапно ответило рыдание Марты. Она уже не в силах была сдержаться. Опираясь лбом о край гамака, она сотрясалась всем телом от неутешных, ужасных, отчаянных рыданий.

— Тише, тише,— шептал Томас, чуть касаясь рукой ее волос.

Но и его уже охватывал ужас.

Он обернулся к нам и снова заговорил прерывающимся голосом, будто с трудом исходящим из груди:

— Спасите меня! Сжальтесь! Спасите! Я не хочу умирать! Здесь не хочу! Здесь так страшно! Спасите меня! Я хочу... жить... еще... жить... Марта...

Он разрыдался, как женщина, и, рыдая, протягивал к нам худые, умоляющие руки.

Что мы могли ему ответить? Как спасти его?

Мы приближаемся к устью долины, и плоскость Моря Холода уже видна впереди. И во мне растет томительная уверенность, что это море мы пройдем — увы — без Томаса!

На Море Холода, третьи лунные сутки, 23 часа после заката

Смотрю на последние слова, записанные днем; они сбылись. На равнину Моря Холода мы выехали одни. Томас Вудбелл умер сегодня на закате.

Какая страшная пустота! Нас становится все меньше и меньше, нас осталось уже только трое...

Ни о чем не могу думать, только об этой тихой и такой ужасной смерти Томаса.

Солнечный диск коснулся нижним краем горизонта, когда мы наконец выбрались из коридора среди скал, по которому шли целую неделю. Перед нами простиралась гладкая равнина, позолоченная последними лучами Солнца. Я говорю «позолоченная», потому что в отличие от прежних закатов Солнце, клонясь к горизонту, приобрело желтоватый оттенок и чуть высветило черное небо вокруг. Это несомненный признак того, что атмосфера здесь уже гуще. И еще один благоприятный признак: вся равнина моря покрыта песком. Видно, и вправду эта равнина некогда была дном настоящего моря.

Надежда вошла в наши сердца, тем более что и Томас, по крайней мере на вид, чувствовал себя лучше. Мы уже слегка развеселились — нам казалось, что мы пролетим через эту равнину быстро, как птицы, и прежде чем снова взойдет Солнце, уже будем стоять вместе с Томасом в Стране Жизни, ощутим веянье ветерка, услышим плеск воды, увидим зелень...

Суждено было иначе.

Едва мы проехали несколько десятков метров по равнине, как Томас попросил остановить машину. Малейшее сотрясение невыносимо терзало его.

— Я хочу отдохнуть, — сказал он слабеющим голосом, — и посмотреть на Солнце, прежде чем оно зайдет...

Мы остановились, и он начал глядеть на Солнце, льющее на его лицо широкий поток прощального золотистого света. С минуту он смотрел недвижимо, потом обратился к Марте:

— Марта, как это: «Солнце, о светлый бог...» Как там дальше?

И Марта, как в час первого солнечного заката, который мы видели на Луне, выпрямилась в потоках света, протянула руки и, обратив к исчезающему светилу глаза, полные слез, начала не то говорить, не то напевать странный, в волнах ритма тонуший гимн:

«Солнце, о светлый бог, ты уходишь от нас в страны, которых мы не знаем!

Солнце, о светоч неба, о радость земли, ты уходишь, оставляя наши очи в печали, чтобы воссиять тем, кто уже освобожден от тела...

Те, кто уже освобожден от тела, а нового себе еще не взял,— они как рабы, которых отпустили ненадолго, чтобы вкусили они день тишины и покоя, прежде чем вернутся они к мукам и оковам.

Милостив Он, милостив предвечный, несказанный и непостижимый, тот, кто создал день тишины среди борьбы и терзаний...

В нем источник и исход всего сущего, в нем тонут души тех, кто уже кончил борьбу и вернулся туда, откуда появился века назад...

О Солнце, светлый бог, ты движешься к стопам его, и в печали остаются здесь наши тоскующие очи».

Казалось, Томас засыпает под звуки этих слов. Но вдруг глаза его раскрылись:

— Марта! О'Теймор умер?

— Умер.

— Ремонье умерли?

— Умерли.

— Я тоже умру... И они... И они... — он показал на нас глазами.

— Они умрут. Ты будешь жить, — снова ответила она все с той же непонятной и глубокой убежденностью.

На миг воцарилось молчание. Селена положила передние лапы на гамак и лизнула свесившуюся ладонь

Томаса. Он поглядел и шевельнул рукой, словно хотел погладить верного пса, но, видно, сил ему уже не доставало...

— Собака моя, собака... — только и прошептал он.

Потом он сказал, что хочет взглянуть на Землю.

Мы повернули его так, чтобы он мог ее увидеть. Она стояла на юге над скалами в первой своей четверти. Он долго смотрел, в невыразимой тоске протянув руки к этому светлому серпу, на котором медленно плыла в эту минуту тень Индийского океана со светлым треугольником Индии.

— Смотри, смотри, там Траванкор! — воскликнул Томас.

— Там Траванкор,— словно эхо, откликнулась Марта.

— Там мы были счастливы...

— Да, счастливы...

Томас снова заволновался:

— Марта! Я пойду туда после смерти? Видишь ли, я не хочу... блуждать здесь... по этой пустыне... в этом городе мертвых... Марта, я пойду туда?..

Марта молчала, склонив голову, а Томас снова начал допытываться:

— Марта! Я пойду туда... когда умру?.. На Землю?

Судорога боли исказила ее лицо, но она сдержалась и ответила голосом, дрожащим от слез...

— Пойдешь ненадолго, на день покоя... А потом вернешься ко мне.

Глаза у него уже затягивались смертной пеленой, ладони бессильно повисших рук посинели и похолодели. Он еще раз шевельнулся и еле слышно шепнул:

— Марта, как там, на Земле?

Марта снова начала рассказывать о море, о полях, о цветах, а на его губах застывала страдальческая, но по-

койная улыбка, и глаза медленно закрывались. Он еще раз на мгновение поднял веки, взглянул на Землю, на Солнце, уже только узеньким краешком горящее над пустыней, еле слышно вздохнул и умер вместе с последним лучом гаснущего дня.

Судорожное, безумное рыдание Марты раздалось в стремительно наступающей мгле.

Уже в темноте мы вырыли могилу и песком засыпали ему глаза.

И вот почти двадцать часов, как мы снова в дороге.

Мы движемся по ровной песчаной пустыне. На выходе из Прямой Долины мы пересекли пятидесятую параллель, Земля стоит всего лишь в сорока градусах над горизонтом, но на этой равнине, к счастью, нет возвышений, которые отбрасывали бы тени. Если удастся, мы будем двигаться всю ночь без остановки...

Тяжкая печаль гнетет нас. Марта сидит обессиленная, одичавшая от боли, а у ее ног Селена воет по своему умершему хозяину. Мы пытаемся успокоить ее, накормить, но она отказывается есть. Она приучена брать все только из рук Томаса.

*На Море Холода, 0°6' восточной
лунной долготы, 55° северной
широты, после полуночи, в на-
чале четвертых суток*

Поворачиваем прямо на север, к полюсу. Сто семьдесят с лишним часов, то есть с минуты смерти Вудбелла, мы двигались в северо-западном направлении. Теперь его могила осталась далеко-далеко позади... На Земле миновала неделя с тех пор, как мы похоронили его.

Целую неделю сеется песок сквозь колеса нашей машины, и только гуденье моторов нарушает безмолвие, ца-



рящее в кабине. Марта не плачет, она молча сидит, сжав губы и широко открыв глаза, в которых уже высохли слезы.

Селена погибла. После смерти Томаса она не хотела есть, только выла целыми часами и металась по кабине, обнюхивала все вещи, которые ему принадлежали или которых он хотя бы касался рукой. Потом легла в углу, ослабевшая и вялая, и сердито ворчала, когда кто-нибудь из нас пытался к ней подойти. Мы боялись, что она взбесится, и потому нам пришлось, хоть и с большим сожалением, убить ее. Впрочем, я уверен, что она все равно недолго бы прожила.

И вот теперь ужасная тишина стоит в кабине, потому что мы... ну, о чем мы с Педро можем говорить? С нами стряслась беда. Смерть Томаса — это не только смерть человека, не только потеря мужественного, верного, дорогого друга, это страшная беда, чудовищная насмешка, внезапно швырнувшая меж нас двоих эту женщину, которая для обоих нас равно желанна. Я не в силах взглянуть на нее без того, чтобы не пронзила меня дрожь желания — и в то же время я четко сознаю всю чудовищную низость этого святотатства над свежей могилой друга. Мне чудится, что душа Томаса все еще где-то вблизи и, видя эти мысли мои, она плюет мне в сердце, но я не могу им противиться, не могу, не могу! Жар сжигает мой мозг, кровь яростно клокочет в жилах, а взор мой так поглощен Мартой, что даже сквозь закрытые веки я вижу ее с какой-то жуткой, неслыханной ясностью.

Усилием воли держу свои мысли, как свору взбесившихся псов, но они рвутся с цепи и бросаются все на Марту, и бесстыдно рвут с нее одежды, ластятся и трутся о каждый изгиб ее тела, вьются вокруг него и грязнят его своими отвратительными мордами, и видя, что она все так же невозможно-холодна, начинают рычать, и хватать

ее клыками, и рвать, и грызть! О подлые мысли мои, как страшно они терзают меня!

С Фарадолем творится то же самое; я знаю, вижу, чувствую это. И он знает, что творится со мной. Отсюда эта глухая ожесточенная ненависть наша друг к другу. К чему обманываться, к чему украшать это красивыми словами! Мы исподличались оба, потому что между нами стоит она. Нас только двое в этом ужасном мире, а что-то в глубине наших душ вопит, что нас тут слишком много — на одного больше, чем нужно. Мы перестали разговаривать и не смотрим друг другу в глаза. Лишь иногда я ловлю краем глаза взгляды Фарадоля, страшные взгляды, в которых полыхает смерть, как пожар в окнах горящего изнутри дома.

Боюсь я его? Нет! Нет! Сто раз нет! Хотя и знаю, что он в любую минуту, даже не отдавая себе отчета в том, что делает, может ударить меня сзади и убить — например, сейчас, когда я пишу склонившись, а он стоит за мной и видит мою незащищенную шею... Дрожь пронизывает меня, но я не поворачиваюсь, не хочу перехватывать один из тех взглядов, в которых, как в зеркале, вижу собственную низость. Да и вправду, я не боюсь этой внезапной и неожиданной смерти — смерть лишь тогда страшна, когда приближается медленно и неотвратно. Я знаю это на собственном опыте. Одного лишь страшусь — страшусь мысли, что он может обладать этой женщиной, на которую имеет не более прав, чем я, что он может разругать ее поцелуями, еще бледное от слез, заставить ее грудь, еще раздираемую безутешными рыданиями, порывисто вздыматься... Нет! Я не могу думать об этом!

Мы так шпионим друг за другом, что, пока мы оба живы, она в безопасности!

Но по временам меня охватывает ярость. Мне хочется плюнуть самому себе в лицо, а после встать и громко

сказать Педро: «Иди сюда! Будем драться за нее, будем грызть друг друга, как грызутся из-за самки разъярившиеся волки,— мы изгой в этом мире, не знающие, что ждет их завтра, не знающие, выживут ли они, будем драться из-за этой презрительно равнодушной к нам любовницы нашего недавно умершего друга! Может быть, завтра мы умрем — иди сюда! Будем драться сегодня!»

Но я слишком лицемерен и труслив, чтобы так поступить... О, как я презираю себя!

И ее презираю, и ее ненавижу! Есть мгновения, когда я готов броситься на нее, ударами вырвать крик из этих молчаливых, печальных губ, а потом задушить этот крик вместе с жизнью. Возможно, так было бы лучше... Мы остались бы одни, без цели, без всяких стимулов к жизни, может, мы бы тогда добровольно ушли из нее, но по крайней мере не возникла бы межда нами...

Зачем она живет? Что ее держит? Как она может еще жить, если любила того человека, если он действительно был для нее всем и с его смертью все кончилось для нее? Мы подлые, но и она подлая! Собака, неразумное животное, и та проявила бóльшую преданность, не пережила смерти хозяина, выкормившего ее! А ведь собака не получила и сотой доли той нежности, не знала и тысячной доли той любви, которой он одарил эту женщину! Но женщина продолжает жить... И кто знает, кто знает, быть может, эти глаза, на вид погасшие и застывшие от страдания, украдкой уже бросают на нас взгляды, быть может, в этом сознании, еще заполненном образом того, умершего, уже зарождается исподволь вопрос: кого из этих двух живых выбрать, чтобы вершить извечное дело женщины?

Может быть! Может быть, есть во всем этом та первобытная, стихийная, заложенная в нашем существе самой природой, а потому священная жажда существования и творения, которая действует без оглядки, не считается с

прошлым, не думает о будущем — но мне все это кажется сейчас таким омерзительным, таким чудовищным и гадким!

Зачем она живет, эта женщина!
И все-таки — чувствую — я не пережил бы ее смерти.

На Море Холода, 0°30' восточной лунной долготы, 61° северной широты, 172 часа после полуночи

Марта была права, когда говорила Томасу: «Ты будешь жить!» Ах! Ну как это я сразу же, еще тогда, не понял!

Прошло уже три четверти ночи, когда, сидя у руля, я заметил, что Педро все похаживает около меня, будто хочет затеять разговор. До этого времени мы ограничивались лишь самыми необходимыми словами, так что меня удивило его намерение, но вместе и обрадовало. Я чувствовал, что настало время сбросить наконец с себя этот невыносимый, гнетущий кошмар и выяснить наши взаимоотношения. Я спросил его с наибольшей вежливостью, на какую был способен:

— Тебе что-нибудь угодно от меня?

— Да, да,— торопливо подхватил он, присаживаясь рядом,— я хотел с тобой поговорить...

Я заметил, что он заставляет себя улыбаться, но лицо его судорожно подергивается. Невольно я взглянул на его руки. Он словно бы понял смысл моего мимолетного взгляда, покраснел и, вынув руки из карманов, праздно положил их на колени. Помолчав, он заговорил, чуть запинаясь:

— Да, да, видишь ли, я хотел... Мне кажется, что этой ночью нам не следует останавливаться, потому что силь-

ных холодов нет, а дорога ровная, и довольно светло, хотя Земля и низко стоит над горизонтом; впрочем, ты ведь не будешь отрицать, что нужно торопиться и, стало быть...

Я не сводил с него глаз, а он запутывался все более.

Внезапно изменившимся голосом он порывисто воскликнул:

— К черту! Мы идем на север без остановки, верно?

— Да,— согласился я, сиюсь быть спокойным.

Снова наступило напряженное молчание. Фарадоль вскочил и принялся нервно расхаживать. Я вполне отдавал себе отчет, что с ним происходит, знал, о чем он хочет со мной говорить, и понимал — он потому лишь боролся ничего не значащие фразы, что не мог выдать из себя вопроса, который рано или поздно надлежало, наконец, решить. На миг я ощутил злорадное удовольствие от того, что он так мучается, но тут мне, и притом совершенно внезапно, сделалось его жаль. Было такое мгновение, когда я готов был броситься ему на шею и — почему знать! — заклиная давней нашей дружбой, уступить ему эту женщину или просить, чтобы он дал согласие на ее смерть. Но я тотчас опомнился — ведь это вообще ни к чему бы не привело. Напротив, я понял, что нельзя оттягивать решительный разговор.

— Ты только это и хотел мне сказать? — внезапно спросил я его.

Он остановился, видимо пораженный доброжелательностью моего тона, и испытующе взглянул на меня. Потом усмехнулся со странной печалью и провел ладонью по лбу. Я видел, что рука его дрожит, как в лихорадке.

— Да, правда, я еще хотел...

Он вдруг замолчал и посмотрел на Марту. Поколебался еще мгновение, но наконец сдвинул брови и сухо, отрывисто спросил по-немецки, чтобы Марта не могла его понять:

— Что мы сделаем с этой женщиной?

Я ждал этих слов, и все равно они хватили меня, словно обухом по голове. Я стремительно затормозил машину — кровь ударила мне в голову и темной волной застала глаза. Сердце отчаянно колотилось в груди, во рту я ощущал неприятную сухость. Решительный миг настал.

Я взглянул на Фарадоля. Он стоял передо мной, бледный, как мертвец, и пристально смотрел мне в глаза. Этого взгляда я не забуду до самой смерти! Было в нем смятение, и подлая, почти собачья мольба, и в то же время какая-то страшная угроза.

Не отвечая ни слова, я порывисто отстранил его и, сам не понимая еще, что делаю, подошел к Марте, сидевшей за каким-то шитьем. Он последовал за мной.

— Почему ты живешь, женщина? — неожиданно произнес я с невыносимо смешным, как мне кажется сейчас, трагизмом, хотя в ту минуту, бог свидетель, мне было вовсе не до смеха!

Марта удивленно посмотрела на нас, а потом, заливаясь багровым румянцем, проговорила медленно, слегка дрожащим голосом, словно оправдываясь:

— Я жду возвращения Томаса...

Меня охватила яростная злоба:

— Хватит этих дурацких басен! — крикнул я, вырывая у нее из рук шитье, над которым она склонилась.

Не знаю, что было бы дальше, но тут я кинул взгляд на этот кусок полотна: то была детская распашонка.

Я вдруг все понял. Не в силах выговорить ни слова, я только протянул руку, показывая распашонку стоявшему сзади Педро. Он слегка вскрикнул и поспешно отошел к рулю.

Так вот почему она говорила умирающему Томасу с такой убежденностью: «Ты будешь жить!» Вот почему не последовала за ним!

Ведь согласно верованиям ее народа, в ребенка, родившегося после смерти отца, переходит душа умершего. Значит, она ждет, что Томас вернется к ней в ребенке, духом облетев перед этим Землю, по которой он так тосковал, умирая? Видимо, она сообщила ему это «радостное известие» и то, что будет его вот так ждать, может быть, тогда, когда перед смертью говорила ему что-то по-малабарски.

Все это молнией промелькнуло в моем мозгу.

Я взглянул на нее: она теперь беззвучно плакала, укрыв лицо в этой маленькой рубашке, выкроенной из белья умершего.

И вдруг со мной случилось нечто странное. Я ощутил, словно что-то прорвалось в моем сердце, какой-то мучительный нарыв, и одновременно пелена спала с моих глаз. Марта показалась мне совсем иным существом. Я смотрел на нее с изумлением, будто впервые увидел. Это уже не была та женщина, за обладание которой минуту назад я почти готов был драться с моим другом и единственным сотоварищем в этом мире,—это была мать нового поколения, побеждающая смерть великой тайной жизни и любви.

Невыразимая признательность заполнила мне душу, признательность за то, что благодаря ей мы не будем здесь одни, и за то, что этим ореолом материнства она заслонила от нас, слепцов, видевших в ней только вожделенную добычу. Я безотчетно склонился и поцеловал ее руку.

Она вздрогнула, но, видно, поняла мой поцелуй, ибо тотчас подняла лицо, еще заплаканное, но уже освещенное новым, гордым достоинством.

Удивительна натура человеческая! Ведь это не решает дела, а лишь отодвигает его на какое-то время, однако мы оба так спокойны сейчас, будто все уже ула-

жено. Мы убеждены, что эта женщина не принадлежит никому из нас живых, а лишь тому, кто умер, и мы чтим ее, не задумываясь, что придет, возможно, время, когда снова...

Но нет! Нет! Я даже думать об этом не хочу!
Теперь — только на север, все время на север!

*Вблизи Тимея, на восходе
Солнца четвертых лунных суток*

Ни один восход Солнца не пробуждал в нас такой радости и такой надежды, как этот последний. Ему предшествовал рассвет — явление, которого мы здесь, на Луне, еще не наблюдали!

Ночь уже кончалась, и мы ожидали, что вершина горы, которая смутно виднелась перед нами в свете Земли, подтверждая, что мы приближаемся к северной границе Моря Холода, вот-вот внезапно вспыхнет в первых лучах восходящего Солнца. Но раньше, чем это случилось, мы увидели, что черное небо на востоке чуть посветлело, словно подернулось легкой опалово-молочной дымкой. Мы сначала подумали, что в этих высоких широтах — а мы уже миновали шестидесятую параллель — каким-то непонятным образом появляется зодиакальный свет, видный лишь вблизи экватора. Но нет, то был не зодиакальный свет; небо слегка серебрилось по всему горизонту и звезды еле мерцали сквозь это белесоватое свечение. Вскоре и вершины Тимея (именно к этому кратеру мы приближались) запылали в лучах Солнца, но, о чудо! они расцвели на фоне ночи, как бледно рдеющие розы. Больше нечего было сомневаться — этот рассвет и эти розовеющие горы возвещали нам, что здесь воздух уже достаточно плотен, чтобы посветлеть от рассеявшихся в нем лучей и окрасить румянцем их белизну.

Великое, сладостное блаженство овладело мной, я, улыбаясь, взглянул на Педро, который самозабвенно упивался этим зрелищем, а потом обратился к Марте.

— Смотри,— воскликнул я,— твой ребенок родится уже там, где можно будет дышать так же, как на Земле!

Она подняла голову и взглянула на восток, где возникало легкое, как сон, золотистое свечение и разливалось по горизонту, как по нашим сердцам разливалась надежда на новую жизнь.

Солнце всходило медленно, еще медленней, чем в предыдущие дни, потому что оно шло не прямо вверх, а ползло по дуге, круто изгибавшейся к югу, где низко над горизонтом висела Земля. Выйдя целиком из-за горизонта, оно встало в небе, окруженное широким ореолом, похожим на белесый туман; на краях он переходил в синеву и постепенно сливался с черным небом вокруг. Поблизости от Солнца звезд уже не видно. В отдалении от него они еще сверкают, но уже исчезла их многоцветность и они все больше походят на те мерцающие огоньки, которые там, на Земле, расцветают в ночном небе.

Еще сутки, самое большое — двое лунных суток, и мы сможем выйти из этой машины и впервые вдохнуть полной грудью лунный воздух.

За прошедшую ночь мы пересекли немалую часть этого мира.

Здесь, вблизи полюса, ночные холода значительно слабее, чем у экватора, ибо Солнце не уходит глубоко за горизонт, так что мы не останавливались в пути ни на минуту. На закате въехали мы на Море Холода, а сейчас эта равнина осталась уже позади.

С запада подступает к нам горная страна; Тимей — это ее пограничный столб, который мы сейчас минуем.

Прямо перед нами уходит на север долина, врезающаяся в предгорья, подобно широкому заливу; карты свидетель-

ствуют, что она доходит до шестьдесят восьмой параллели. Поверхность здесь не такая ровная, как на Море Холода, — она кажется волнистой от параллельно расположенных низких продолговатых холмов; это, однако, не препятствует нашему продвижению, так как их склоны чрезвычайно пологи. Мы, по-видимому, пройдем эту равнину прежде, чем кончится день, так что следующая ночь застанет нас уже в горах. От полюса будет нас тогда отделять еще около шестисот километров.

Но что значат шестисот километров, когда мы столько уже прошли!

Мы исполнены бодрости и надежды, все недоразумения между нами развеялись; исчезли, как туман в свете солнца, те ужасные кошмары, что мучили нас по ночам; нас поддерживает блаженная дума о том, что к желанной цели нашего тяжкого паломничества мы привезем росток новой жизни — и так нам хорошо, так спокойно как-то, что временами кажется даже, будто мы не сожалеем о разлуке с Землей.

Почему же нет с нами Томаса! Он делил наши муки; чего я не отдал бы за то, чтоб могли мы поделиться с ним надеждой на жизнь!

*Четвертые лунные сутки,
78 часов после восхода
Солнца, 0°2' восточной
долготы, 65° северной лун-
ной широты*

Странная печаль удручает меня. Не знаю, откуда она взялась и чего хочет от меня? Мы движемся быстро, небо над нами постепенно становится темно-лазурным, неподвижные ранее звезды начинают мерцать, все предвещает близость той «земли обетованной», где мы наконец от-

дождем после несказанных тягот, длящихся уже четвертый месяц, а я, вместо того чтобы радоваться, печалюсь, все сильнее печалюсь.

Что тому виной? Быть может, Земля, склоняющаяся все ниже к горизонту, Земля, которую мы вскоре совсем потеряем из виду; быть может, могилы, которыми отмечен наш путь через ужасные безвоздушные пустыни Луны; быть может, те потрясения, от которых душа моя еще не опомнилась, а может быть, мысль об этом ребенке умершего, которому предстоит родиться в неведомом краю и для неведомой судьбы...

Я спокоен; вот только эта нестерпимая грусть и эта усталость! Глаза уже ослепли от разящего блеска Солнца; утомляет меня вид диких, бескрайних равнин и круто склоненных гор, что торчат над нами... О, если бы хоть небольшой, крохотный пруд, хоть бы веточку, хоть травинку!..

Вся эта местность похожа на огромное кладбище. Мы едем по дну моря, пересохшего столетия назад, по разрыхленным осадочным грядам известняка, из которых торчат останки древних кольцевых скал.

Что случилось с тем морем, которое некогда колыхалось здесь, вздымая изогнутые гребни волн к Земле, видневшейся тогда, словно золотой диск, среди туч, ползущих над волнами? Только берег возвышается над сухой котловиной, отвесный, громадный, изглоданный ударами уже не существующих волн... Ветер развеял его обломки, истертые в пыль; теперь и ветров здесь уже нет. Пустыня и смерть...

Как мучительно я жажду попасть в края, где наконец-то увижу жизнь! Только бы поскорей! Сил может не хватить.

Из нас троих Марта, наверно, самая терпеливая... Да ведь что ж! Ее мир теперь в ней самой! И, кажется, об

этом своем мире она думает даже больше, чем об умершем возлюбленном. Я часто вижу, как, сидя за работой, она вдруг роняет руки и смотрит куда-то в будущее, улыбаясь собственным мыслям. Уверен, что очами души она уже видит в такие минуты крохотное розовое дитя, простирающее к ней ручонки. Лишь изредка глубокие вздохи стоняют с ее лица эту улыбку невыразимого блаженства и наполняют слезами глаза. Это воспоминания о Томасе, который уже не увидит своего ребенка. Но потом она вновь улыбается, она знает, что если б он не умер, его душа не смогла бы вернуться к ней в ребенка.

Вечно занятая своими мыслями, Марта мало разговаривает с нами, но однажды она сказала мне: «Хорошо, что я пришла сюда вслед за Томасом, потому что теперь я дам ему новую жизнь...»

Как же ей не чувствовать себя счастливой, если она может такое сказать о себе!

Четвертые сутки, 17 часов после полудня, на плато вблизи Гольдшмидта, 1°3' восточной лунной долготы, 69°3' северной широты

Равнины окончились; мы находимся в горах, простирающихся до самого полюса. Это, собственно, нечто вроде горного плато, по которому всюду разбросаны кольцеобразные возвышения, а среди них поднимаются обширные и высокие цирки, например огромный Гольдшмидт, что перед нами, или соприкасающийся с ним на востоке еще более высокий Барроу. Подумал я сейчас — до чего это странно, что мы видим горы и долины, по которым люди никогда еще не ходили, но которым уже дали имена... Смешные мысли!

Сегодняшний полдень застал нас на вершине граничного вала этого плато. Оглянувшись назад, мы увидели низко над краем пустыни Землю в фазе новоземля, подернутую легкой воздушной дымкой. Светящееся кольцо ее атмосферы сверкало сквозь эту завесу еще багровей, чем в прежние дни. Прямо над ней, почти касаясь ее огромного черного шара, стояло Солнце в узком радужном ореоле лучей.

Впечатление такое, будто Земля за эти четыре месяца свалилась с зенита на горизонт, но на самом деле это мы убежали от нее, приближаясь к полюсу. Климат здесь уже совсем иной. Послеполуденное Солнце, едва поднимаясь над горизонтом, не палит нас зноем, не ослепляет блеском. Каким-то печальным и усталым кажется это Солнце — совсем как мы... Длинные тени тянутся через все плато. Небо к северу все гуще голубеет; звезды там уже не видны, хотя на юге они еще сверкают белесовато и тускло, отодвинувшись подальше от Земли и от Солнца.

Устал я немислимо. Хотя и мало весит мое тело на Луне, временами мне кажется, что голова моя, руки и ноги налиты свинцом. Боюсь, как бы не расхвораться. Бесконечно долгим кажется мне это путешествие, и, хотя по всем признакам путь наш близится к концу, я начинаю сомневаться, что мы когда-либо дойдем до цели... Впрочем,— цель? Где, какая цель? Ах, все утомляет, все печалит.

Марта невероятно добра. Мне кажется, если б не она, я бы и пальцем не шевельнул, чтобы повернуть руль машины к полюсу, куда мы движемся с такими трудностями. Но она видит мою страшную усталость и умеет какими-то теплыми, хорошими, душевными словами придать мне бодрости, поддержать мои силы. Чем я заслужил такую доброту с ее стороны? Той обидой, которую наносил ей своими мыслями и вожделениями? Я так

устал, что все мне безразлично, кроме — клянусь! — счастья этой женщины. Я хотел бы выжить, может, буду ей в чем-то полезным. Но кто знает, выживу ли я.

Перед нами горы, высокие, крутые горы. Их нужно перейти. Эти горы, и другие, и снова горы, потому что до полюса еще далеко... У меня больше нет сил. Я даже писать уж не могу.

Фразы не вяжутся, я то и дело забываю, что собирался сказать. Только мне и хотелось бы растянуться в гамаке и сквозь полуприкрытые веки смотреть на Марту, которая все улыбается мыслям о своем ребенке.

Счастливица!

*На перевале между Гольдшмидтом и Барроу, 161 час
полудни четвертых лунных
суток*

Из последних сил борюсь с непрерывно гнетущей меня усталостью. Чувствую, что болен, и боюсь этого. Как они справятся без меня? Дорога становится все хуже, а ночь, долгая ночь приближается. Дождусь ли я ее конца? Может, настал теперь мой черед, вслед за О'Теймором и Вудбеллом? Ведь братья Ремонье будто бы предсказали...

Жаль мне было бы умереть. Я бы хотел увидеть ребенка, которому предстоит родиться, хотел бы еще раз вздохнуть полной грудью.

Ну, когда же придет конец этой дороге! Судя по карте, горы, через которые теперь мы переходим, — это последняя серьезная преграда, отделяющая нас от полюса. Спустившись с перевала, на котором сейчас находимся, мы повернем по широкой долине на запад, вдоль северных склонов Гольдшмидта, потом, снова свернув на север, пройдем мимо кратеров Халлис и Мэйн, обойдем

с востока цирк Гиойя, перейдя через его невысокий отрог, тянущийся вдоль параллели, и выберемся на равнину, отделенную от приполярного края уже лишь одной узкой горной цепью.

Так выглядит наша дорога по картам. Но карты этих мест, плохо видных с Земли, очень неточны. К тому же большую часть этого пути нам предстоит проделать ночью, даже без света Земли, которую заслонят от нас горы.

Здесь, с этой высоты, просматривается изрядный участок местности, но уже лишь вершины гор ало блещут на солнце, а внизу разливается черное море тени. Когда мы спустимся туда, звезды будут нашими единственными проводниками.

В голове моей что-то испортилось или надорвалось. Чтобы трезво мыслить, мне приходится до предела напрягать волю. То и дело возникают какие-то видения, какие-то полусонные грезы и кошмары. Неужели у меня горячка? Я кусаю руки, чтобы прийти в себя. Но и это не помогает. Все качается у меня перед глазами, я вижу мрачное море, по которому плавают багровые вершины гор, наша машина кажется мне кораблем, который вот-вот рухнет в эту бездну... Я так ужасно устал. Куда мы поплывем по этому черному океану? А может, к Земле?.. Ах, да! Земля осталась далеко-далеко в небесных просторах; туда мы не вернемся уже никогда. Никогда...

В голове грохочут чудовищные жернова; кажется, у меня горячка,

*После захода Солнца, в
ущелье среди гор*

Я еще сполз с гамака. Марта велела мне лежать, но что она знает! Мне нужно еще что-то сделать или запи-

сать — не помню, но я должен припомнить. Я уверен, что мы утонем во мраке, если я этого не сделаю... Но что же это я должен был сделать?

Почему так темно? Видимо, какая-то бомба взорвалась у меня в голове, наверняка взорвалась, потому что голова у меня раздувается, распухает, растет, она уже величиной с Луну...

Как забавно, что мы на Луне! А может, мне это только снится? Ведь откуда бы взялись на Луне собаки? Где Вудбелл? Что-то с ним случилось, но я не помню... Звали его Томас...

Кто-то стоит рядом и говорит, чтобы я лег, потому что у меня горячка. А, все равно! Почему бы ей и не быть? Что, нельзя мне?..

Перо стало ужасно тяжелым... да и пальцы у меня тоже тяжелые... Не знаю, что все это значит... слышу какие-то два голоса рядом... больше я не могу...

НА ТОЙ СТОРОНЕ

Никогда не забуду я ощущения, какое испытал, открыв глаза после долгой болезни, ввергшей меня в беспмятство под конец этого страшного пути сквозь безводную и безвоздушную лунную пустыню. Сейчас, когда я приступаю к описанию дальнейших наших приключений, это мгновение так живо встает в моей памяти, словно с тех пор миновало лишь несколько часов. Но, пересчитывая лунные сутки, я вижу, что на Земле идет уже одиннадцатый год с того дня, как мы упали на поверхность Луны, и десять лет — с тех пор, как вышли мы из машины после полугодового заточения. Теперь мы дышим полной грудью под небом таким же голубым, как на Земле, на берегу настоящего волнующегося моря и смотрим на зелень растений — странных, неправдоподобных, но все же полных жизни. Сто тридцать четыре раза мы видели, как встает Солнце над этим миром, и уже почти свыклись с ним. Волосы наши седеют, а рядом с нами растет новое поколение — поколение людей, которые некогда сочтут легендой историю о том, как прилетели сюда их праотцы с Земли, с этого огромного светящегося шара, что встанет перед тобой на горизонте, если подойдешь к самому рубежу безвоздушной пустыни. Для них Земля будет интересным, редко видимым небесным светилом; для нас — это мать, которую мы покинули навсегда, но так и не смогли порвать последнюю и крепчайшую связь с нею — тоску по ней.

Пройдет еще несколько десятков лунных дней, и все мы, рожденные на Земле, умрем, а новое поколение, читая этот мой дневник, наверно, будет принимать его за что-то вроде Книги Исхода, пока не появится среди них «критик» и не докажет неопровержимо, что легенда о земном происхождении людей — это лишь наивная, ребяческая фантазия древних времен.

Думаю я об этом, как о чем-то вполне естественном, ведь уже и мне самому многое из пережитого кажется фантастическим сном. Главное — болезнь, из-за которой я целые лунные сутки пролежал в беспмятстве, образовала в моей жизни странный пробел; мне трудно было связать прошлое с тем, что я увидел, придя в себя, трудно было отличить действительность от горячечного бреда.

А пробуждение мое и вправду было весьма необычным.

Я открыл глаза и сначала вообще не мог разобраться в том, что меня окружает. Оглядевшись, я увидел, что лежу на просторной луговине среди холмов, поросшей удивительно свежей пушистой зеленью. Все вокруг было залито мягким полусветом, словно в земной рассветный час, когда солнце только начинает появляться у черты горизонта. Лишь нагие пики высоких гор пылали алым пламенем. Над ними смыкался купол бледно-голубого неба, подернутого легкой дымкой. Долго я глядел на все это и никак не мог понять, где нахожусь. И тут я увидел, что по долине медленно идут двое людей и все наклоняются, словно разыскивают что-то. Вокруг них с веселым лаем прыгают две собаки.

Мне сперва показалось, что я на Земле, где-то в незнакомой местности, и я уж раздумывал, каким образом здесь очутился, но вдруг припомнилась мне наша экспедиция и долгий путь через лунные пустыни в замкнутой машине. Я снова огляделся вокруг, насколько можно бы-

ло это сделать, не поднимая тяжелой, словно свинцом налитой головы. Куда же девалась машина? Где те суровые пейзажи, которые я видел из ее окон и помню до сих пор? Я хотел было позвать людей — они ходили невдалеке, — но вдруг овладела мной страшная усталость, и я не мог произнести ни звука. Впрочем, я уже готов был предположить, что все эти неслыханные приключения мне просто приснились. Мне предстояло путешествие на Луну, я заснул где-то, на каком-то лугу — кто знает, сколько я проспал, — и снилось мне, словно я уже был там, боролся со страшными трудностями, терял друзей, рисковал жизнью... Странно лишь, что вокруг мне все незнакомо...

Неясное ощущение пережитой тяжелой болезни начало просыпаться в моем мозгу. Да, наверно, у меня была горячка, и в горячечном бреде я странствовал по Луне. Но кошмары эти наконец миновали. Я ощутил огромное облегчение при мысли, что все это было лишь сном, что я нахожусь на Земле и никогда не должен буду ее покидать. Странное сладостное блаженство овладело мной, а потом я опять погрузился в сон.

Когда я проснулся снова, у моей постели стояли те двое, которых я увидел на лугу, и разговаривали вполголоса. Я будто бы расслышал слова: «Он спит», а другой голос ответил: «Он будет жить». Меня это удивило, но я не подал виду, что бодрствую, и недвижимо, полусомкнув веки, внимательно разглядывал стоявших надо мной. Хоть спал я, как мне казалось, довольно долго, освещение вокруг нисколько не изменилось и трудно было различить в неясном свете их лица. Когда глаза привыкли к сумеркам, люди эти показались мне знакомыми, но я не мог припомнить их имен. Медленно перевел я взгляд на горы у черты горизонта; по-прежнему освещены были лишь их вершины, однако свет падал на них теперь с другой стороны.

В этот миг я заметил там нечто, целиком поглотившее мое внимание. Над глубоким ущельем меж двумя высокими пиками висел огромный тускло-белый диск, до половины выдвинувшийся над горизонтом. Я долго глядел на него, и вдруг все стало мне ясно: Земля сияла там, на небе!

Сознание, что я действительно нахожусь на Луне, вернулось во всей полноте — и меня пронизал озноб. Я громко вскрикнул и вскочил с постели. Педро и Марта — это они только что склонялись надо мной — радостно бросились ко мне, но мысли мои совсем смешались, и я снова потерял сознание.

Это был последний обморок за время моей долгой болезни. Очнувшись от него, я начал понемногу выздоравливать. Прошло еще часов полтораста, прежде чем я смог вставать с постели и передвигаться без посторонней помощи. Педро и Марта ухаживали за мной с подлинно материнской заботливостью, я же был еще слишком слаб, чтобы разговаривать да расспрашивать, и только размышлял над окружающим. Я знал уже, что за время моей болезни мы прибыли в обетованные края, где есть и воздух, и зелень, но долго не мог привыкнуть к мысли, что все это произошло совершенно естественным образом. Трудно мне было поверить, что целый земной месяц я лежал без сознания, а за это время машина, непрерывно продвигаясь на север, достигла наконец полюса, до которого оставалось еще несколько сот километров, когда горячка свалила меня.

Мы действительно находились теперь на северном полюсе Луны. Станный край! Край вечного света и вечно-то мрака, где нет ни сторон света, ни восхода, ни заката, ни полдня, ни полночи. Лунная ось почти перпендикулярна к плоскости эклиптики, так что Солнце здесь не уходит за горизонт и не поднимается к зениту, а будто бы

вечно катится по краю неба. Если подняться на одну из окрестных гор, то Солнце кажется пламенно-красным шаром, лениво проползающим у самого небосклона. Вершины гор вечно пылают в розовом сиянии, которое льется на них каждый раз с иной стороны; от сотворения мира эти горы не ведали ночи. Зато зеленые долины у их подножий никогда не видели Солнца. На них неизменно лежит тень высот, здесь царят вечные сумерки или вечный рассвет. На свежую темную зелень падают лишь отблески нагих, розовеющих от Солнца вершин — словно огромный венок бледных роз, брошенный на траву. Лишь иногда, раз в два земных месяца, Солнце, слегка приподнятое лунной либрацией над горизонтом, сверкнет в расщелине меж скал пламенно рдеющим ликом и застынет так на мгновение в горных вратах, словно златокрылый херувим. Тогда по ущелью струится огромная река огня, каскадами падает со скал и широкой золотисто-багровой полосой ложится на сумрачные низины. Проходит несколько часов, Солнце прячется за горы, и мягкий полумрак снова заливает тихую долину.

Лишь изредка пробивается сквозь эти сумерки странный слабый отсвет над вершинами гор, похожий на бледную, размытую, мерцающую радугу: это — лунное полярное сияние, сходное с земным, как сон бывает сходен с явью и, как сон, прекрасное, чистое, грустное.

Есть нечто странно таинственное в этом бледном свете лунных полярных областей. Помню, глядя на них, я чувствовал, будто перенесся во сне в некий зачарованный Элизиум. Легкие туманные испарения, подобно призракам, блуждают там по незапятнанной зелени; необъятную упоительную тишину не нарушает ничей голос. И всегда царит здесь прохладная, но погожая весна. Прожили мы в этих местах более полугода, и за все это время лишь однажды подернулось тучами бледно-голубое

небо. Дождя не бывает там почти никогда, и потому нет там ни озер, ни рек, ни источников. Воздух, однако же, так насыщен водяными парами, что этой влаги вполне хватает для растений. Наши земные травы, деревья и цветы засохли бы здесь, но в этих лунных полярных краях произрастает особая, им присущая, приспособленная к условиям флора.

Здесьние луга поросли удивительно сочными травами, которые походят на земные мхи и, подобно им, наделены способностью всасывать влагу из воздуха,— только в гораздо большей степени. Они накапливают в себе столько воды, что из охапки таких растений мы выжимали несколько литров этой столь ценной для нас жидкости. Питье, таким образом, мы добывали легко; несколько хуже было с пропитанием. Мы обнаружили несколько видов сочных растений, пригодных в пищу, и множество любопытных созданий, похожих на больших улиток без раковины, но эту пищу не на чем было приготовить. Запасы топлива, взятые с Земли, вскоре иссякли, а здесь мы не нашли ничего, что могло бы их заменить. Даже самые толстые, деревянистые ветви здесьних растений были до того пропитаны влагой, что на них невозможно было развести огонь, а о том, чтобы высушить их в этом воздухе, насыщенном испарениями, словно в бане, не могло быть и речи. Торф, который мы обнаружили там в изобилии, тоже истекал водой, как только стиснешь его в ладони.

К тому времени, как кончились запасы топлива, я уже окреп и начал выходить из своего наспех сооруженного шалаша. Мы подолгу обсуждали эту проблему и искали выхода, но все наши попытки неизменно кончались неудачей. Педро подал идею перенести нарубленные толстые ветки и отжатый торф повыше в горы, где светит солнце,— быть может, там они высохнут лучше, чем в

сумрачной долине. Однако же и там теплота солнечных лучей была слишком слабой. Отжатый торф за несколько десятков часов снова набирал столько влаги из воздуха, что наши труды пропадали даром.

Тогда мы пожертвовали всеми деревянными предметами, без которых хоть как-то можно было обойтись, и разожгли большой последний костер, пытаясь высушить над ним собранный вокруг горючий материал. Но, к сожалению, и эта надежда нас обманула. Сожгли мы все, что только удалось сжечь, а получили всего лишь горсточку сухих веток и торфа. Оказалось, что для просушки некоего количества здешнего топлива надо втрое больше его сжечь. Наш «вечный огонь» погас через несколько часов. Только и было пользы, что мы запустили от него устройство для подзарядки аккумуляторов нашей машины.

Итак, пришлось нам обходиться без огня. Воздух, насыщенный водяными парами и всегда равномерно прогретый, великолепно сохранял скупое солнечное тепло, так что холод нам не докучал. Но очень трудно было привыкнуть к сырой пище. Остатки сахара и искусственного белка, весьма удачно изготовленного, мы хорошенько припрятали на случай, если в дальнейших странствиях окажемся в местности, где не добудешь пропитания. Мы ведь ни на минуту не отступались от намерения продвигаться дальше, к центру невидимого с Земли лунного полушария. Но три обстоятельства удерживали нас пока от этого похода. Прежде всего я еще был слишком слаб после болезни, чтобы вынести тяготы странствий; Марта, которая вскоре ожидала ребенка, тоже не могла сейчас рисковать... Ко всему этому добавлялся рожденный отсутствием топлива страх перед долгими морозными ночами, которые обрушатся на нас, как только мы, отдаляясь от полюса, покинем страну вечного полумрака.

Невзирая на все нехватки и страхи, месяцы, проведенные на полюсе, принадлежат к лучшим воспоминаниям моей жизни на Луне. Строго на точке полюса разбили мы полотняную палатку, привезенную с Земли, так что прямо над нашими головами было созвездие Дракона, где сверкает лунная полярная звезда. Правда, звезду эту, что долго была для нас путеводной, мы увидели здесь только раз, во время солнечного затмения, когда нам уже предстояло снова отправляться в путь. Ведь звезды, в безвоздушной пустыне видимые и днем, и ночью, здесь не появляются никогда,— разве если Солнце зайдет за диск Земли и краткая ночь покроет эту страну вечного рассвета.

В палатке мы только спали, а большую часть времени проводили под открытым небом, наслаждаясь пейзажем, который хоть и стал привычным, но не утратил для нас своего мягкого, волнующего очарования. Там все удивительно гармонично, все настроено на общий необычайно спокойный лад: зелень, и розовые горы, и бледное небо над ними, и свежий, холодный, целебным ароматом тамошних трав напоенный воздух. И в души наши входил покой. Сердечная теплота царила в нашем маленьком кружке. Все страсти, все обиды и недоразумения были от нас так же далеки, как те страшные пустыни, при воспоминании о которых нас все еще пронизывала дрожь.

Время летело незаметно, когда мы целыми часами говорили,— то о Земле, краешек которой еще появлялся иногда над горизонтом в полноземлие как серовато-белое облачко, то о дорогих наших друзьях, спящих в тихих могилах среди пустынь, то о неведомом будущем, которое нас ожидает. Говорили о ребенке, которому предстоит родиться, о краях, которые мы увидим,— обо всем, кроме одного... Мы никогда не касались вопроса, который однажды уже чуть не привел к разрыву между мной и

Педро, — кому из нас в будущем должна принадлежать Марта. Странно, но, кажется мне, мы тогда действительно даже и не думали об этом. По крайней мере я не думал. Однако теперь, через много лет, когда все давным-давно уже решено и исполнено, я могу признаться сам себе... Я любил эту женщину, любил ее больше, нежели способен выразить, но была эта любовь какая-то необычная...

Когда я смотрел на нее, на ее нежное исхудавшее лицо, с которого не сходила мечтательная и печальная полуулыбка, на ее маленькие бледные руки, вечно занятые какой-нибудь работой, она казалась мне совсем непохожей на ту Марту, что я знал когда-то — красивую, страстную, уверенную в себе, иной раз даже надменную, — и я чувствовал, как в пруди моей поднимается волна безграничной нежности к этому столь доброму и столь несчастному существу. Мне хотелось медленно и осторожно гладить рукой ее волосы и говорить ей, что я готов сделать все, что в моих силах, отказаться от всего, чего мог бы требовать, лишь бы она стала от этого хоть чуточку счастливей, — в знак благодарности уже за то, что я могу ее видеть.

На Земле смеялись бы над такой любовью; я же, когда сейчас об этом думаю, только печалюсь, ибо вижу, что ничего не сумел для нее сделать, хоть и принес величайшую жертву, на какую был способен.

Однако же тем, что я жив, я обязан только ей. Когда на перевале возле Барроу я свалился в бреду, только ее стараниями вернулось ко мне здоровье, а сейчас только мысль о ней удерживает меня в живых. Мучительная это мысль; но там, на полюсе, она была еще далека от меня, я даже и не предчувствовал еще, как все сложится, и потому, говорю вам, это был самый счастливый период моей жизни на Луне. Марта была постоянно рядом со мной.

Пока я болел, она ухаживала за мной, когда я выздоровел, мы вместе ходили на прогулки по долине, разыскивая улиток на обед или собирая душистые травы, которыми она украшала потом нашу палатку.

Когда силы уже вполне вернулись ко мне, я часто поднимался с Педро в горы, чтобы увидеть Солнце и огромный бледный диск Земли на небосклоне, чтобы взглянуть пытливым оком на те неведомые и таинственные места, никогда не знавшие человеческого взгляда, куда предстояло нам отправиться. Марта оставалась тогда в палатке,— то было время, когда излишние усилия могли ей повредить.

Во время одной из таких прогулок Педро показал мне сверху тот путь, по которому мы прибыли в долину, и рассказал о немыслимых трудностях, какие пришлось ему преодолевать в этом горном краю среди непроглядной ночи, имея на попечении меня, больного, и Марту, обесилевшую от горя.

— Мне приходилось все делать самому,— говорил он,— и были минуты, когда меня охватывало отчаяние. Не раз я сбивался с пути среди скал, а иногда вынужден был отводить машину назад, попав в ущелье-тупик. Я уж и не думал, что мы выберемся оттуда. В такие минуты мне придавал бодрости взгляд на барометр, который поднимался все выше и выше. Но по-настоящему надежда затеплилась во мне лишь тогда, когда мы выбрались на равнину за Гиойей. Земные астрономы, так окрестившие эту гору, и не предполагали, что для нас ее имя обретет буквальный смысл: после неслыханных тягот и страданий именно тут нам улыбнется наконец радость.

Ночь посветлела. Мы находились уже так близко от полюса, что рассеянный в довольно плотной атмосфере свет Солнца, не очень глубоко ушедшего за горизонт, создавал нечто вроде серых сумерек, и можно было разли-

чать предметы. Там я и отважился впервые выйти из машины без воздушной маски. В первый миг я ощутил головокружение; атмосфера была еще разреженной и приходилось сильно напрягать грудь, чтобы дышать. Никогда не забуду радости, охватившей меня, когда я наконец вдохнул лунный воздух...

Педро рассказывал мне и о том, какие страшные тяготы вынес он при переходе через последнюю горную цепь, отделяющую равнину под Гиойей от Полярной Страны. На помощь Марты он не мог рассчитывать — тем более что я, находясь между жизнью и смертью, нуждался в ее непрестанном попечении; и пришлось ему в одиночку вести машину в тусклом свете по крутому склону, усеянному выветрившимися каменными глыбами.

Через восемьдесят с лишним часов после наступления полночи он выбрался на перевал. Отсюда уже открывался вид на Полярную Страну.

— Казалось мне, — говорил Педро, — что я увидел землю обетованную; перед взглядом моим, уже привыкшим к зрелищу суровых скал и пустынь, распростерлась огромная зеленая равнина. От радости у меня перехватило дыхание, слезы показались на глазах. И сквозь слезы смотрел я на сумрачные луга и на багровое Солнце, которое видел с высоты, хоть далека еще была та минута, когда ему надлежало взойти на этой долготе.

При этих словах мы невольно оглянулись на Солнце. Оно лежало на горизонте в той стороне света, которая до сих пор была для нас севером, а теперь становилась югом. На невидимом с Земли лунном полушарии был день.

Тогда-то впервые овладела мной необоримая жажда познать эти таинственные края, под которыми сейчас стояло Солнце. Спускаясь с горы, я только об этом и думал,

а в палатке начал строить планы дальнейшего путешествия.

Педро тоже считал, что нужно продвигаться на юг, к центру неисследованного полушария.

— Здесь нам хорошо,— говорил он,— и мы могли бы, в конце концов, провести тут всю жизнь, но еще спокойнее нам было бы жить на Земле. Мы прибыли на Луну, чтобы раскрыть ее тайны, вот и следует это сделать.

Итак, на новую экспедицию мы в принципе решились, но пока задерживались из-за Марты. Ожидая времени, когда она сможет продолжать путь, мы делали приготовления, накапливали запасы.

Прежде всего мы переделали свою машину. Не имело смысла тащить за собой такую тяжесть. Сначала мы собирались снять ее верхнюю часть, от чего она уподобилась бы глубокой лодке на колесах, но нас удержала мысль, что мы можем оказаться в местах, где ночи морозны и где герметически замкнутая отапливаемая повозка станет для нас бесценным убежищем. Поэтому мы сняли только всю тыльную отвинчивающуюся часть, где раньше размещались наши склады. Возникшее отверстие мы закрыли алюминиевой плитой, которая прежде замыкала склады снаружи. Кроме того, мы удалили металлический каркас, упрочнявший стены и теперь ненужный. Мотор, взятый некогда у несчастных Ремонье, отладили, насколько возможно, и поместили в машине на случай, если наш испортится.

Все эти работы, а также подготовка запасов продовольствия и воды, которую приходилось капля за каплей выжимать из мха, заняли у нас более трех месяцев. Наконец все было готово.

Уже пятый раз наступало полноземлие с тех пор, как мы прибыли на полярную равнину, когда, возвращаясь после дальней одинокой прогулки, я услышал в палатке

писк ребенка. Ни один звук в жизни не взволновал меня так глубоко, как этот тихий плач существа, которое явилось, чтобы расширить наш кружок и скрасить наше одиночество. Услышав его, я бросил охапку собранных в пути съедобных мхов и бегом кинулся в палатку. Марта лежала на постели, бледная и усталая, но сияющая радостью. Она, казалось, даже не заметила моего появления. Все ее внимание было поглощено крохотным существом, завернутым в белое полотно и кричащим во весь голос, которое она каким-то страстным движением прижимала к груди:

— Мой Том, мой Том, сынок мой любимый, красивый! — шептала она слабым голосом и смеялась сквозь слезы.

У постели терлись обе собаки и, вытягивая любопытные морды, обнюхивали это незнакомое им крикливое создание.

Я оглянулся на Педро и был удивлен его видом. Он сидел в углу палатки, угрюмый и задумчивый. Но я пока не стал размышлять об этом. Я подбежал к Марте, чтобы сказать ей, что я радуюсь ее ребенку, что благодарю ее за этот дар жизни, но не смог промолвить ни слова.

Я только схватил ее маленькую, исхудавшую руку и пробормотал нечто невразумительное. Она взглянула на меня, словно лишь сейчас заметила. Я почувствовал болезненный укол в сердце, ибо этот взгляд сказал мне, что я ей так безразличен, как только может быть один человек безразличен другому. Нежданная грусть овладела мной, и Марта, видимо, заметила это, потому что улыбнулась, словно желая загладить невольно причиненное мне огорчение, и мягко проговорила, показывая на ребенка:

— Смотри, Томас вернулся, мой Томас, мой...

Понял я в то мгновение, что никто из нас никогда не займет места в сердце этой женщины, ибо оно навсегда отдано этому ребенку, в котором она любит не только кровь и плоть свою, но и душу умершего возлюбленного.

Молча принялся я готовить пищу и питье для Марты. Педро вышел из палатки вслед за мной.

— Так что ты думаешь обо всем этом? — спросил он меня, когда мы оказались снаружи.

Я пока не знал, что ему ответить.

— Ну, что ж, появился сын Томаса... — пробормотал я минуту спустя...

— Да, сын Томаса, — повторил Педро и задумался.

Мне не хотелось больше его расспрашивать — я знал, о чем он думал.

Опасаясь затрагивать щекотливую тему, мы с тех пор говорили почти исключительно о предстоящем путешествии. К Марте быстро возвращались силы, здоровье маленького Тома не внушало никаких опасений, так что мы решили до наступления первой четверти Земли двинуться в путь. Это было самое подходящее время, потому что на центральном меридиане обратного полушария Луны, вдоль которого нам предстояло продвигаться к экватору, день начинается именно в первую четверть. Значит, начав путешествие в этот период, мы имели впереди две земные недели светлого времени и в случае, если нигде не встретятся пригодные для жизни условия, успели бы до наступления ночи вернуться в Полярную Страну.

Через две недели после рождения Тома наступило новоземлие, а вместе с ним солнечное затмение, уже второе из виденных нами на Луне. Первое затмение — там, в пустыне, — мы, угнетаемые страхом перед нависшей над нами смертью, совсем не исследовали; зато теперь хотелось получше использовать такой благоприятный случай. Поэтому, уложив астрономические приборы в небольшую

тележку, которую тянули собаки, мы вышли на самую близкую к полюсу возвышенность, откуда видно было Землю и Солнце.

Зрелище было великолепное, но наблюдения нам не очень удались. Низкое положение Земли над горизонтом и насыщенная водяными парами атмосфера не позволяли произвести точные измерения и настолько мешали наблюдениям, что уже через несколько минут после того, как Солнце зашло за земной диск, мы оставили астрономические приборы, чтобы просто полюбоваться волшебной игрой света на небосклоне. Земля огромным черным полукругом вырисовывалась на фоне кроваво-золотого зари. Широко вокруг нее расплывшееся небо потом потемнело, и выпали звезды. Казалось, словно на ночном небосклоне вспыхнуло зарево огромного пожара или что мерцающее полярное сияние, которое пылает на Земле вблизи полюсов, внезапно перенесенное сюда, оцепенело и застыло перед нами в невероятном каком-то размахе.

Воспоминание об этом зрелище по сей день стоит перед моими глазами. Казалось мне тогда, что предо мной явился в огне обугленный труп Земли. Было в этом нечто жуткое и странно волнующее. Еще и сегодня, когда я думаю о Земле, она встает передо мной в том чудовищном черном облике, в каком я видел ее тогда, и приходится напрягать всю силу воображения, чтобы представить ее в виде серебристого сияющего диска.

Не долго я смог выносить это невыразимо великолепное, но какое-то мучительное зрелище и перевел взгляд на звезды, которых уже несколько месяцев не видел. Все они сверкали над моей головой, искрясь и переливаясь, как порою бывает у нас на Земле зимними ночами. Я смотрел на них с удовольствием, как на добрых старых знакомых, отыскивал известные мне с детских лет со-

звездия и мысленно вопрошал их, что слышно там, на родной моей планете, лежащей сейчас передо мной, словно шлак в отблесках пламени.

Внезапно я заметил, что звезды тускнеют перед моим взором. Я протер глаза, полагая, что слезы, вызванные воспоминаниями прошлого, застилают мой взор, но это не помогло: звезды светились все слабее. Заметил это и Педро. Мы были обеспокоены, ибо не могли понять причины этого явления. Тем временем звезды все тускнели и даже зарево в той стороне, где Солнце зашло за Землю, становилось все менее заметным и будто бы расплывалось. Через несколько минут нас обьяла непроглядная беззвездная мгла, только в южной части неба еще виднелся легкий красноватый отсвет. Одновременно мы ощутили сильный порыв ветра — явление в этих местах для нас новое. Охваченные изумлением и тревогой, мы не смели двинуться с места.

Наконец затмение окончилось, Солнце выдвинулось из-за диска Земли. Но мы лишь догадывались об этом, потому что, хотя ночь снова исчезла, ни Солнца, ни окрестностей не было видно. Все утопало в густом, молочно-белом тумане испарений.

Только теперь я все понял. В Полярной Стране не возникают тучи и не идут дожди лишь потому, что воздух все время равномерно прогрет, а значит, нет причин для сгущения водяного пара. Так бывает в обычных условиях; однако во время затмения внезапно похолодало, отчего возник ветер, а водяные пары в охлажденном воздухе сгустились в туман.

Найдя естественную причину неожиданного явления, мы несколько успокоились; но положение наше пока что оставалось весьма неприятным. Мучительный холод пронизывал нас, а при таком тумане невозможно было отыскать дорогу в долину, где стояла палатка. Вдобавок ме-

ня преследовала мысль о Марте. Но делать было нечего, приходилось сидеть и ждать, пока прояснится.

И действительно, туман вскоре начал подниматься вверх. Менее чем через полчаса открылся вид на долину; теперь уже только вершины гор тонули во тьме, сгущавшейся все плотнее. Видно было, что там хлещет дождь, поэтому мы, не теряя времени, начали спускаться с холма. Но не успели мы пройти и полдороги вниз, как над нами сверкнуло, и почти одновременно с глухим раскатом грома хлынул на нас подлинный потоп. За несколько секунд мы промокли до нитки. Сквозь струи льющейся с неба воды ничего нельзя было разглядеть, сверканье и грохот не утихали ни на миг.

Продолжался ливень часа два; все это время мы, промокшие и иззябшие, жались вместе с собаками под нависающим скальным карнизом, хоть был он весьма слабой защитой. Как только дождь утих, мы поднялись, чтобы продолжить обратный путь, но, едва выглянув из-за гребня скалы, застыли, пораженные зрелищем, которое открылось перед нами.

Вместо зеленой котловины у наших ног широко разливалось озеро.

Первой моей мыслью было: что с Мартой и ребенком? Место, где стояла палатка, теперь, очевидно, затоплено. Я бросился бегом к озеру, не обращая внимания на крики Педро, который хотел меня удержать. Добежав до воды, я пошел вброд. Сначала было неглубоко, но вскоре вода уже доходила мне до пояса. Я заколебался, не зная, брести ли дальше или вернуться, а между тем Педро, бросившись за мной, схватил меня за руку и заставил вернуться на берег.

Состояние мое было ужасным. От страшной тревоги за участь Марты пот крупными каплями проступил у меня на лбу, но все же я сознавал, что Педро прав и что,

бродя по затопленной долине, я лишь рискую жизнью, а помочь Марте ничем не могу.

— Если Марта вовремя заметила наводнение,— говорил он,— и укрылась на холме, то наша помощь ей пока не нужна, мы разыщем ее, когда вода спадет. А если она не успела убежать, мы тоже ничем уж ей не поможем.

Он говорил это спокойно, даже с какой-то жестокостью, от которой меня бросало в дрожь. Я смотрел ему в глаза, и показалось мне, что прочел в них чудовищную, завистливую мысль: пусть она лучше погибнет, чем когда-нибудь станет твоей...

— Все равно я пойду им на помощь! — воскликнул я.

— Иди,— ответил он и спокойно уселся на берегу.

Я действительно хотел идти, но это легче было сказать, чем сделать. Да, впрочем, куда мне было идти? На середину этого озера? Искать их под водой?

Злой и отчаявшийся, я уселся на берегу рядом с Педро и начал упорно вглядываться в воду. По ее поверхности там и сям плавали оторванные веточки мхов, но вообще она была ровной и гладкой — ни один порыв ветра не рябил ее. Я было задумался, как могло столько воды излиться из атмосферы за такой короткий срок и сколько часов пройдет, пока это море высохнет и мы сможем отыскать трупы нашей подруги и ребенка (ибо я уже не сомневался, что они погибли), когда вдруг заметил, что все ветви мхов довольно быстро плывут в одном направлении. Очевидно, их уносило течением, а это значило, что вода нашла где-то выход из котловины. Это наблюдение безмерно меня обрадовало, так как позволяло надеяться, что спада воды не придется ждать слишком долго. Чтобы проверить, не ошибочны ли мои предположения, я отправился по берегу в ту сторону, куда, видимо, стекала вода.

Через несколько километров я увидел нечто вроде залива, который перешел вброд. На той стороне я уже уверился, что сток действительно существует: над поверхностью воды, подобно плоским зеленым островкам, обозначились более высокие места котловины.

Все это вместе представляло зрелище необыкновенно красивое и увлекательное, тем более что в гладком стекле воды среди зеленых островков отражались макушки нагих прибрежных гор, уже снова порозовевших от солнца. Но я мало обращал внимание на пейзаж, думая лишь об одном — о Марте. Едва ли не в первый раз ясно ощутил я тогда, как дорога мне эта женщина и каким страшным ударом была бы для меня ее смерть. С этой чудовищной мыслью я не мог смириться. Трудно мне было представить, каким образом могла бы Марта спастись, однако я еще таил в глубине души отчаянную надежду на то, что она жива, и бежал вперед все быстрее, словно спасение Марты зависело от того, скоро ли доберусь я до места, куда уходит нахлынувшая вода.

Я был слишком взволнован, чтобы мыслить логически; только ясно сознавал, что вся жизнь моя ничего не стоит без этой, не моей, женщины и без этого, не моего, ребенка и что я согласился бы никогда не желать Марты для себя, если б этим мог ее спасти... Кто знает, не подслушивает ли порою судьба молчаливые обеты человека...

Прошло уже двенадцать часов, как я расстался с Педро, когда путь мне преградил глубокий поток; это вода стекала по широкому ущелью, которого мы ранее не замечали: оно открывало путь из полярной котловины к неизвестной стороне лунного шара. Измученный, изголодавшийся, я уселся на берегу, не зная, что предпринять.

Бесцельность моей беготни лишь теперь стала вполне очевидной для меня. Совершенно упав духом, я бездумно и безвольно вытянулся на моховом ковре, еще соча-

шемся только что схлынувшей водой, и смотрел в небо, вновь такое же спокойное и бледное, как перед этим зловещим затмением Солнца.

И тут показалось мне, что кто-то зовет меня по имени. Я вскочил, внимательно прислушиваясь. Мгновение спустя голос донесся вновь, на этот раз уже явственней. Внимательно озираясь кругом, я увидел на том берегу потока Марту с ребенком на руках, машущую мне издали. Поистине безумная радость охватила меня. Не обращая внимания на опасность, я кинулся через реку и вскоре уже стоял рядом с Мартой. Я онемел от радости и только покрывал поцелуями ее руки, и Марта, сама взволнованная, мне не противилась.

— Друг мой, добрый мой, дорогой друг,— только и повторяла она еще бледными, но уже улыбающимися губами.

Когда мы оба немного успокоились, Марта начала рассказывать, как она, заметив воду, подступающую к палатке, успела еще вместе с ребенком и самыми ценными для нас вещами укрыться в машине, стоявшей неподалеку. Это спасло ее. Герметически замкнутая машина, после того как мы удалили многие утяжелявшие ее части, стала достаточно легкой, чтобы удержаться на поверхности воды, которая непрерывно поднималась от чудовищного ливня и от потоков, летящих с гор. В раскатах грома, в непрерывном сверкании молний машина носилась по волнам, как некогда Ноев ковчег, и тем еще походила на него, что тоже спасала род человеческий на этой планете от гибели.

Положению Марты никак нельзя было позавидовать. Она не могла управлять своим импровизированным кораблем и была отдана на волю волн и ветров, которые швыряли машину, как скорлупку. К страху, вызванному внезапной катастрофой, добавлялась тревога за нас и

полное неведение, чем все это кончится. Когда дождь утих и вода наконец перестала подниматься, Марта заметила, что машина плывет в каком-то определенном направлении. Она догадалась, что машину уносит поток стекающей воды, но это лишь усилило ее опасения. Машину могло загнать в какую-нибудь расщелину или в лучшем случае унести так далеко, что нам трудно было бы ее найти.

Марта вздохнула свободней лишь спустя несколько часов, когда заметила, что вода убывает, что под нею проступают проплешины холмов. Однако все попытки направить корабль к одной из таких проплешин кончались неудачей. Она уже слышала грохот потока, мчащегося по ущелью, и внутренне приготовилась к тому, что поплывет куда-то в неведомые края, как вдруг по счастливой случайности машина задержалась у скалы над самым входом в ущелье. Сообразительная женщина воспользовалась моментом и через открытое окно забросила канат на выступ скалы, чтобы уберечься от течения, которое ежеминутно могло вновь подхватить машину. К тому времени, как я появился, опасность уже миновала — вода настолько схлынула, что машина оказалась на суше.

Еще через несколько часов в котловине остались только лужицы, похожие на стеклянные окна среди зеленых зарослей.

Педро мы ожидали довольно долго. Привели его к нам собаки, бежавшие по моему следу. Он смерил нас подозрительным взглядом и, ни слова не говоря, принялся просматривать спасенные в машине припасы и снаряжение. Станный человек! Живу я тут с ним уже одиннадцать земных лет, а все еще случается, что не могу разобраться в его характере. Отвага, самоотверженность, решительность причудливо перемешаны в нем с необузданной страстью, с себялюбием, завистливостью, скрыт-

ностью и склонностью к меланхолии. Знаю лишь одно, что от Педро абсолютно всего можно ожидать.

Катастрофа нанесла нам довольно значительный ущерб. Многие необходимые вещи пропали в воде безвозвратно, многие с большим трудом удалось разыскать на обширной равнине. Палатку, унесенную водой, мы так и не нашли. Счастье еще, что, готовясь в путь, мы большую часть нашего имущества перенесли в машину. Но из этого наводнения мы извлекли и немалую пользу: уходящая вода показала нам путь на юг. Мы рассуждали очень просто: раз вода так быстро схлынула, то очевидно, что ущелье выходит к местам, расположенным ниже, и там, по всей вероятности, мы найдем какой-то обширный водный бассейн, большое озеро или море, а следовательно, и побережье, орошаемое дождями, и, стало быть, не безжизненное.

Задолго до того, как настало время отправляться, мы были полностью готовы.

Снаряженная машина стояла у самого входа в ущелье, открывавшееся перед нами, как врата в новый мир; оставалось только запустить электромотор при помощи аккумуляторов, заряженных еще в пору, когда у нас был огонь.

Мы исследовали заранее немалую часть дороги, пешком пройдя по ущелью. Это не был торный путь, тем более что недавнее наводнение местами глубоко изрыло почву, но все же по нему можно было продвигаться, не опасаясь чрезвычайных трудностей. Мы выжидали только подходящего времени, чтобы двинуться вслед за водой, схлынувшей на юг — в неведомый край удивительных чудес, долгих ночей которого никогда не освещает серебряный диск Земли, сверкающий над пустынями.

За сорок часов до наступления первой четверти Земли мы двинулись в путь. На невидимой стороне Луны, куда мы направлялись, еще стояла ночь, но Солнце вскоре уже должно было осветить эти края.

Не без тягостного чувства скорби и даже тревоги покидали мы Полярную Страну. Мы уже знали ее и понимали, что она может нам дать, а все, что нас ожидало, было тайной и догадкой. Снова предстояло нам терпеть палящее солнце долгих дней и холод ночей, которым конца не видно; снова предстояло проходить ущелья, горы, а может быть, и пустыни, направляясь в край, о котором мы совсем не знали, примет ли он нас, прокормит ли. Вдобавок нас очень тревожила нехватка топлива. Что будет, думали мы, если заряд в аккумуляторах кончится сверх ожидания быстро, раньше чем мы найдем какое-либо топливо и сможем развести огонь, запустить машину и вновь их зарядить? Успеем ли мы тогда пешком возвратиться до наступления ночи в Полярную Страну и укрыться от надвигающейся стужи, смертельно опасной для нас, не имеющих огня? Была такая минута в самом начале пути, когда мы из-за всех этих опасений чуть не решили вернуться в поросшую мхом полярную долину, чтобы провести там всю жизнь, греясь слабым теплом рассеянных в атмосфере косых лучей Солнца и питаясь, как земные животные, сырыми улитками и растениями. Но колебания были краткими, любопытство и надежда победили. Запаса провизии могло хватить нам надолго; взяли мы с собой также малую толику тщательно отжатого торфа, надеясь, что в солнечных местах нам удастся его настолько высушить, чтобы разжечь огонь. За первые двадцать-тридцать часов пути нам не встретилось ничего заслуживающего внимания. Ущелье кончилось, и мы

выбрались на равнину, которая походила на полярную, только была гораздо обширней. И здесь видны были следы недавнего наводнения; в лучах восходившего Солнца кое-где сверкали широко разлившиеся неглубокие лужи. Удивило нас, что растительность здесь стала уже иной, хотя мы удалились всего на несколько десятков километров от полюса. Среди уже знакомых нам растений — здесь они были чахлые, подернутые ржавой желтизной, — там и сям торчали из почвы какие-то тощие стебли, скрученные спиралью, словно молодые побеги земного папоротника. Холод сильно ощущался после ночи, которая в этих краях уже бывает, хотя, наверное, походит скорее на сумерки, потому что Солнце опускается всего на несколько градусов за горизонт. Мы согревались, хлопая руками, как делают на Земле возчики, но тут Марте пришлось в голову наломать этих стеблей и попробовать развести костер.

Мы немедленно принялись за работу; но каково же было мое удивление, когда стебель, за который я ухватился, стал то сжиматься, то развертываться, совсем как живое существо. Я выпустил его с невольным взгласом испуга, а оправившись от первого впечатления, принялся исследовать эти необычные растения. Срезав одно из них ножом, увидел, что это большой, длинный мясистый лист, скрученный двояким образом — сначала в трубку, а потом винтообразно, наподобие фулонов английского табака, — с коричневой внешней оболочкой, состоящей из мелких деревянистых чешуек. По внутренней светло-зеленой поверхности были рассеяны многочисленные розовые жилки. Это растение, пока оно оставалось живым, способно было сжиматься, подобно нашей мимозе. Однако больше всего меня заинтересовало то, что эти свернутые листья были значительно теплее, чем все вокруг, по-видимому, их организм благодаря каким-то биохимическим

процессам сам для себя вырабатывает в большом количестве тепло, которого ему не хватает во время длинных ночей.

Все это было весьма любопытно, однако надежда разжечь огонь в конце концов снова рассеялась. И мы с тоской обращали взоры к багровому Солнцу, ожидая, чтобы его скупые лучи поскорее обогрели местность.

К морозу прибавилась еще одна беда — мы не знали, какую именно избрать дорогу. Мы намеревались двигаться в том направлении, куда стекала вода, но его трудно было определить на равнине, сплошь залитой при наводнении. Пока мы раздумывали, оглядываясь вокруг, Педро заметил метрах в двухстах от нас какой-то большой белый предмет. Заинтересованные, мы двинулись в ту сторону и увидели свою унесенную водой палатку, которая лишь тут застряла на небольшом пригорке. Находке мы обрадовались вдвойне; прежде всего эта единственная наша палатка была нам действительно необходима, а кроме того, теперь можно было установить, в каком направлении стекала вода. Палатка попала на равнину через то же ущелье, по которому мы двигались, а следовательно, линия, протянутая от выхода из ущелья до места, где мы обнаружили палатку, более или менее точно определяла направление потока. Линия эта пролегла по равнине на юг с небольшим отклонением к западу.

Двигаясь в ту сторону, мы попали в узкое извилистое горное ущелье, а затем пересекли еще одну небольшую котловину и выбрались на широкую зеленую равнину, что тянулась к югу.

По обеим ее сторонам вздымались высокие цепи гор, изрытые многочисленными кратерами, похожими на те, которыми усеяно безвоздушное полушарие Луны. Вершины гор покрыты были снегом; снег, видимо выпавший ночью, лежал кое-где на равнине, лишь начиная таять под

лучами невысоко поднявшегося Солнца. Струящаяся из-под снега вода образовала целую речку, быстро бегущую по очень извилистому руслу.

В этой долине мы решили остановиться на некоторое время, ибо понимали, что, продолжая путь на юг в такую раннюю пору лунного дня, мы будем терпеть мучительный холод, так как в этих краях все заметней становится разница между средней температурой дня и ночи.

Когда мы снова двинулись в путь, Солнце прошло уже почти треть своей ежедневной дороги. Было ясно и тепло. Снег в долине совершенно исчез, а странные свернутые стебли, которые здесь уже преобладали над другими чахлыми растениями, под воздействием солнечного тепла начали быстро разворачиваться в огромные листья, окрашенные во все оттенки зеленого цвета. Форма их была чрезвычайно разнообразна: одни походили на гигантские веера, окаймленные нежной колеблющейся бахромой, другие же, испещренные яркими пятнами, преимущественно красными и темно-голубыми, напоминали какие-то сказочные павлиньи перья. Встречались и такие, края которых были изрезаны на манер листьев акантуса и усеяны колючками, и такие, что свертывались вниз, образуя воронки, и еще другие — гладкие и блестящие либо покрытые длинными желто-зелеными ворсинками, ниспадающими по обе стороны до самой земли, — словом, величайшее разнообразие красок и форм, и все это живое, движущееся, извивающееся при легчайшем прикосновении.

По берегу ручья, наполовину уходя в его кристально чистые струи, тянулись длинные водоросли, словно ржаво-зеленые змеи и канаты, как цветами увешанные снежно-белыми кругами с сильным, опьяняющим ароматом. А в тех местах, где вода разливалась пошире и течение замедлялось, фряска развертывалась из шариков, в форме

которых она перенесла ночные морозы, и покрывала водную гладь легчайшей трепещущей сеткой, похожей на изысканнейшие кружева из фиолетового и зеленого шелка. Мы были очарованы этим великолепием растительности; на каждом шагу замечали мы нечто новое и достойное внимания. Из зарослей начали выходить на солнечный свет престранные создания, вроде длинных ящериц с одним глазом и несколькими парами ног. Они с любопытством разглядывали нас и быстро прятались, когда машина приближалась к ним. Собаки погнались за одним из этих зверьков и изловили его. Мы отобрали у них добычу, но зверек был уже мертв, и нам оставалось только разглядывать трупик и изумляться неимоверно интересному строению его, решительно непохожему на строение земных организмов. Костяк его ограничивался одним продольным кольцом, составленным из подвижных позвонков, размещенных по обе стороны тела прямо под кожей. Весь череп состоял из мощных челюстей, мозг располагался под спиной, внутри кольца. То, что мы приняли за ноги, представляло собой два ряда упругих бескостных щупалец, при помощи которых животное перемещалось по земле с необычайной быстротой.

Позже мы обнаружили на Луне множество других удивительных созданий, но ни одно не поразило нас так, как это первое, весьма типичное для здешней фауны.

Вообще все это наше путешествие было словно волшебным сном, полным неожиданных и фантастических видений. Часы проходили за часами, а пейзаж перед нашими глазами непрестанно менялся. Местами долина реки сужалась, образуя скалистые теснины, сквозь которые мы пробирались с трудом, по самому берегу ручья, превратившегося уже в обильную шумную речку; потом мы вновь выбирались на просторные круглые долины, по которым река разливалась широкими озерами с песчаными

либо поросшими зеленью берегами. Живности встречалось все больше. Глубины вод кишели странными уродцами, в воздухе носились какие-то летающие ящерицы, издали похожие на птиц с толстой шеей и длинным хвостом. Но вот что необычайно — на Луне все животные немые. Здесь нет тех неисчислимых голосов жизни, что звучат среди земных полей и лесов, только шелестят под порывами ветра огромные листья здешних растений да журчат потоки, нарушая вечное безмолвие.

Буйная растительность неимоверно мешала нам продвигаться вперед. То и дело приходилось останавливаться и распутывать обвившиеся вокруг оси стебли, а иногда пробивались мы сквозь такие густые заросли, что машина прямо застревала в них. Огорчали нас эти задержки, тем более что и так уж очень медленно мы продвигались, часто останавливаясь то для сна и отдыха, то для разведки местности или поисков пищи и топлива. Пропитание мы находили в изобилии. Неоценимую услугу оказывали нам в этом собаки; беспрестанно шныряя в зарослях, они находили съедобные сочные растения или вкусных моллюсков. Много хуже было, однако, с топливом. Правда, торф, который мы набрали в Полярной Стране, высох и горел вполне хорошо, но его приходилось экономить, потому что запас был невелик, а мы не находили здесь ничего такого, чем можно было бы поддерживать огонь, когда торф кончится. Таких деревьев, как на Земле, здесь вовсе нет, а эти широкие листья-стебли так сочны, что кипят в огне, а не горят. Отсутствие топлива сильно тревожило нас, тем более что залежи, покрывающие чуть ли не весь простор Полярной Страны, остались уже далеко позади.

Тем временем приближался лунный полдень и нужно было окончательно решить, двигаться нам дальше или же из-за отсутствия топлива вернуться до наступления ночи

в полярные края. Сначала было у нас намерение возвратиться; особенно уговаривала нас Марта, страшаясь из-за Тома ночных морозов. Я тоже склонялся к возвращению, но Педро решительно воспротивился.

— Вернуться сейчас,— говорил он,— это значит обречь себя на пожизненное пребывание в полярных краях. Имейте в виду, сейчас у нас еще заряжены аккумуляторы, этого заряда хватит, чтобы пройти ту же дорогу обратно; а что будет потом? Если мы когда-нибудь и захотим вновь отправиться в другие области Луны, то как сможем без огня зарядить аккумуляторы?

— Но ведь путешествие на юг тоже ничего не дает,— заметил я,— а нам грозят ночные морозы, которых мы не выдержим без огня.

— До ночи мы можем еще найти топливо...

— Но можем и не найти.

— Да, однако это лишь предположение, а наверняка известно, что на полюсе мы его не найдем никогда. В конце концов, у нас есть еще немного торфа. С этим запасом мы в крайнем случае как-нибудь продержимся ночь а следующий день посвятим поискам.

Нельзя было не признать его правоту, а потому двинулись мы дальше по направлению к экватору.

Часов примерно через пятнадцать после полудня небо заволокло тучами и пошел сильный дождь. Он был для нас весьма желанным, ибо освежил знойную и душную атмосферу. Когда схлынули струи воды и Солнце выглянуло из-за туч, нас поразили необычайно сильный шум.

Сначала мы думали, что это шумит разлившийся поток, но вскоре поняли, в чем дело. Мы находились как раз в том месте, где долина, круто сворачивая на запад, образовала изгиб, так что дальнейшая ее часть исчезала из поля зрения. Когда же мы достигли поворота, перед нами открылся обширный и прекрасный вид.

В нескольких сотнях метров от нас долина внезапно обрывалась, спускаясь широкими террасами к необозримой равнине, тянущейся до самого горизонта. По этим террасам пенистыми каскадами ниспадал поток, образуя на них ряд уступами расположенных прудов, и наконец, достигнув долины, тянулся по ней извилистой серебряной лентой, исчезающей где-то в необъятной дали. Насколько хватало глаз, край этот был ровным и плоским, только вблизи окаймляющих его гор изредка вздымались кольцеобразные холмы, словно чаши, наполненные водой. Такие же маленькие круглые озерца, только с менее приподнятыми берегами, виднелись по всей равнине. Те, что поближе, казались громадными глазками павлиньего хвоста, более отдаленные походили на жемчужины, густо нашитые на сине-зеленый плюш. Между ними, как серебряные нити разной толщины, извивались ручьи, а может, и большие реки.

Мы вышли из машины и, стоя на краю террасы, долго смотрели в молчании на удивительную страну, что раскинулась перед нами. Первой заговорила Марта.

— Спустимся туда, — сказала она. — Там так красиво!

Действительно, там было красиво, но будет ли там хорошо? Готовясь к спуску по крутым террасам, мы невольно задавали себе этот вопрос.

После многих трудов очутившись внизу, мы оставили машину на берегу ручья и сразу же принялись искать какое-нибудь горючее. Мы исходили вдоль и поперек всю окрестность на несколько километров вокруг, копали глубокие ямы в надежде напасть на залежи торфа или каменного угля, рвали разные растения, проверяя, не годятся ли они на топливо, но все было напрасно. Оставалось лишь несколько часов до захода Солнца, когда, измученные и упавшие духом, мы отказались, наконец, от бесплодных попыток и поисков.

Положение наше было весьма тягостным, и мы начали уже сожалеть, что так легкомысленно покинули Полярную Страну. Страх пробирал при одной мысли, что станется с нами ночью. Торфа было немного, приходилось экономить чрезвычайно, чтобы хватило на всю ночь. Когда мы обследовали свои запасы, оказалось, что на каждые двадцать четыре часа приходится небольшая горстка, едва заполняющая маленькую переносную печурку.

— Но мы ведь замерзнем, если будем так экономно топить! — воскликнула Марта, когда мы показали ей приготовленные порции.

Педро пожал плечами.

— Если будем жечь больше, то замерзнем еще скорее — ведь торфа не хватает! Придется как следует укутаться.

— Зачем мы ушли из Полярной Страны! — причитала Марта. — Том не вынесет стужи — он такой маленький, несчастный.

— А, Том! — пренебрежительно процедил Педро сквозь зубы.

Я уже тогда заметил, что любое упоминание о ребенке невыразимо раздражало его. Меня это задевало вдвойне: прежде всего сам я горячо полюбил прелестного ребенка, а затем — я думал и о Марте. Страстно привязанная к сыну, она болезненно ощущала неприязнь Педро, и я не раз видел, как она бросала на него взгляды, в которых упрек сливался с инстинктивным страхом. Я заметил еще, что Марта никогда не оставляла ребенка с Педро, хотя мне часто поручала его, если должна была чем-нибудь заняться.

— Том здесь не самая важная персона, — продолжал ворчать Педро, — хоть бы он и замерз...

Обычно Марта сносила подобные замечания молча, но

тут она внезапно вскочила и с горящими глазами бросилась к Педро.

— Слушай, ты! — глухим голосом выкрикнула она, — Том здесь важнее всех, и он не замерзнет, потому что я раньше убью тебя и твоими костями истоплю эту печь!

Сказав это, Марта взмахнула перед его глазами маленьким индийским кинжалом, лезвия которых тамошние жители обычно смазывают ядом. Мы даже и не знали до этого времени, что у Марты есть это страшное оружие.

Педро невольно отступил. Сначала он пытался улыбнуться, но в голосе и взгляде Марты была такая страшная, неумолимая угроза, что он побледнел и тщетно пытался скрыть растерянность.

Чтобы замаять дело, я громко, хоть и несколько принужденно, рассмеялся.

— Ничего не скажешь, Марта заботится о своем сыночке! — воскликнул я. — Пойдем, Педро, подумаем, как спастись от ночных холодов, не жертвуя собственными костями на отопление.

План мой был довольно прост. Совместными усилиями мы выкопали большую яму, в которой легко могла поместиться машина, и, вкатив ее туда, еще накрыли сверху землей и нарезанными листьями. Теперь мы могли надеяться, что машина не станет терять много тепла и ее легче будет обогреть.

Солнце уже село, когда мы завершили, наконец, работу. Но мы пока не входили в машину — после долгого дня воздух был теплый и приятный; широкое красное вечернее зарево освещало медленно тонушую во мраке равнину, на которой лишь ближние озера еще сверкали, словно чаши, налитые ртутью или кровью, если падал на них отблеск заката.

Мы усадились на пригорке, неподалеку от машины, но

разговор как-то не клеился. Недавняя сцена произвела на нас глубокое впечатление. Поэтому, перебросившись какими-то незначащими фразами, мы замолчали, и тишину нарушал теперь только шум близких водопадов да сливающийся с ним голос Марты, баюкавшей ребенка протяжными и трогательными индусскими песнями.

Я задумчиво слушал это пение, глядя на меркнувшее во мраке зеркало озера, как вдруг негромкий возглас Педро оторвал меня от раздумий. Я вопросительно посмотрел на него, а он протянул руку в сторону равнины:

— Смотри, смотри!

На равнине творилось нечто странное. По мере того как небо темнело, внизу делалось все светлее. Сначала мелкие голубые искры рассыпались по берегу реки. Постепенно искр этих становилось все больше, они вспыхивали справа, слева, спереди — повсюду. Спустя полчаса сверкала уже вся равнина, словно подернутая пеленой голубоватого искрящегося тумана. Озера на ней казались черными пятнами.

Марта перестала петь и вместе с нами глядела на это волшебное зрелище.

Лишь через некоторое время я понял, что это фосфоресцируют странные растения-листья, которыми покрыты здешние равнины. Внутренняя их поверхность светилась, как светятся гнилушки в чащах земных лесов.

Это продолжалось недолго. Только мы успели насладиться необычайным зрелищем, как огоньки начали гаснуть один за другим. Листья закрывались от холода и свертывались на двухнедельный сон.

Выпала обильная роса — и пора нам уже было укрыться в надежно изолированной машине.

Ночь была морозная, но благодаря предпринятым мерам мы с нашим запасом торфа перенесли ее не так уж плохо. Мы ни на миг не выходили наружу, чтобы не те-

рять тепла. Через окна тоже нельзя было видеть, что делается снаружи, потому что машина, как я уже говорил, была плотно укрыта землею и листьями. На эти две ночные недели мы были абсолютно отрезаны от мира.

Только когда наши календарные часы показали время восхода Солнца, я отважился выглянуть наружу. Для безопасности я облачился в гермокостюм, толстая, специально обработанная оболочка которого отлично защищала от холода. Выйдя из машины, я убедился, что осторожность моя была не излишней.

Взглянув на равнину в первых лучах восходящего Солнца, я сначала не узнал ее. Все вокруг было покрыто толстым слоем искристого морозного снега. Зеркала озер исчезли под снегом, лишь кое-где светились матовые оконца льда. Мне показалось, будто меня внезапно перенесли в какой-то арктический край.

Я побыстрее вернулся в машину с известием, что сейчас выходить еще нельзя. Эта зимняя погода невесело нас настроила, ибо запас торфа был уже на исходе. И действительно, мы за всю ночь меньше страдали от холода, чем в начале дня, пока не настала «весна». Трое земных суток пришлось нам еще ожидать ее, и что хуже всего, обходясь уже под конец без огня. Но после семидесятичасовой борьбы с холодом Солнце наконец победило. Тающий снег стекал потоками, озера вышли из берегов, все реки и ручьи разлились, а когда мы немного спустя вышли наружу, то на просыхающей равнине уже разворачивались навстречу Солнцу огромные, бесконечно разнообразные листья, и только вершины гор еще были укрыты белым саваном.

С отправлением в дальнейший путь, о котором мы все время думали, приходилось подождать, чтобы земля хоть немного подсохла. Пока что мы снова принялись разыскивать топливо. Во время одной из вылазок, которые мы

предпринимали с этой целью во всех направлениях, набрали мы случайно на яму, нами же вырытую в предыдущий лунный день в надежде найти торф или уголь. Она была до краев залита водой. Я равнодушно миновал ее, но Педро, видимо пораженный чем-то необычным, остановился и начал пристально в нее вглядываться. Я отошел уже довольно далеко, когда услышал его голос:

— Ян! — кричал он, махая мне рукой. — Иди-ка, иди скорей, смотри!

Когда я подошел, Педро стоял на коленях, опираясь одной рукой о край ямы. Лицо его пылало от волнения.

— Что случилось? — воскликнул я.

Вместо ответа он зачерпнул горстью странную, прязновато-желтую воду и сунул мне ее прямо под нос.

— Нефть! — радостно закричал я, почуяв знакомый резкий запах.

Педро кивнул, торжествующе улыбаясь. Чтобы проверить, не обманываемся ли мы, я обмакнул в жидкость носовой платок и зажег его. Он вспыхнул ярким алым пламенем, которое мы оба созерцали словно радугу, предвещающую нам новую жизнь.

Мы немедленно кинулись к Марте, чтобы поделиться с ней этой доброй вестью.

Находка эта имела для нас огромное значение. Теперь мы могли отправляться дальше на юг или оставаться здесь, уже не опасаясь ни морозных ночей, ни отсутствия горячей пищи. Несколько десятков часов мы посвятили тому, чтобы набрать как можно больше этой благословенной жидкости. Для этого мы выкопали еще несколько глубоких ям и собирали скопившуюся в них нефть, куда только было возможно. К полудню все наши резервуары уже были заполнены. Затем мы посоветовались, что предпринять дальше. Осмотрительней всего было бы оставаться на месте, поблизости от нефтяных

источников, но мы не могли совладать с искушением продвинуться дальше, к морю, которое, судя по всему, находилось не слишком далеко. Кроме любопытства, в пользу этого путешествия говорило еще и то обстоятельство, что на побережье климат значительно смягчен влиянием большого водного бассейна. Суточные колебания там будут менее резкими, хоть мы и приблизимся к экватору. В конце концов, у нас был теперь такой солидный запас топлива, что с ним мы могли отважиться даже на пробное путешествие, ибо в случае неудачи сумели бы вернуться к нефтяным источникам, которые нетрудно будет отыскать, возвращаясь вверх по течению реки.

Этот день и следующую ночь мы провели еще на том же месте, на краю Равнины Озер, как называли мы эту огромную территорию. Начало путешествия мы отложили на следующий день, считая, что нам будет значительно удобней иметь впереди триста с лишним светлых часов, в течение которых не придется прерывать пути из-за тьмы и холода. Но зато, едва лишь горные снега зарумянились под первыми лучами, мы двинулись в путь, не ожидая даже восхода Солнца, хотя мороз изрядно давал себя знать.

Утренний — или, как следовало бы тут говорить, — весенний паводок застиг нас примерно в ста километрах от того места, где мы останавливались шесть недель назад по земному счету. Сначала оттепель очень нас беспокоила; прунт размяк до такой степени, что продвигаться стало просто невозможно. Однако вскоре мы сообразили, что если заменить колеса подвижными лопастями и установить подходящий руль, то машина легко превратится в плавающий корабль, а поэтому вовсе нечего было бояться паводка — наоборот, мы даже могли им воспользоваться, чтобы плыть по стержню вздувшегося потока. Это была весьма счастливая идея, тем более что поток слу-

жил путеводной нитью, которая должна привести нас к морю. Вдобавок мы экономили массу горючего, ибо сильное течение несло нас с такой быстротой, что не приходилось пускать в ход машущие лопасти.

Весь долгий лунный день мы так и провели на волнах, лишь изредка причаливая к берегу то для отдыха, то для того, чтобы исследовать заинтересовавший нас прибрежный участок.

Прежде чем паводок схлынул, мы продвинулись далеко вниз по течению; поток здесь превратился уже в большую реку, русло которой было даже чересчур глубоко для нашего маленького кораблика.

Вид и характер местности непрерывно менялись. Некоторое время плыли мы посреди обширной и с виду довольно сухой степи, покрытой низкорослой, чахлой растительностью, совсем непохожей на великолепные листья-кусты, что росли выше по течению. Было нечто безмерно печальное в однообразных пейзажах этой унылой равнины.

Мы уже оставили далеко позади кольцеобразные пригорки, до краев налитые водой, и круглые озерца со скалистыми, едва поднятыми над водой берегами среди холмов, похожих на стога сена. Теперь слева и справа простиралась ржаво-зеленая равнина, на которой местами выделялись лишь фиолетовые лужайки, поросшие какими-то мелкими псевдоцветами, да осыпи желтого песка на невысоких склонах. Река здесь разливалась широко и текла так лениво, что мы запустили мотор, приводящий в движение лопасти, чтобы ускорить свое путешествие.

Вскоре после полудня мы приблизились к скалистой гряде, замыкавшей эту степь с юга. Река здесь на протяжении нескольких километров была так зажата с обеих сторон скалами, что плавание становилось весьма опасным. Течение то и дело подхватывало нас и швыряло ко-

рабль на подводные камни. Мы уцелели лишь благодаря прочности снаряда, теперь превращенного в корабль.

Сразу же за этими каменными воротами река разливалась в большое озеро, холмистые берега которого, покрытые буйной растительностью и изрезанные заливами, представляли собой один из прекраснейших пейзажей, виденных нами на Луне.

Не успели мы пересечь озеро, как небо, до тех пор почти всегда ясное, внезапно заволокло темными тучами. Сначала мы обрадовались этому, потому что невыносимый зной уже порядком докучал нам, но вскоре встревожились, предчувствуя приближение бури. Уже слышны были отдаленные мощные удары грома, а небо на юге то и дело озарялось кровавыми молниями. Нам едва хватило времени, чтобы укрыться в маленьком заслоненном холмами заливе, как буря разразилась вовсю.

На Земле я знал страшные тропические грозы, но все же ничего столь чудовищного не мог себе представить. Оглушительные удары грома сливались в немолкнущий грохот, молнии непрерывно сверкали у нас перед глазами, словно струны какой-то огненной арфы, плотно натянутые между небом и землей. Дождь... нет! Это уже был не дождь! Потоп, хлынувший из туч, превратил всю атмосферу в висячее озеро, терзаемое яростными вихрями. Воздух, смешавшийся с дождем и волнами, взлетающими под ветром, был так насыщен электричеством, что временами вспыхивал сам по себе, и тогда возникало перед нами странное, дьявольское зрелище: под тучами, кроваво подсвеченными снизу, воздух светился, как прозрачное пламя, и огромные, в кулак величиной, капли воды сверкали в нём, словно кипящий, расплавленный металл.

Временами буря внезапно стихала, тучи, будто раздвигающийся занавес, открывали Солнце и голубое не-

бо; но едва мы успевали перевести дух, как небо вновь чернело, и под натиском ужасающего циклона, мчащегося с юга, снова начинали грохотать громы и хлестать струи бьющей из туч воды.

Продолжалось все это с перерывами около сорока часов. Измученные, оробевшие, ошеломленные, глядели мы на эту чудовищную борьбу огня, воды и воздуха. Корабль мы привязали канатами к каким-то торчащим из берега корням, опасаясь, чтобы залив, временами метавшийся под нами, как дикий зверь в предсмертных судорогах, не вышвырнул нас в открытое озеро на произвол вихрей и волн.

Наконец все утихло, небо прояснилось, и вот уже только бурные потоки шумели среди холмов, вздымая еще зыблущуюся поверхность озера.

Вода неимоверно поднялась. Нам пришлось ждать еще более двадцати часов, прежде чем она схлынула настолько, что можно было отважиться на дальнейшее путешествие. Теперь мы плыли куда быстрее, течение разлившейся реки весьма ускорилося. Всюду виднелись следы страшного опустошения: целые участки почвы были смыты водой; огромные, странные растения, которые образовали здесь уже целые леса неимоверно перепутанных листьев и длинных, толстых и мясистых стеблей, местами были прибиты к земле и истерзаны ветром. Из каждой расщелины низвергались каскады мутной воды; на равнине стояли широкие лужи, вокруг которых собиралось множество самых разнообразных, большей частью уродливых существ, похожих на рептилий.

Ныне, когда мы уже обжились на Луне, нам известно, что здесь эти ужасающие бури — явление повседневное в буквальном смысле слова. Они возникают вследствие немыслимой жары, царящей в послеполуденную пору и, несмотря на свою чудовищность, являются

благом для этого мира, потому что освежают воздух и пересыхающую почву. Если б не они, жизнь тут была бы невозможной.

Я не буду описывать наше послеполуденное путешествие — оно протекало без происшествий. Только ландшафт непрестанно менялся, а с ним и растительность, хотя следует заметить, что на этой планете, не имеющей четко выраженных климатических зон, флора значительно однообразней, чем на Земле.

Уже близился вечер, когда мы достигли места, где река, замедлив бег, широко разливалась и появились многочисленные мели, чрезвычайно затруднявшие плавание. Мы поняли, что это знаменует приближение устья.

— Увидим море,— переговаривались мы, обращая взоры к Солнцу, словно хотели проверить, хватит ли нам дневного света, чтобы добраться до этой желанной цели.

Но тем временем плавание наше становилось все более мучительным. Несколько раз садились мы на мель и, наконец, решили вновь превратить корабль в машину и двинуться дальше по сухопутью.

Закат настиг нас у подножия невысоких песчаных дюн, скудно поросших каким-то подобием травы. Мы предчувствовали, что за этими дюнами уже простирается море; нам даже порой казалось, что мы слышим мощный приглушенный рокот волн и ощущаем острый запах морской воды. Поэтому, гонимые нетерпением, мы не прерывали пути, хотя уже наступали сумерки.

Мрак уже основательно сгустился, когда мы наконец взобрались на гребень этих песчаных дюн. Мы напрягали зрение, чтобы увидеть море, но ничего не удавалось разглядеть. Сверкали перед нами на плоской низменности призрачно фосфоресцирующие растения; с востока, откуда доносилось какое-то бульканье и словно бы плеск взлетающей воды, ползли густые белые испарения или

полосы тумана, как призраки, блуждающие по светозарным лугам. Мы сначала не знали, что делать — оставаться на ночь наверху или спускаться вниз, — но тут внезапный порыв ветра развеял пелену испарений и мы увидели, что невдалеке от нас по широким скальным террасам стекает поток, образуя небольшие естественные бассейны на каждом уступе. Это видение длилось лишь миг, ибо завеса пара тут же вновь скрыла воду, и только плеск да бульканье по-прежнему доносились до нашего слуха. Нас удивило необычайное обилие и плотность испарений, и мы направились к бассейнам. Вскоре мы очутились в густом теплом тумане. Колеса машины громыхали теперь по камням.

Когда ветер снова разогнал испарения, мы увидели, что находимся прямо на берегу одного из бассейнов. Теплое влажное дуновение скользнуло по нашим лицам.

— Горячие источники! — воскликнули мы.

Действительно, где-то неподалеку, видимо, находились горячие источники, ибо температура воды в бассейнах была двадцать с лишним градусов по Цельсию. Не время было сейчас, в темноте, исследовать местность; мы лишь решили воспользоваться счастливым случаем и провести морозную ночь у этой воды, которая поставляла нам достаточно тепла.

Ночь была довольно беспокойной. Через четверо земных суток после захода Солнца выпал обильный снег, и ледяной ветер начал пронизывать нас насквозь так, что для спасения от стужи нам пришлось столкнуть машину в теплую воду бассейна. Тьма была непроглядная. Лишь изредка, когда ветер разгонял клубящиеся над водой испарения, мы видели сверкающие в небе звезды. В эти мгновения появлялась также широкая полоса голубоватого света, бегущая на юге по краю горизонта. Нас удивляло это свечение, так долго не исчезавшее в ночи,

хотя фосфоресцирующие растения, которые мы сначала сочли его источником, давно уже свернулись. Это загадочное сияние угасло лишь далеко за полночь, когда мороз вдали от источников был уже, наверное, чрезвычайно крепким. Однако же прежде, чем это произошло, нас встревожило нечто иное. А именно, около полуночи мы ощутили сильное волнение воды, которому сопутствовал глухой подземный грохот. Почти одновременно разглядели мы сквозь туман кровавое зарево на востоке, столбом вздымающееся к небу. Несколько часов спустя оно погасло, но потом разгорелось вновь и так с небольшими перерывами стояло в небе четверо земных суток, словно страшный, адский призрак, возникающий в тумане и мраке над снежной пустыней.

Температура воды в бассейне, колеблемом непрерывными сотрясениями почвы, в это время несколько повысилась, так что мы страдали теперь скорее от избытка тепла, чем от нехватки его.

Уже ночью, созерцая это явление, которое нас сначала встревожило и даже напугало, мы догадались, что где-то поблизости находится вулкан, извержение которого мы как раз и видим. В этом убеждало и само существование горячих источников, которые чаще всего появляются в вулканических местностях.

Приближавшийся день подтвердил наши догадки. Сначала мы ничего не могли разглядеть, хоть и посветлело, потому что из-за холода еще не покидали бассейна, а испарения застилали перед нами окрестность. Лишь через сорок часов после восхода Солнца мы причалили к каменистому южному берегу бассейна и вышли из машины.

Первые несколько шагов мы сделали еще в густом тумане, и вдруг словно взвился волшебный занавес — перед нами открылся широкий простор.

Мы застыли на месте, охваченные изумлением и восторгом. Метров на десять ниже, в двух-трех километрах от нас простиралось море.

Это его тускло фосфоресцирующие волны так долго светились в ночи сквозь туман и мрак.

Теперь мы видели его ясно. Еще скованная льдом у берега, но дальше уже подвижная и колышущаяся, позолоченная солнцем необозримая водная гладь простиралась куда-то за край горизонта.

В первое мгновение мы были так захвачены этой долгожданной картиной, что не могли оторвать от нее глаз. Лишь потом, насытившись этим великолепием, которого не видели с момента разлуки с Землей, мы начали оглядываться вокруг. На западе среди обширной равнины поблескивало широко разлившееся и разделенное многочисленными песчаными грядами устье реки, по которой мы плыли почти весь последний день. На востоке ландшафт поражал буйством и многообразием форм. Прежде всего привлекал взоры поднебесный заснеженный конус вулкана, величественно царившего над окрестными горами в радиусе нескольких десятков километров. Южные склоны этих гор, спускающихся к морю, чернели густыми лесами странных, огромных, неимоверно перепутанных листообразных кустов и вьющихся растений, которые в этот час разворачивались, возвращаясь к жизни после ночного сна. Поближе к нам среди фантастических нагроможденных скал и небольших дымящихся озер били бесчисленные жемчужные гейзеры, окутанные облаками белого пара. Рождающийся от них поток прыгал по террасам, кружил в бассейнах и опять бежал, журча по камням, все ниже, пока не исчезал под конец в гуще зарослей, стремясь к морю.

Здесь предстояло закончиться нашей одиссее.

III

Десять земных лет миновало с той поры, как мы прибыли на берег моря, где живем и сейчас. Мало что изменилось здесь за эти годы. Все так же шумит море и так же долго светятся по ночам его искрящиеся волны; время от времени повторяются извержения вулкана, который мы называли Отеймором в память о нашем дорогом друге; все так же бьют гейзеры и журчит по камням ручей... Только над одним из бассейнов поднимается теперь зимний дом на сваях, а пониже, на берегу моря, стоит шалаш, который служит нам летним жилищем, да на песчаном побережье либо на лугах резвятся четверо детей, собирая раковины и цветы или играя с собаками.

И мы уже привыкли к этому миру. Нас не удивляют ни долгие морозные ночи, ни дни, во время которых лениво ползущее Солнце пышет огнем с небес; страшные послеполюденные бури регулярно, каждые семьсот девять часов проходящие над нашими головами, перестали пугать нас; на этот дикий, фантастический пейзаж, на растительность, столь непохожую на земную, на уродливых и неуклюжих лунных животных мы глядим как на нечто хорошо знакомое и естественное. Зато Земля в наших воспоминаниях становится все более похожей на сон, который миновал и оставил лишь какой-то неуловимый, грустно-мечтательный след в памяти.

Иногда мы садимся на берегу моря и долго, долго говорим о ней... Мы рассказываем друг другу о коротких земных днях, о земных лесах и птицах, о людях и о странах, в которых они живут, о множестве незначительных, но знакомых вещей — словно о чем-то безмерно интересном и только в сказке услышанном. Том уже большой, умный, он слушает все это действительно как сказку. Он никогда не был на Земле...

В конце концов, жизнь свою мы устроили здесь вполне сносно. У подножия Отеймора на рыхлой вулканической почве мы нашли вьющиеся растения, мощные толстые корни которых могут, на худой конец, заменить земное дерево. Высушенные и очищенные от деревянистых чешуек огромные листья, необычайно плотные и прочные, заменяют нам кожу, а из волокон других растений мы ткем себе нечто вроде толстого и мягкого холста. После долгих поисков мы нашли на равнине за рекой залежи бурого угля и открыли более близкие источники нефти. Железо, серебро, медь, сера и известь имеются здесь в изобилии; море поставляет нам множество очень полезных раковин и янтаря, который отличается от земного лишь пламенно-алой окраской.

Пищу мы тоже добываем в основном из моря. Тут водятся различные странные ракообразные, вполне съедобные, и еще какие-то не то рыбы, не то ящерицы, весьма питательные и вкусные. Кроме того, в прибрежном песке и в зарослях мы собираем яйца — ни одно из здешних созданий не является живородящим, все несет яйца, до невероятия морозоустойчивые и очень быстро созревающие на солнце, — либо же готовим вкусные и сытные блюда из нескольких видов растений, которых здесь изобилие.

Вначале нам досаждало отсутствие мясной пищи, но теперь мы уже привыкли. Мясо всех здешних животных жилистое и такое вонючее, что есть его невозможно. Только собаки им не брезгуют.

Прошло несколько лунных суток, пока мы тут маломальски обжились. Прежде всего принялись мы за поиски строительного материала и топлива, а потом поставили на сваях, вытесанных из мощных корней, зимний дом над тем самым озерцом с горячими ключами, на котором провели в машине первую ночь. По окончании этой

наиболее важной работы начались дальние походы. Мы совершали их преимущественно пешком, погрузив припасы и инструменты в тележку, запряженную собаками. Собаки тут для нас — единственные рабочие животные; из лунных обитателей мы разводим только один вид больших крылатых ящериц, которые несут крупные и вкусные яйца.

Временами мы отправлялись по морю, плывя вдоль берегов; к западу побережье плоское и песчаное, зато на востоке оно изрезано множеством мысов, которые представляют собой выступы вулканических гор и разделены глубокими, далеко уходящими в сушу заливами. Почти каждая такая поездка по воде или по суше приносила какую-то пользу, мы открывали нечто новое, что могло нам пригодиться, или по крайней мере узнавали особенности и тайны мест, где мы проживем, видно, уже до самой смерти.

Через тринадцать лунных суток, то есть земной год нашего пребывания у моря, мы уже очень хорошо изучили здешние края, а кроме жилого дома, имели мастерские, маленькую плавильную печь, склады, помещение для собак — словом, все, что было нам здесь необходимо. Кончился период лихорадочной напряженной деятельности, и понемногу подступила к нам скука и то, что страшнее скуки, — тоска по оставленной Земле. Ужасная это была для нас пора; помню, что мы никак не могли с этим справиться. Днем мы еще разведывали местность, в одиночку бродя по горам или пополняя запасы продовольствия — что нетрудно было делать, — но долгими ночами нас охватывало отчаяние. Запертые в маленьком домике над теплым озером, вялые и бездеятельные, мы только старались как можно больше спать.

Но и это не всегда удавалось. Тогда мы сидели молча, подавленные скукой и тоской, испытывая взаимную не-

приянь. Это истина, одна из самых несомненных,— ничто так не отталкивает людей друг от друга, как страдание и скука. К сожалению, я имел возможность неоднократно убедиться в этом. Можно было бы, правда, кое-чем заняться, внести какие-то улучшения в наш быт, подумать о будущем, но нас лишила энергии мысль, что мы обречены здесь на вымирание. На Земле люди даже не понимают, что большая часть их энергии порождается убеждением, порою подсознательным, что работают они не только для себя, но и для тех, кто придет после. Человек хочет жить — вот и все. А между тем неумолимая смерть стоит у него перед глазами, и если б он не сыскал увертки, не наловчился обманывать ее,— а может, только себя? — ей-богу, я не верю, чтобы в его голове могла возникнуть иная мысль, кроме этой, страшной и парализующей: я умру! Есть разные лекарства: вера в бессмертие души, вера в бессмертие человечества и дел людских. Человек делами своими продлевает собственное существование, ибо если он и думает иной раз о тех столетиях, когда его уже не будет, то представляет себе, что все же останутся тогда какие-то следы его дел; и так, в мыслях своих, он присутствует в том будущем, которого уже не увидит при жизни. Но для этого человеку нужно знать, что после него будут жить люди и что если они даже не вспомнят его имени, то хотя бы, не зная о том, воспользуются плодами его трудов. Это — необходимое условие для того, чтоб дела его жили. Ведь дела человеческие, как сами люди: они живут или умирают. Дело, которое не вызывает никаких изменений ни в чьем сознании, мертво.

Все это мысли чрезвычайно простые и естественные, но осознал я их для себя целиком и полностью только на Луне, во время тех долгих бездейственных и безнадежных ночей в начале нашей жизни у моря.

Не раз думал я: хорошо было бы исследовать пределы этой большой воды, изъездить этот край вдоль и поперек, изучить здешние горы и реки, сделать карты, описать растения, животных и минералы, но тут же вставал передо мной язвительный вопрос: а кому это нужно? В самом деле, кому это нужно,—думал я,—кому расскажу я то, что узнаю, кому оставлю то, что запишу? Тому?.. Но ведь и маленький Том умрет так же, как я,—немного позже, правда, но это дела не меняет: он будет последним человеком в этом мире, где мы были первыми. Вместе с ним кончится все...

Сознание этого парализовало все мои действия,—и когда я намеревался исследовать этот удивительный край и это море, которым налита Луна, как серебряная чаша, сухим донцем обращенная к Земле, и когда я собирался построить более прочный дом, оборудовать новые, усовершенствованные мастерские, разбить сад, устроить зоопарк—словом, когда думал о благосостоянии нашего маленького хозяйства.

И вот тогда мы с Педро ощутили необходимость положить здесь начало новому человечеству, и взор наш снова обратился к Марте. Я пытаюсь сейчас оправдаться в этом перед самим собой, ибо знаю, что это было преступлением и эгоизмом. Я и тогда это видел, но... но... Человек хочет жить как угодно, любой ценой, но лишь бы жить — и все тут!

Было нечто ужасное в нашем решении, тем более что приняли мы его холодно и трезво. По крайней мере я...

Меня привязывала к Марте какая-то великая любовь, тихая и нежная; но то время, когда я желал ее для себя, для своего наслаждения и счастья, миновало уже давно и, как казалось мне, бесповоротно. Я и сам не знаю почему... Иногда кажется мне, лишь потому, что, полюбив Марту настоящей любовью, я понял, что она меня не

любит и никогда не будет любить, ибо навеки поглощена мыслью о том умершем и возродившемся в ее сыне.

Нет, не о Марте думал я тогда прежде всего, а о детях, о маленьких, веселых девочках, на которых, когда они вырастут, Том сможет жениться и положить этим начало новому человечеству. Я мечтал об этом, как о величайшем счастье, — ведь тогда труды наши не пропадут зря, и всем, что мы откроем или сделаем, будут пользоваться те, кому из поколения в поколение, долгие века суждено жить на лунном шаре.

Я не хочу сказать, что эти мечтания мои были полностью безличными. Конечно, думая о детях, я невольно представлял себе, что это мои дети, а за их веселыми, улыбающимися личиками возникал тихий, добрый, спокойный облик Марты, моей Марты... Томительные это были мечтания, даже мучительные — ведь они казались мне такими неосуществимыми...

А потом я вновь попрекал себя, глядя на этот все же негостеприимный и не для человека созданный лунный мир. Какова же будет, — думал я, — судьба человечества, которое мы легкомысленно хотим оставить здесь для того, чтобы придать цель нашим действиям и смысл нашей собственной жизни? Я уже достаточно изучил эту планету, чтобы понимать, что человечество никогда не сможет развиваться здесь так, как на Земле. Человек всегда останется тут назойливым пришельцем, который явился непрошеным и — слишком поздно. Да, слишком поздно. Луна все же планета умирающая.

Глядя на здешнюю жизнь, существующую на такой ничтожно малой части планеты, на растения, будто бы и роскошные и буйные, но куда менее жизнеспособные, чем земные, на животных — диковинных, но измельчавших и бессильных, я не мог избавиться от ощущения, что вижу великолепие заката. Тут жизнь перестала уже

развиваться, она созрела, даже перезрела и ждет своего конца. И вот природа, трудясь здесь на много веков дольше, чем на Земле (ведь Луна, будучи меньше Земли, раньше остыла и стала «миром»), не сумела создать разумного существа, а если и создала, то его время миновало безвозвратно. И это наилучшее доказательство того, что лунный мир, тем более сейчас, не предназначен для таких существ.

Человеку здесь всегда будет тесно и скверно.

Такие раздумья занимали мой ум, но чувства всегда сильнее, чем абстрактные умозаключения: несмотря ни на что, я всем сердцем желал, чтобы после нас здесь остались люди. Иногда я обманывал себя и пытался оправдать это эгоистическое желание тем, что хочу создать человечество для Тома, чтобы спасти его от самой страшной доли: быть человеком одиноким, последним. Но это неправда — я хотел нового поколения для себя.

Не знаю, что думал Педро и что он чувствовал, но это желание владело им наверняка не менее сильно. Немало времени прошло, прежде чем мы заговорили об этом. Помню, было то однажды на закате; Марта с Томом на руках пошла к источнику, а мы оба молча сидели на морском берегу.

Педро долго смотрел вслед Марте, а потом начал потихоньку считать, сколько лунных суток мы уже прожили.

— Двадцать третий закат,— произнес он наконец вслух.

— Да,— ответил я, не вдумываясь,— двадцать третий, если считать и дни, проведенные на полюсе, где закатов, правда, не было.

— И что же дальше? — спросил Педро.

Я пожал плечами.

— Ничего. Еще несколько закатов, может быть, не-

сколько десятков, может быть, несколько сотен — и конец. Том останется один.

— Я не о Томе забочусь,— сказал он. А немного погодя добавил: — Так или иначе, дела плохи.

Мы долго молчали, потом Педро заговорил вновь:

— Марта...

— Ну да, Марта,— повторил я.

— Надо ведь как-то решить?

Мне показалось, что я вновь уловил в его голосе интонацию, памятную мне со времен страшного пути через Море Холодов после смерти Вудбелла. Глухой протест шевельнулся в моей душе. Я быстро глянул в глаза Педро и подчеркнуто произнес:

— Надо.

Он как-то странно усмехнулся и ничего не ответил.

В тот день мы больше не говорили на эту тему.

Долгая ночь прошла в молчании и скуке. Том слегка прихворнул, и встревоженная Марта все время возилась с ним. Мы созерцали ее безграничную материнскую нежность, и, кто знает, не тогда ли именно зародился в нашем подсознании гнусный план сыграть на любви к ребенку, чтобы заставить Марту подчиниться нашим желаниям. Во всяком случае, эта пустая и тоскливая ночь убедила нас, что нужно, в конце концов, «как-то решить».

Утром следующего дня мы с Педро отправились в леса у подножия Отеймора. В дороге мы договорились окончательно: один из нас женится на Марте, а другой дает обещание никогда не становиться ему поперек дороги.

«Один из нас!» — мысленно повторял я с какой-то тоскливой, болезненной тревогой.

Когда эти слова произносил Педро, они звучали как угроза. Не знаю, может, я ошибся, но так мне казалось. Выбор между нами двумя мы решили предоставить

Марте, а если она категорически откажется выбирать, то мы будем тянуть жребий. Педро настаивал, правда, чтобы сразу решать дело жеребьевкой, утверждая, что Марта не захочет выбирать, но я решительно воспротивился этому и вынудил у него обещание сначала спросить Марту. Он согласился неохотно и, сказав наконец «да», загадочно усмехнулся, а в глазах у него мерцали странные недобрые огоньки.

Вернувшись в дом, мы долго еще оттягивали решительный разговор — слишком уж были уверены, что Марта неприязненно отнесется к нашим планам. Педро все время ходил задумчивый и угрюмый, делая вид, что чем-то занимается, а я бродил по берегу моря, и сердце мое переполняла необъяснимая тревога. В этот день должна была решиться судьба каждого из нас.

Наконец наступил полдень, знойный и душный. Солнце, стоявшее на небе почти полтора часа, пылало нестерпимым зноем, от которого никли растения, ожидая живительных дождей. Над морем с юго-востока, там, где Солнце уже миновало экватор, собирались густые черные тучи. Воздух висел под ними недвижно и тяжело; но время от времени уже срывался яростный краткий вихрь, бил о берег волнами, ерошил леса, сбивал жемчужные фонтаны гейзеров и выл среди скал, предвещая ежедневное время бурь.

Из летнего домика на берегу мы перебрались в пещеру около гейзеров, обычно служившую нам прибежищем во время бури. Когда мы все трое сидели там у входа, а маленький Том, цепляясь за колени матери, пытался на собственных ногах проковылять вокруг этой опоры, Педро многозначительно глянул на меня, а затем с выражением внезапной решимости обратился к Марте.

Я почувствовал, как заколотилось мое сердце, даже горло сдавило. Приближение грозы всегда возбуждающе

влияло на нас, а теперь к этому добавилось и лихорадочное нетерпение при мысли о близком и решительном, таком важном разговоре с Мартой. У Педро это неестественное состояние выражалось особенно резко: расширенные зрачки его беспокойно сверкали, он дышал быстро и нервно, на скулах рдели красные пятна. Я смотрел на него, затаив дыхание, а он без предисловий и подготовки так и спросил напрямик:

— Марта, кого из нас ты предпочитаешь?

Марта, захваченная врасплох этим внезапным вопросом, казалось, не сразу поняла, о чем идет речь. С изумлением поглядела она на меня, на него, потом снова на меня и презрительно пожала плечами.

Педро повторил:

— Марта, кого из нас ты предпочитаешь?

Его взгляд, неотступно на нее устремленный, верно, сказал ей больше, чем этот вопрос, — она побледнела, внезапно все поняв, и с легким вскриком вскочила с места. В ее руке вновь сверкнул кинжал, которым она однажды уже грозила Педро.

— Из вас? Никого! — крикнула она.

Педро шагнул к ней.

— И все-таки ты должна выбирать и... выбрать, — с нажимом произнес он.

Ее ресницы затрепетали в немом отчаянии, как вспугнутые птицы. Мне почудилось, что на мгновение, на краткое, мимолетное мгновение глаза Марты остановились на мне с какой-то нерешительной мольбой или колебанием — но нет! это мне лишь почудилось, это наверняка мне лишь почудилось, ибо в тот же миг Марта взмахнула кинжалом и твердо проговорила:

— Не выберу, и хотела бы я видеть, кто из вас осмелится подойти ко мне! Не хочу никого!

И снова, помню, показалось мне, что последние слова

в ее устах как-то странно смягчились, а взор ее снова встретился с моим — но это, несомненно, была лишь иллюзия. Я был тогда так взволнован... Боже мой, хочу верить, что это мне показалось!

Когда Марта вскочила, Том уселся на полу пещеры и с любопытством смотрел на всех нас. Педро положил руку ему на голову.

— Прочь! — тревожно закричала Марта. — Прочь! Не подходи к нему! Он мой!

Педро не пошевелинулся. Касаясь пальцами головки ребенка, он упорно глядел на Марту с язвительной улыбкой.

— А что будет с Томом? — спросил он наконец.

Марта заколебалась.

— С Томом? Что будет с Томом? — повторила она почти безотчетно.

— Ну да, когда мы умрем, а он останется один...

Эти слова как громом поразили Марту. Глаза ее расширились, словно она внезапно увидела пропасть, о которой до сих пор не подозревала; потом она глубоко вздохнула и села, видно ощутив, что сил не хватает.

— Да, что будет с Томом... — шепотом повторяла она, с беспомощным отчаянием глядя на ребенка.

А Педро начал ей втолковывать, что ради любви к Тому она должна выбрать одного из нас. Ведь не захочет же она обресть своего любимого сыночка на страшную одинокую смерть, а до этого на еще более страшную одинокую жизнь? Что же он будет делать, когда мы умрем? Осиротевший, печальный, одичавший, будет он одиноко блуждать по этим горам и по берегу моря, последний человек, единственный человек на планете, думая об одной лишь неизбежности — о смерти.

Настанет миг, когда он проклянет мать, породившую его. Не имея собеседника, он забудет людскую речь. Он

будет терять одно за другим слова, которым научился от нас, как рассыпают, не задумываясь, по пустыне деньги, на которые ничего не купишь. Может, под конец в его памяти удержатся несколько последних бесполезных слов, звуком которых он станет тешить себя, хоть будут это, наверно, страшные слова, выражающие ужас, одиночество, сиротство и тоску. Когда он придет в отчаяние, никто не утешит его; когда будет нуждаться в помощи, ему никто не поможет. Если он заболеет, у его ложа встанет только страшный, насмешливый призрак голодной смерти. И тут даже собаки — более счастливые, чем он, потому что смогут здесь плодиться и размножаться, — даже они покинут своего хозяина, неспособного уже им приказывать. Быть может, одна, самая верная, которая была ему другом и спутником в одиночестве, останется с ним дольше, пока не испугается его мертвых глаз, наполненных последним отчаянием, и не начнет протяжно и долго выть со страху. Другие, уже одичавшие, сбегутся на ее голос и... устроят себе пиршество над теплым еще трупом последнего человека на Луне.

Он говорил еще долго, рисуя все ужасы, на которые будет обречен Том после нашей смерти, а я, накажи меня бог, я помогал ему измываться над этой женщиной и убеждал ее, что ради Тома она должна выбрать одного из нас...

Марта слушала все это, не говоря ни слова. Только на ее лице, вначале изумленном, сменялись поочередно страх, отчаяние, подавленность, покорность.

С юга уже доносились первые далекие раскаты надвигающейся грозы... Марта сидела молча.

Мы наконец выговорились, и Педро спросил, согласна ли она выйти замуж за одного из нас, но Марта, казалось, и не расслышала этого. Только когда он повторил свой вопрос, она вздрогнула и подняла голову, словно проснув-

шись. Посмотрела на нас, а потом отозвалась глухо, с трудом выговаривая слова:

— Я знаю, вы не о Томе думаете, но все равно... Вы правы... Я для Тома... я сделаю... все.

Она судорожно вздохнула и умолкла.

— Bravo,— воскликнул Педро,— вот это разумно!— И добавил, склонившись к ней: — Так кого из нас ты предпочитаешь?

Я стоял в стороне и смотрел на Марту. Она инстинктивно отпрянула, словно охваченная внезапным отвлечением, но тут же овладела собой и посмотрела на нас. И снова, снова, уже в третий раз мне показалось, что ее взгляд задержался на мне — взгляд несчастной, загнанной, окруженной и молящей о пощаде лани.

Вся кровь из стеснившегося сердца бросилась мне в голову. Должно быть, и Педро уловил этот взгляд, потому что он вдруг побледнел и повернулся ко мне с выражением какой-то ужасающей жестокости.

В это мгновение Марта разразилась бурными, долго сдерживаемыми слезами и, бросившись на землю, в отчаянии зарыдала:

— Томас! Томас! Мой Томас! Мой добрый, любимый Томас!

Она призывала мертвого, словно он мог спасти ее от живых.

Педро нетерпеливо махнул рукой.

— Не о чем говорить и нечего ждать,— сказал он.— Давай тянуть жребий.

Я пытался еще противиться. Мне было душно и страшно. Тучи уже заволокли полнеба, над морем то и дело пролетали ослепительные молнии. Маленький Том, увидав, что мать плачет, и сам расплакался.

Я шагнул к Марте.

— Марта...

— Марта,— повторил я, слегка коснувшись рукой ее плеча.

— Прочь! Прочь! — крикнула она.— Вы оба омерзительны!

— Давай тянуть жребий,— торопил Педро.

Я оглянулся. Он стоял за мной, зажав в кулаке два угла носового платка.

— Кто вытянет узелок, тот ее возьмет.— Он повел головой в сторону Марты, по-прежнему лежавшей на земле.

Со мной творилось что-то ужасное. В голове моей царила странная ясность, я был даже спокоен, только воздуха мне не хватало, словно кто-то гору на грудь навалил. Я смотрел на два угла платка, торчавшие из кулака Педро, и сначала заинтересовал меня рубчик, слегка надорванный в одном месте. Потом мне припомнилась другая сцена, на Море Туманов, где мы тоже должны были тянуть жребий — на смерть... как теперь на... любовь!

Педро терял терпение.

— Тяни! — крикнул он.

Я взглянул на него. Лицо его судорожно искривилось, глаза неотступно следили за мной. Я вдруг понял все. Если я вытяну узелок, мне придется немедленно убить этого человека, потому что иначе он меня убьет. Я невольно сунул руку в карман, ища оружие. Но потом я подумал, что с такой же вероятностью узелок может достаться Педро. И что тогда? Хватит ли у меня сил отказать от любимой женщины, зная, что все решил пустой случай? Не взбунтуюсь ли я против него?

Крупный пот выступил у меня на лбу.

Если б я знал, что Марта предпочитает меня, что она хоть немного больше расположена ко мне, чем к Педро, я не стал бы ожидать жребия...

Но так...

Ведь сказала же она только что: «Вы оба омерзительны»... Оба!

И я должен буду насиловать ее, да к тому же убить человека... или же склонить голову перед слепым слушаем?

Я посмотрел на Марту. Она уже перестала плакать и тихо сидела, глядя в морскую даль, будто и не зная, что мы здесь, в двух шагах...

Страшная, бездонная, мучительная жалость к этой женщине пронзила меня.

Все это длилось не больше секунды, но я уже невольно сунул руку за пазуху и, касаясь рукоятки пистолета, блуждающим взглядом выбирал, кого убить — Педро, Марту, себя или Тома, которого мы превратили в бессознательное орудие пытки для матери...

В конце концов после этого невероятного нервного напряжения все во мне разом оборвалось. Осталось только равнодушие и... гордость. Я разжал руку, уже стиснувшую револьвер.

— Тяни! — сдавленным голосом прошипел Педро.

— Нет! — произнес я с внезапной решимостью.

— Что?!

— Мы не будем тянуть жребий.

Он не сразу смог понять. Торопливо сунул руку в карман, и я услышал щелчок курка. Значит, и он был наготове — я не ошибся. Молниеносным движением я схватил его за обе руки. Он изогнулся и стал вывертываться, в глазах у него был страх.

Я услышал пронзительный крик Марты. Сначала мне почудилось, будто в нем звучит какая-то радостная нота, но потом я подумал, что, может, она тревожится за Педро. Я взглянул на него — он смотрел мне в глаза с бессильной, отчаянной яростью. Мне показалось, что он

ждет смертельного удара. Я усмехнулся и покачал головой.

— Нет! Это не то... Бери ее себе,— сказал я и отпустил его руки.

Сначала он остолбенел от изумления. Сумасшедшими глазами посмотрел на меня, а потом принужденно улыбнулся.

— Ты благороден, да, спасибо... Правда, я моложе, так что правильно... Но, — он понизил голос, — но ты поклянешься мне, что никогда... никогда...

И он снова кивнул в сторону Марты.

Я посмотрел ему в глаза.

— Да, да, знаю, не нужно... Благодарю тебя, ты... — быстро выговорил он.

Неописуемое отвращение овладело мной. Педро мгновение поколебался, потом быстро отвернулся и шагнул к Марте. Я тоже посмотрел на нее, и снова наши глаза встретились, но теперь ее взгляд выражал безграничное презрение или ненависть. Заметив, что я смотрю на нее, она тотчас же отвернулась.

— Марта, я буду твоим мужем, — сказал Педро.

— Я знаю. — Она произнесла это совершенно равнодушно.

— Марта...

— Что?

— Буря приближается...

— Я вижу...

Педро судорожно вздохнул.

— Пойдем, спрячемся в пещере.

В глазах его горела страшная, звериная страсть. Слова с трудом проходили сквозь судорожно стиснутые зубы, а тело сотрясала лихорадочная дрожь.

Я не смел взглянуть на Марту. Услыхал только ее голос, приглушенный, равнодушный:



— Хорошо. Я иду.

Педро еще поколебался.

— Марта, сначала отдай кинжал.

Она швырнула кинжал наземь — лезвие так и звякнуло о камни — и, не оглядываясь, вошла в пещеру. Схватив Тома на руки, Педро бросился вслед за ней.

В этот миг ослепительная молния пронеслась по черному небу и глухой, продолженный эхом раскат грома возвестил начало грозы. Уже и ливень хлынул, охлаждая потрескавшуюся, иссохшую землю.

Голова у меня закружилась, и я рухнул на камни, разразившись отчаянными, немужскими рыданиями. Надо мной неустанно грохотал гром, а весь мир затуманился от разбушевавшегося ливня.

Так сложилась наша жизнь на Луне.

IV

Итак, началась для меня одинокая жизнь.

Мои отношения с Педро никогда не были особенно сердечными, а с Мартой я не мог заставить себя быть таким же, как прежде. Что-то стало между нами, какая-то взаимная обида и стыд... Трудно это объяснить! И сама она изменилась до неузнаваемости. Исхудала, побледнела, даже подурнела. Вечно замкнутая, неразговорчивая, она, казалось, избегала меня. Долгие часы проводила наедине с Томом. Только при виде ребенка происходило чудо: ее хмурое лицо на мгновение освещалось счастливой улыбкой. Сын был для нее всем, только о нем она думала; часто сажала его на колени и долго и страстно ласкала или рассказывала ему разные удивительные истории, которых он даже не мог еще понимать: о Земле, оставшейся далеко-далеко в лазури, об отце, лежащем в гробу среди страшной пустыни, о себе...

Педро ревновал. Он и раньше недружелюбно относился к ребенку, а теперь поглядывал на Тома порою таким взглядом, что я, зная его характер, опасался, как бы он не причинил малышу зла. Да и ко мне он ревновал, хоть я всячески избегал ситуаций, которые могли бы дать ему повод для этого. С Мартой я вначале никогда не встречался наедине и даже в его присутствии мало с ней разговаривал. И все-таки я каждый раз, когда хоть словечко говорил Марте, ощущал на себе взгляд Педро, хищный и тревожный.

Тяжкой была жизнь для меня и для Марты, но Педро был едва ли не самым несчастным из нас троих. Марта по крайней мере находила утеху в ребенке, а я — в том гордом, пусть и бесплодном удовлетворении, которое дает добровольно принесенная жертва, тогда как он, Педро, терзаемый ревностью рядом с желанной, но холодной к нему женщиной, не имел опоры ни в чем. Я невольно отстранился от него, а Марта, правда, была во всем покорна и послушна его желаниям, но на каждом шагу давала Педро понять, что считает его всего лишь орудием, с помощью которого она хочет обеспечить своему сыну благо общения с другими людьми на Луне. Никогда я не видел, чтобы она обратилась к Педро с мало-мальски теплыми, сердечными словами; когда он покрывал ее руки или лицо поцелуями, она не противилась, но сидела неподвижно, застывшая и равнодушная, только в глазах ее сквизило иногда выражение усталости и... отвращения.

А ведь он по-своему любил ее, этот человек, все средства пускал в ход, чтобы добиться ее взаимности — словно этого можно вообще чем-либо добиться! Бывали минуты, когда он угрожал Марте и старался показать свое превосходство, но она тогда смотрела на него равнодушно и спокойно, не пугаясь, однако, и не желая протестовать. Если Педро что-то приказывал, она все выполняла

безропотно, но и безрадостно, — совершенно так же, как и тогда, когда он о чем-то просил. Это доводило его до отчаяния. Я видел, что временами он пытался пробудить в Марте даже протест и ненависть — лишь бы вырвать ее из этого страшного равнодушия. Прибегал он уж и к самому крайнему средству: преследовал Тома. При мне он не осмеливался тронуть ребенка — я сказал ему однажды, что если он причинит мальчишке хоть малейшее зло, я пушу ему пулю в лоб; а он знал, что с того памятного полдня я всегда ношу с собой револьвер. Но в мое отсутствие он бил Тома. Я узнал об этом лишь много позже и случайно... Марта молча, хладнокровно пригрозила ему кинжалом, который я поднял в тот полдень у входа в пещеру и отдал ей.

А иной раз, впадая из одной крайности в другую, Педро бросался к ногам Марты и рыдал, и умолял ее сжалиться.

Однажды я незаметно присутствовал при такой сцене. Я возвращался из одинокого похода к довольно отдаленным источникам нефти и, приближаясь к дому, услышал взволнованную речь, а затем рыдания Педро. Марта сидела в садике, разбитом на склоне, откуда открывался немыслимо великолепный вид на горы и море; у ее ног лежал Педро. Сложенными руками он опирался о ее колени, его лицо, взгляд, голос молили.

— Марта, — говорил он, — Марта, смилуйся ты надо мной! Разве ты не видишь, что со мной делается! Ведь это ужасно... Я схожу с ума по тебе, я теряю рассудок, а ты... ты...

Какое-то судорожное неприятное всхлипывание прервало его речь.

Марта даже не шевельнулась.

— Тебе что-нибудь нужно от меня, Педро? — спросила она немного погодя.

— Твоя любовь мне нужна!

— Ты мой муж...

— Люби меня!

— Хорошо. Я люблю тебя.

Она произносила все это медленно, спокойно и так бесконечно равнодушно, что у меня мороз побежал по коже.

Педро вскочил.

— Женщина! Не дразни меня! — прохрипел он.

— Хорошо. Я не буду тебя дразнить.

Педро схватил ее за плечи, лицо его было искажено бессильной яростью. Я невольно сжал револьвер; сердце у меня бурно колотилось, но я знал, что моя рука не дрогнет.

— Ты хочешь бить меня, Педро? — произнесла она все так же спокойно, будто спрашивала: «Ты хочешь пить?»

— Да, я буду тебя избивать, колотить, мучить, пока... пока ты...

— Хорошо, бей меня, Педро...

Он застонал и пошатнулся, как пьяный.

Я подошел ближе, чтобы своим появлением прервать эту невыносимую сцену.

Видеть вечную гнетущую печаль Марты и ужасную внутреннюю борьбу Педро было мне невыразимо тяжело, а они тоже отчасти избегали меня, хоть и по разным причинам, — и все сложилось так, что большую часть долгих лунных дней я проводил в полнейшем одиночестве. Постепенно я привык к этому. Впрочем, теперь я уже мог мечтами о будущем заполнять пустоту и тоску, на которые сам себя добровольно обрек. Правда, я бывало иначе представлял себе супружество «одного из нас» с Мартой: я мечтал о какой-то безоблачной, тихой, пускай слегка овечьей грустью идиллии, о новых сердечных

узах, соединяющих наш тесный круг, о долгих беседах вполголоса, посвященных заботам о счастье и удобствах тех, кто придет после нас; но хотя действительность и разрушила до основания все эти прекрасные мечты, она все же дала мне одно неоценимое сокровище: надежду на новое поколение. Я уже любил это будущее поколение, этих не моих детей, раньше, чем они появились на свет. В своих долгих одиноких блужданиях я непрестанно думал о них. Для них я накапливал запасы, изучал окрестности, записывал свои наблюдения; для них очистил от пыли и привел в порядок захваченную с Земли библиотечку; для них делал кирпичи и обжигал известь, чтобы построить каменный дом и небольшую астрономическую обсерваторию; для них выплавлял из руды железо или ковал из серебра, в изобилии тут имеющегося, разную утварь, делал стекло, бумагу и другие материалы, необходимые для цивилизованного человека. Я так несканно радовался этим детям, которым еще лишь предстояло родиться! Мне казалось, что с их появлением все обязательно изменится к лучшему, что их улыбки и лепет развеют наконец ту удушливую атмосферу, которая царилa среди нас.

Я ждал не слишком долго. И года не прошло, как Марта произвела на свет близнецов — двух девочек.

Они родились ночью. Когда я услышал из другой комнаты, где сидел с Томом, их первый слабый плач, я вскочил, охваченный безумной радостью; но в тот же миг мое сердце сжалось от такой ужасной, неутолимой боли, что я начал кусать пальцы, чтобы подавить рвущиеся наружу рыдания, и слезы полились у меня из глаз.

Том удивленно смотрел на меня, прислушиваясь в то же время к звукам, доносившимся из другой комнаты.

— Дядя, — произнес он наконец (так он меня всегда называл), — дядя, кто это там так плачет, мама, что ли?

— Нет, детка, это не мама плачет, это... это такой маленький ребеночек... как ты, но еще меньше.

Том сделал серьезную мину и начал раздумывать.

— А откуда этот ребенок? А зачем этот ребенок? — спросил он снова.

Я не знал, что ему ответить. Он тем временем зорко приглядывался ко мне.

— Дядя, а ты почему плачешь? — спросил он вдруг.

И правда, почему я плакал?

— Потому что я дурак! — резко сказал я, отвечая скорее на собственные мысли, чем на его вопрос.

Ребенок покачал головой с невероятной серьезностью.

— А вот и неправда! Я знаю, что ты не дурак. Мама так не говорила. Мама сказала, что ты добрый, очень добрый, только... только...

— Только — что? Как тебе мама сказала?

— Я забыл...

В эту минуту открылась дверь и на пороге появился Педро. Он был бледен и явно растроган. Он улыбнулся мне горько, но искренне — впервые за весь этот год — и сказал:

— Две дочки...

Потом добавил:

— Ян, прошу тебя, Марта хочет, чтобы ты привел к ней Тома.

Я вошел в комнату, где лежала Марта. Увидев сына, она сразу протянула к нему руки.

— Том! Подойди же, посмотри! У тебя две сестрички! Две сразу! Это для тебя! Ты мне простишь, Том, правда? Простишь? Ведь это я для тебя, только для тебя, мой самый дорогой, мой единственный, любимый сыночек! — прерывающимся голосом говорила она, прижимая ребенка к груди.

Том задумался.

— Мама, а что я буду делать с этими сестричками?

— Что тебе захочется, мой маленький! Ты будешь их бить, любить, царапать, ласкать — все, что тебе захочется! А они будут тебя слушаться и работать вместо тебя, когда подрастут, понимаешь?

— Марта! Что ты говоришь! — вскрикнул Педро. — Марта! Это мои дети!

Она холодно посмотрела на него:

— Я знаю, Педро: это твои дети...

Педро рванулся, словно хотел на нее броситься, но превозмог себя и, шагнув к постели, сказал со всей кротостью, на какую был способен:

— Это наши дети, Марта. Неужели у тебя нет для меня уже ни единого слова? Ничего?..

— Есть. Я благодарю тебя.

И она снова принялась гладить и страстно целовать светлую головку сына:

— Мой Том, мой самый дорогой, любимый, золотой сыночек...

Педро бросился из комнаты, как безумный, а мне стало трудно дышать. Что-то чудовищное было в такой безраздельной материнской любви.

Рождение двух девочек, Лили и Розы, мало изменило нашу жизнь — вопреки ожиданиям. Взаимоотношения Педро и Марты были все такими же. Марте я с самого начала сочувствовал, но теперь стал ощущать глубокую жалость и к судьбе этого человека. Педро помрачнел, поник, в каждом его слове, в каждом движении сказывалась громадная, смертельная усталость и подавленность. Он был моложе меня на несколько лет, однако сгорбился и поседел, запавшие глаза его горели каким-то нездоровым огнем. Никогда бы я не подумал, что год жизни способен так разрушить неутомимого человека, который отлично перенес, лучше, чем все мы, неслыхан-

ные трудности путешествия через пустыню. Конечно, причиной тому была Марта, но я не мог ее винить... Она любила того, первого, который умер; кроме Томаса и его сына, никого уже не могло вместить ее сердце — вот в чем была вся беда.

Кажется мне даже, что она и дочерей не любила. Правда, она заботливо ухаживала за ними, но видно было, что она делает это только из-за Тома. Девочки для нее были дорогими игрушками сына, редкостными зверьками, которые требуют внимания и ухода, ибо потеря их может оказаться невозместимой. Даже то, как она называла дочерей, свидетельствовало об этом, — она всегда говорила: «Девочки Тома». Педро беспомощно глядел на это и мрачнел все больше.

Во всяком случае, девочки причиняли Марте много хлопот и занимали массу времени, особенно в первые месяцы, поэтому получилось, что Том непрестанно находился на моем попечении. Я приобрел товарища. Ребенок был очень умен и не по годам развит. Он все допытывался о разных вещах и говорил со мной, как взрослый. Через некоторое время я так привязался к нему, что уже не мог обходиться без его общества. За несколько одиноких лунных ночей я привык к непрерывным скитаниям, а теперь во все, даже далекие походы брал с собой Тома. Марта охотно доверяла мне мальчика, зная, что со мной он в безопасности, даже в большей безопасности, чем дома, где отчим терпеть его не мог.

Я соорудил тележку и приучил шесть крепких собак ходить в упряжке. При легкости нашего веса на Луне этой упряжки вполне хватало, чтобы без труда и быстро перевозить нас с места на место. Иногда мы совершали более далекие походы, длившиеся по лунному дню, а то и больше. Тогда для защиты от ночных морозов я брал герметически закрывающуюся и отапливаемую машину

с электромотором, которую я соорудил из нашей старой машины, значительно ее уменьшив. Внутри нее, кроме меня и Тома, умещались две собаки и солидные запасы пищи и топлива.

Путешествуя таким образом, мы с Томом изъездили почти все северное побережье центрального лунного моря, пробирались далеко на запад и на восток, к границам пустыни, где редющий воздух вынуждал нас к отступлению. Самой далекой точкой, которой мы достигли на западе, было Море Гумбольдта, низменность, расположенная примерно на той же лунной широте, что и Море Холода; эта низменность порой видна с Земли во время благоприятствующей либрации Луны как крохотная темная точка на самом правом краешке верхней части серебристого диска.

И мы оттуда увидели Землю, появляющуюся из-за горизонта. Я остался здесь на всю долгую двухнедельную лунную ночь, чтобы вдоволь насытиться созерцанием так давно не виденного и еще более давно покинутого родного моего мира.

Когда всходило Солнце, было полноземлие (ибо мы находились на девяностом меридиане, который представляет собой западную границу видимого полушария Луны). Когда я увидел этот воссиявший, слегка рдеющий диск и заметил проплывающие по нему светлые очертания Европы, меня вдруг охватила такая невыразимая, неодолимая тоска по этой планете, сверкающей в небесах, что я никак не мог с собой справиться. Казалось мне, что я был изгнан из рая и вот, после долгих блужданий, вновь увидел на мгновение его золотой отсвет и протянул к нему руки с неразумным, наивным, детским, но безудержным желанием: еще раз попасть туда, хотя бы... после смерти. Но в этот миг мне припомнилась Земля, какой я ее видел в последний раз в Полярной Стране, —



почерневшая, мертвенная на фоне кровавого зарева — и внезапно овладела мной великая скорбь.

Все беды, все дурные страсти и горести людские, которые веками преследуют там род человеческий, включая и грозную их царицу — неумолимую смерть, все они пришли за нами сюда, на эту планету, доселе тихую и спокойную в своем омертвлении. Повсюду человеку плохо, ибо всюду несет он сам в себе зародыш несчастий...

Мои угрюмые мысли прервал голос Тома. Мальчик стоял рядом со мной, только что пробудившись после долгого сна, и глядел на незнакомый ему светозарный круг в небе.

— Дядя, а что это такое? — сказал он наконец, протягивая ручонку.

— Да ведь ты знаешь — это Земля. Я же часто говорил, что привезу тебя туда, где ее можно увидеть, и покажу. Да ты ее и видел уже, когда мы сюда приехали, помнишь?

— Нет, этой Земли я не видел. Та была другая, такая однобокая, рогатая, а эта — круглая.

— Это одна и та же Земля, малыш.

Том подумал немного.

— Дядя...

— Что?

— А я уже знаю: это она, наверно, выросла или вернулась утром, как те большие листья.

Я попытался объяснить ему как можно доходчивей причину изменений Земли. Он рассеянно слушал, видимо, не понимая, что я говорю. Наконец он перебил меня новым вопросом:

— Дядя, а что такое эта Земля?

Я рассказал ему — в сотый раз, наверно, — что есть там моря, горы, материки и реки, как на Луне, только гораздо больше и красивее, что там много домов, постро-

енных рядом друг с другом, и это называется город, а в тех городах живет много-много, прямо масса людей и маленьких детей; я говорил ему, что оттуда мы прилетели на Луну: и я, Педро, и мама, и отец, который умер, и даже обе старые собаки, Заграй и Леда, с которыми он так любит играть.

Когда я кончил, Том, с большим интересом слушавший мой рассказ, скорчил лукавую усмешку и сказал, глядя на мой подбородок:

— Это я уже знаю, но сейчас, дядя, ты, пожалуйста, не шути, а скажи так, на самом деле, что такое эта Земля?

Обе собаки стояли около нас и, задрав головы, тоже с любопытством разглядывали светящийся на небе диск.

Через несколько часов после восхода Солнца мы тронулись в обратный путь. Земля, потускневшая при дневном свете, казалась теперь лишь пепельно-серым округлым облачком позади на горизонте.

Как-то в другой раз мы отправились в далекий поход к югу. Морское побережье, тянущееся изломанной линией между пятидесятой и шестидесятой параллелью, отступает к экватору около ста сорокового восточного лунного меридиана, образуя не то полуостров шириной в несколько километров, не то перешеек, соединяющийся с сушей южного полушария. Именно это я и хотел проверить и потому отправился по этому длинному мысу, но не смог пройти дальше тридцатой параллели. Дальнейшему продвижению на юг помешал невыносимый климат. Ночи, несмотря на соседство моря, были так холодны, что мне вспоминались морозы, царящие на безвоздушной стороне, а во время ужасного дневного зноя почти не прекращались чудовищные ураганные бури. Почва была скалистая, вулканическая и совершенно обнаженная. Ни одного растения, никаких признаков жизни, ничего —

только жуткая мертвая пустыня между двумя необозримыми морями, среди которых торчали острые вершины вулканических островов, нередко окутанные облаком дыма или кровавым отблеском огня.

Был такой момент во время этого похода, когда я пожалел, что взял с собой Тома, ибо начал опасаться, что оба мы погибнем. Крутые горные склоны мешали нам продвигаться по середине перешейка, и мы держались восточного берега, где вдоль подножия диких, фантастически-причудливых скал тянулась низменная долина шириной в несколько сот метров. Было около полудня, и прилив, вызванный солнечным тяготением, в этих краях весьма неторопливый, но довольно высокий, поднял море так, что его поверхность оказалась почти на одном уровне с побережьем. Я опасался, что долина, по которой мы двигались, будет затоплена, и уже начал озираться, ища, где можно выбраться наверх по крутым горным склонам, — и тут разразилась гроза, которой предшествовал ураган, внезапно примчавшийся с востока. Огромные волны начали бросаться на берег, одна из них ударила в нашу машину и отшвырнула ее на полсотни шагов назад, прямо под нависающий скальный карниз. Нельзя было терять ни минуты. Я цепью прикрепил машину к скале, тщательно закрыл ее снаружи и, посадив Тома на закорки, начал карабкаться вверх. В жизни своей не припомню такого смертельного страха, какой я пережил тогда. Цепляясь за выветрившиеся скалы ногами и одной рукой — другой я поддерживал дрожащего от страха мальчика, — я видел прямо под собой бушующее, яростное, вспененное море, а над головой — низвергающую ливень и громы тучу. К счастью, скальный карниз защищал меня от прямого натиска урагана, иначе я неминуемо свалился бы в пропасть вместе с камнями, которые градом сыпались вокруг меня, срываясь с вершины. Ужас нашего по-

ложения усугублялся нестерпимым беспокойством за оставленную внизу машину. Если б волны сорвали цепь и умчали машину или разбили ее о скалы — да что там! если б только мотор повредили! — мы были бы обречены на верную гибель, потому что пешком, без запасов пищи, без защиты от морозов мы не смогли бы добраться до дому. Поэтому, как только я вскарабкался на такое место, где можно было найти прочную опору, я посадил Тома под скалой, хорошенько укрыл и привязал, чтобы его не сбросил вихрь, а сам тотчас вернулся вниз и постарался получше закрепить машину. После многих трудов мне удалось наконец втащить ее в расщелину, где она была защищена от ударов волн.

Несколько часов просидели мы так с Томом, ожидая конца бури. Перепуганный ребенок жался ко мне и со слезами спрашивал, зачем мы сюда пришли. Я не мог ответить ему, зачем мы сюда пришли, как давно уже не могу ответить сам себе, зачем мы вообще прибыли на Луну...

Наученный опытом, я на обратном пути был уже осторожнее и выбрал дорогу, достаточно приподнятую над уровнем моря. Впрочем, это был единственный случай, когда нам грозила серьезная опасность. Все другие походы проходили весело и без приключений.

Была также у нас большая и крепкая лодка. Второй электромотор, который некогда служил несчастным Ремонье, мы с Педро отремонтировали, и я поставил его на шлюпку, чтобы он двигал гребной винт. Этой шлюпкой мы пользовались для рыболовных экспедиций, а иногда я с Томом выходил в ней в тихие предполуденные или вечерние часы в открытое море.

Во время одного из таких плаваний я открыл остров, во всех отношениях достойный внимания. Меня уже издалека поразил его вид.

Все острова, какие я видал здесь до той поры, представляли собой либо вулканические пики, торчащие над поверхностью моря, либо вершины залитых водой кольцеобразных гор. Этот же сразу показался мне остатком материка, поглощенного морем. Он был обширный и довольно плоский, только в юго-западной его части поднималась цепь невысоких гор, искрошенных вековечным воздействием дождей и ветров. Берега поднимались круто — надо полагать, их обглодали удары волн, потому что море вокруг было такое неглубокое и так густо усеяно мелями, что даже на нашей лодке, с ее незначительной осадкой, трудно было причалить к острову.

А остров это был интересный, совсем непохожий на известные нам лунные окрестности. Прежде всего меня удивила совершенно иная растительность; менее буйная, чем в других местах, она отличалась несравненно большим разнообразием. На этих нескольких квадратных километрах суши я встретил всего лишь три или четыре знакомых мне вида, зато обнаружил множество растений, нигде более не встречающихся. Все они были удивительно унылые и чахлые. Глядя на них, я не мог отделаться от впечатления, что передо мной последние представители жизни, вымершей и отовсюду вытесненной, которые каким-то чудом еще сохранились тут, чтобы рассказать о формах жизни на Луне много-много веков назад, когда здесь, где теперь море, была суша, а вода покрывала иные места.

То же самое я подумал, увидав животных, обитавших на этом странном острове. Их было немного, однако те, которых я встретил, также отличались от всех, мне известных. Что-то старческое и печальное было в их виде и поведении. При моем приближении вылезали из нор неуклюжие карликовые уродцы и смотрели на меня разумно и настороженно, но без боязни. Только собака, ко-

тору я взял с собой, нагнала на них страху: они начали прятаться от ее наскоков, издавая не то гневное, не то жалобное пыхтение, которое, как я убедился, было единственным звуком, какой они способны издать.

Том и на этот раз был со мной. Он всему удивлялся и повсюду застревал, занятый то каким-нибудь цветным камешком или раковиной, то здешним душистым растением, у которого листья были расположены так, что это напоминало венчики земных цветов. Я ушел вперед на полсотни шагов и вдруг услышал его возглас:

— Дядя! Дядя! Иди-ка сюда, посмотри, какие красивые палки!

Я обернулся и увидел, что мальчуган сидит на земле среди кучи белых тонких и длинных костей. Я начал их разглядывать; не знаю на Луне животного, которому эти кости могли бы принадлежать.

Нагнувшись, я заметил среди них поразительный предмет: это был кусок толстой, с одной стороны основательно истертой листовой меди, по форме похожей на широкий нож. Сердце мое заколотилось; если я не ошибался, если это действительно был искусственно обработанный предмет, то, значит, на Луне когда-то, задолго до нашего прибытия, жили уже разумные существа.

Я подумал тут о Городе Мертвых, который встретился нам много лет назад в пустыне и запомнился из-за страшного происшествия, повлекшего за собой смерть Вудбелла. Мы проехали тогда мимо скал, столь разительно похожих на руины, где некогда, быть может, процветала жизнь, но так и не выяснили, что это было в действительности: странная игра природы или призрак города, погибшего столетия назад. И вот теперь я вновь обнаружил предмет, казалось бы говоривший о том, что разумные создания существовали здесь давно-давно, до нашего прибытия.

Я предпринял тщательные поиски. Обошел весь остров вдоль и поперек, исследовал скалистые гроты у подножия горной цепи, но не нашел ничего, что могло бы бесспорно убедить меня в справедливости моих предположений. Правда, в некоторых гротах мне казалось, что я вижу следы сознательной деятельности; на берегу небольшого озера я нашел два-три обломка окаменевших корней, на которых было нечто вроде насечек; преграда, вынудившая ручеек разлиться в это озеро, выглядела так, словно была искусственно сооружена; еще в одном месте лежали друг на друге каменные глыбы, будто остаток развалившейся стены. Однако все это могло быть в равной степени случайностью или же делом неразумных, но ловких животных. Ведь вот на Земле бобры, например, возводят интересные сооружения...

Так я и не решил этой чрезвычайно важной задачи. Но во всяком случае, проведя эти поиски, я утвердился в мнении, которое сложилось у меня с самого начала, — что остров этот является остатком большого материка, утонувшего в море, и что он приблизительно воссоздает картину лунного мира в давно минувшие времена.

Я назвал это место Кладбищенским островом. Я любил наведываться сюда по пути и с вершины холма глядеть на раскинувшееся вокруг посеребренное солнцем море, под волнами которого погибла, вероятно, оставшая часть этого материка и жизнь, — кто знает, какая удивительная и богатая?

Передо мной на горизонте виднелись вершины далеких вулканов, над которыми царил угрюмый, почти всегда пылающий заревом огромный конус Отеймора. Море шумело, вздымаясь приливом к медленно ползущему в небе Солнцу, а я — убаюканный этим великим широким шумом, в котором было нечто от шелеста крыльев пролетающих херувимов, нечто от тайного голоса души люд-

ской — не то во сне, не то наяву, думал я о том, что было и миновало на этой планете, миновало, возможно, без мыслящего свидетеля — и невозвратно...

Когда началась тут жизнь? Быть может, в ту пору Земля, висящая в ледяных просторах, только начала остывать на поверхности, а лунный шар вращался быстрее и Солнце резвее продвигалось над здешними материками и морями, отмечая для буйной просыпающейся жизни краткие, быстро сменяющие друг друга ночи и дни, без морозов, без нестерпимого зноя? Тогда — тогда и Земля не висела неподвижно над ужасной пустыней смерти, а кружила по лунному небу, восходя и заходя... Тогда — может, тогда вовсе еще не было безвоздушной и безводной пустыни? Ведь на этом полушарии, которое, раз навсегда обратившись к Земле, утратило воздух, а с ним и воду, могли же долгие, немыслимо долгие века омертвения так основательно стереть всякий след былой жизни, что сегодня кажется, будто пустыня существовала испокон веков? Томас ведь предполагал это.

Я закрывал глаза и воображал, что в неустанном слитном грохоте морских волн слышу голоса этой первоначальной жизни. Шумят под порывами ветра мощные и стройные деревья, которым не приходится гнуться и сжиматься от ночного мороза, сквозь лесную чащобу пробиваются огромные и сильные животные, предки здешних измельчавших существ, средь ветвей хлопают крыльями мощные летающие ящеры... Вечереет, и ветер приутих — и вот над туманом теплых болот восходит исполинский пламенный яркий диск Земли.

И кто знает, может, глядели на этот восходящий свет мыслящие очи со стен огромных городов и со стройных башен? Может, простирались к нему руки, оторвавшись от премудрой работы, чтобы приветствовать серебряного ангела-хранителя, который освещал долгие ночи?

Кто знает, может, догадывались некогда тут, на Луне, что на этом огромном шаре, висящем среди небес, тоже есть разумные существа, может, старались представить себе, как они выглядят, как живут?

И невольно обращалось мое воображение в иную сторону; отрывалось оно от Луны, как птица, вылетающая из клетки, и устремлялось дальше, через сотни тысяч километров пространства, туда, к той Земле, которую тоска моя так украшала и озаряла таким очарованием, каким закатное Солнце озаряет снежные вершины гор...

Обычно эти мои мечты на Кладбищенском острове прерывал Том, раздосадованный слишком долгим моим молчанием.

И возвращались мы домой, где Марта нетерпеливо ожидала мальчугана.

Здесь Том уже не принадлежал мне. Мать, истосковавшись в долгой разлуке, хватала его в объятия, а когда кончались бесчисленные страстные поцелуи, садилась с ним на пороге и начинала свою вечно повторяющуюся повесть о молодом, красивом и добром англичанине, его отце, за которым она отправилась на Луну и который сейчас спит в песках великой безмолвной лунной пустыни... Под конец она уже рассказывала скорее для себя самой, чем для сына, и горячие обильные слезы ее лились на светлую головку ребенка.

Педро, сломленный, удрученный, брался за какие-то дела по хозяйству или отправлялся обихаживать девочек.

А я, никому не нужный, снова отходил в сторону, чтобы раздумывать в одиночестве или заниматься какой-нибудь работой.

Шли часы за часами, Солнце вставало и закатывалось, проходили земные годы, с трудом вычисляемые по лунным дням. Том подрастал, и девочки бегали за ним по лугам, но для меня ничто не менялось.

По старой привычке я одиноко бродяжничал по всему пустынному краю, проводил долгие часы на Кладбищенском острове, а когда возвращался домой, неизменно видел печальную, молчаливую Марту и Педро, похожего скорее на призрак, чем на живого человека. И только тоска по Земле снова и снова поднималась в моем сердце и разрасталась с годами, пока не стала в конце концов невыносимым гнетущим бременем. Чтобы защититься от нее, я думал о новом поколении, лихорадочно хватался за работу, но в минуты передышки, когда, уставший и изнуренный, я падал на землю, тоска возвращалась — торжествующая, неотразимая; она вызывала в памяти бледные лица моих здешних друзей и бесконечные воспоминания о тех, кого я покинул навеки...

V

Там, где время отмеряется сменой времен года и Солнцем, орбита которого то поднимается, то снижается на небосводе, — там, на Земле, кончился уже седьмой год со дня нашего прибытия на Луну, когда Марта почувствовала, что в третий раз станет матерью. Она с нетерпением ожидала рождения ребенка, надеясь, что это будет сын, которого она заранее предназначала в слуги Тому. Она и не скрывала этого, напротив, как только ощутила, что после долгого перерыва ей снова предстоит стать матерью, сказала нам:

— Теперь лишь я буду спокойна, когда дам, наконец, Тому слугу и раба.

Она проговорила это с виду равнодушно, как говорят о вещах, вполне естественных, но я уловил в ее голосе странную многозначительную нотку...

Это было как возглас торжества, купленного такой тяжкой ценой, что оно уж почти перестает быть тор-

жеством, как вздох труженика, сбрасывающего с плеч добровольно взваленное бремя, — с отвращением, но и с радостью, что донес это бремя туда, куда намеревался, и не упал, не бросил его на полпути.

Педро, окончательно сломленный, давно уже спокойно переносил жестокости Марты, которая непрерывно ранила его каждым словом, каждым поступком, так легко и неумолимо, словно делала это бессознательно, будучи лишь орудием некоего злого рока. Но в тот раз, услышав слова Марты, Педро глянул на нее своими потускневшими глазами и язвительно усмехнулся, а потом схватил Тома за плечо и, притянув его к себе, начал осматривать. Том был умственно очень развит, но выглядел весьма хрупким для своего возраста. Отчим отвернул широкий рукав его рубашки и обнажил худенькую детскую ручонку, легонько шлепнул ладонью по его узким плечам, ощупал бедра и колени, постучал по груди, опять ехидно усмехнулся, положил руку на голову перепуганного мальчика и неспешно процедил, уставившись на Марту:

— Да... Том, в конце концов, достаточно силен, чтобы верховодить над девочками, но его брат может оказаться сильнее.

Марта побледнела и тревожно взглянула на мальчика.

Но ее беспокойство длилось недолго. В сверкающих глазах ребенка она, видно, прочитала то, что испокон веков можно было прочесть в глазах создателей нового строя, ибо лишь усмехнулась и коротко сказала в ответ:

— Том будет сильнее, даже если тот будет больше.

И действительно, Том уже в ту пору, будучи шестилетним мальчонкой, проявлял необычайную сообразительность и энергию. Он развивался очень быстро и как-то по-особому, во многом непохоже на то, как обычно развиваются дети на Земле. Он рано стал самостоятель-

ным, и практическая жилка была у него так необыкновенно развита, что мы порой изумлялись. В нем не было и следа мечтательности, присущей земным детям. Том был рассудителен, так страшно рассудителен, что у меня прямо сердце болело, когда я глядел на эту светловолосую головку, в которой мысли, не прерываясь и не путаясь от капризных мечтаний, шли спокойным и слитным строем, словно под лысым черепом старца. Несмотря на это, мальчик был очень чувствителен: необычайно любил мать и ко мне сильно привязался. Одного лишь Педро он терпеть не мог. Всегда уверенный в себе и хладнокровный, как его отец, в присутствии отчима он казался оробевшим и смущенным. Впрочем, я даже не знаю, нашел ли я подходящее слово для описания того, что, вероятно, происходило в душе этого ребенка, когда он видел отчима. Том всегда так упрямо молчал при нем, что, казалось, предпочел бы вынести побои, чем разжать губы. Только глаза у него беспокойно бегали. Был в его поведении какой-то страх, но было и упрямство, и ожесточение, и ненависть, и отвращение... Педро чувствовал и видел это и, мне кажется, он уже тогда побаивался этого странного ребенка.

Марта была права: Том был не из тех, кто создан для повиновения. Слишком силен был в нем решительный, всевластный английский дух и слишком много пламенной крови гордых раджей из Траванкора.

И потому я был уверен, что если у Тома появится брат, то пусть даже он будет больше и сильнее Тома, а станет так же бегать за ним и так же покорно смотреть ему в глаза, как эти две маленькие девочки, Лили и Роза.

Но брат не родился, вместо него появилась на свет третья девочка, которую мы называли Адой.

Марта без радости и умиления встретила рождение этого ребенка.

— Том, — сказала она, когда мы по ее желанию привели мальчика, — Том, у тебя уже не будет брата. Но зато у тебя есть три сестрички. Тебе их должно хватить — как жен, как друзей, как служанок...

Том уже не спрашивал, как в первый раз, что ему делать с сестричками, он только оглянулся на Лили и Розу, которые стояли в уголке, держась за руки, и, как обычно, глядели на него глазами, полными любви и восхищения, слегка коснулся пальцем маленького, орущего во всю глотку новорожденного существа и серьезно сказал, кивнув:

— Хватит, мама, хватит...

— Том, — вмешался я тут, неприятно задетый словами Марты и поведением мальчика, — ты должен быть добр к ним.

— А зачем? — наивно спросил он.

— Чтобы они тебя любили.

— Они меня и так любят.

— Да, мы Тома очень любим, — почти в один голос откликнулись девочки.

— Вот видишь, Том, — продолжал я нравоучительным тоном, — они лучше тебя, потому что они тебя любят, хоть ты, возможно, и не всегда этого заслуживаешь. Но эта малышка может тебя и не любить...

Том ничего не сказал, но я заметил, что он посмотрел на девочку с неприязнью и нахмурил брови.

В конечном счете, может, и хорошо, что у Тома не появился брат. Он стал бы его рабом или врагом.

И тогда, и еще долго потом я размышлял над страшной иронией человеческого существования, которая пришла с нами с Земли на Луну. Вспомнился мне О'Теймор, несчастный благородный мечтатель! Как он грезил, что здесь, на Луне, дети Томаса и Марты, огражденные от дурного влияния земной «цивилизации», дадут начало

идеальному поколению, лишенному тех пороков, не знающему тех различий, которые порождают извечные беды человечества на Земле! Смотрю я на этих детей, и кажется мне: забыл благородный мечтатель О'Теймор, что потомство человека всегда будет слагаться из людских существ, несущих в своей душе зародыш всего, что стало позором земных поколений. И разве это не ужаснейшая ирония, что человек переносит своего врага сам в себе даже на звезды, сверкающие в небе?

Хорошо получилось, что у Тома нет брата. По крайней мере эпоха братоубийственных войн и рабства наступит позже, и мы к тому времени, может, умрем, и не придется нам глядеть на все это.

А девочки... Кажется мне, что эти девочки созданы для того, чтобы подчиняться. Они, может, даже и не поймут, что с ними поступили несправедливо, и будут счастливы, если их брат, муж и господин иногда проявит к ним благосклонность. По отношению к Лили и Розе я в этом уже уверен, Ада же еще слишком мала — ей сейчас всего три года по земному счету, — чтобы можно было делать какие-либо правдоподобные догадки о будущем ее отношении к единоутробному брату. Я только замечаю, что она не любит его так, как те, старшие. И Том к ней более равнодушен.

Внимательно наблюдать за тем, как растут и духовно развиваются эти четверо детей, стало в последнее время самым приятным, хотя и грустным, моим развлечением. В физическом отношении они великолепно приспособились к условиям лунного мира, который для нас, прибывших с Земли, продолжает оставаться чужим и невыносимым, хоть мы столько лет здесь живем. Неимоверно тяжело, например, для нас регулировать сон. За время долгого дня нам требуется почти столько же сна, что и за время ночи. И третью часть того времени, что Солнце

стоит на небе, мы тратим на сон, очень нерегулярный и оттого мало подкрепляющий силы, а две трети ночи мы просиживаем без сна, томимые холодом, темнотой и, хуже того, скукой. Дети, родившиеся здесь, днем спят очень мало — всего лишь час, самое большее два, с двадцатичасовыми интервалами, зато почти всю ночь они проводят во сне.

Уже через несколько часов после захода Солнца ими овладевает необоримая сонливость. Если они и просыпаются ночью, то на два-три часа, самое большее — четыре, а потом снова засыпают — так спят зимой у нас на Земле суслики и сурки — до той поры, пока первый легкий отсвет в небе не возвестит наступление дня.

Несравненно лучше нас переносят они и здешний климат. Зной не ослабляет их в такой степени и не вызывает такого раздражения либо сонливости, как у нас. Но больше всего нас поражает, что эти дети и мороз выдерживают лучше, чем мы, старшие. Утром, когда холод возрастает до предела, дети, проснувшись после долгого сна, часто выбегают наружу и даже уходят довольно далеко, тогда как мы решаемся выйти из дому только в случае крайней необходимости.

Инициатором этих вылазок всегда является Том. Обе старшие девочки только бегут за ним, как и старый Заграй, и побуждают их к этому, мне кажется, одинаковая слепая привязанность. Эта собака и эти девочки — неизменная свита Тома.

Сначала я думал, что дети ходят поиграть на снегу, быстро тающем после восхода Солнца, или устраивают катание на льду замерзшего за ночь моря. Но вскоре я выяснил, что этот крохотный отряд под руководством Тома выходит в такую рань на охоту! Странно, что мы до этого не додумались!

Все здешние зверьки засыпают на ночь, зарывшись в



землю для защиты от мороза. Том это выследил и с помощью Заграя, у которого превосходный нюх, разыскивал под снегом убежища разных уродцев и убивал их, пока они еще не проснулись. Правда, мясо здешних наземных животных, как я уже говорил, в пищу не годится, зато их шкуры дают нам прочные и красивые меха или же роговые пластинки, очень похожие на черепашьи. Днем охотиться очень трудно, потому что зверьки уже научились не доверять и нам, и нашим собакам, которые тоже их преследуют. Поэтому я весьма удивился, когда Том однажды принес мне больше дюжины шкурок, среди них две свежеснятые, а остальные — ранее добытые и тщательно выделанные! Мальчик не раз видел, как мы скребли острыми раковинами шкурки, снятые с убитых зверьков, и обрабатывали их солью, которой предостаточно оседает на морском берегу, а теперь он сделал все это самостоятельно и, надо отдать ему должное, ничуть не хуже, чем мы!

Да уж, смекалки у него хватает... Восьми лет от роду он уже до тонкостей знал все наши мастерские, понимал назначение каждого устройства, ценность любого инструмента или материала. Я взял на себя обязанность учить его, но к книгам Том равнодушен. Его интересует все, что имеет практическую ценность, а до остального ему дела нет. Я хотел обучить его земной географии, истории тамошних народов, познакомить с доступными его пониманию шедеврами великих земных писателей, но очень скоро понял, что это ничуть не интересует мальчугана, столь любознательного в других областях. Сначала я не прерывал обучения, полагая, что смогу развить в нем эстетическое чувство и понимание истории, и бросил свои попытки лишь после того, как он время одной из таких научных бесед спросил меня напрямик:

— Дядя, зачем ты мне все это рассказываешь?

Я не знал, что ему ответить; ведь действительно — зачем? А он продолжал:

— Это все, о чем ты говоришь, вроде бы есть на Земле... Я ее помню, видал раз во время поездки — такой большой блестящий шар. И оттуда ты, дядя, вроде бы прилетел сюда, верно?

— Да, все это находится на Земле, откуда я прилетел и откуда вообще происходят люди.

Мальчик посмотрел на меня, словно колеблясь, сказать ли то, что он думает, и наконец произнес с озабоченным видом:

— Но я не знаю, дядя, правда ли все это...

Меня задело это замечание, впрочем, вполне естественное для ребенка, которому рассказываешь о происшествиях на отдаленной планете.

— Ты когда-нибудь убеждался, что я говорил неправду?

— Нет, нет, никогда, — живо запротестовал он, а потом добавил, опять уже спокойно: — Но сейчас я не могу убедиться, что ты говоришь мне правду.

Я вынул из кармана часы.

— Знаешь, что это такое? Часы... Ты думаешь, я, или Педро, или твоя мама можем сделать такую машинку? Ты видишь — вот книги, которых мы не печатаем, астрономические приборы, которые не нами сделаны. Так откуда бы это все взялось, если б мы не привезли этого с Земли? А раз мы прибыли сюда с Земли, так мы же знаем, что там есть и что было.

Мальчик задумался.

— Ну, я уже верю тебе, дядя, но... зачем же вы прилетели на Луну, если вам на Земле было хорошо, как ты говоришь?

— Зачем мы прилетели? Ну... видишь ли, мы хотели узнать, как тут, на Луне.

— Но я-то ведь, я, верно, никогда не попаду на Землю, а?

— Нет, никогда не попадешь.

— Так знаешь что, дядя, научи ты меня лучше делать такие часы и увеличительные стекла и брось мне рассказывать, как проехать из какой-то там Европы в Америку или что делал этот Александр Великий и еще тот, Наполеон...

В глубине души я не мог не признать, что Том прав.

Он никогда там не был и никогда там не будет, так зачем же говорить ему о том, что интересует меня лишь потому, что я родом с Земли? Эти сведения ни на что ему не пригодятся, а если когда-нибудь он или его потомки захотят что-то узнать о Земле, о которой, может, уже лишь неясные слухи будут ходить — что это есть отчизна людского племени и что можно увидеть ее, сверкающую в небесах, на рубеже смертоносной пустыни, — так ведь останутся же тут книги, которые мы с собой привезли, книги, поистине более сказочные для будущих жителей Луны, нежели для землян самые фантастические истории «Тысячи и одной ночи».

Впредь я решил обучать мальчика лишь тому, что имеет практическую ценность для его дальнейшей жизни на Луне. К этому он проявлял чрезвычайную охоту.

Он жадно глотал всякие сведения, если только понимал, что они могут ему пригодиться. Так, например, астрономия вначале мало его привлекала, а принялся он за нее со всем пылом, лишь когда я разъяснил, какую практическую пользу дают измерения высоты звезд.

Я убежден, что если б мы не взяли с собой книг, которые здесь после нас останутся, то для последующих поколений пропала бы вся идеальная сторона этой крупинцы духовного наследия человечества, доставленной с Земли, потому что бесспорно способный, но странно рас-

судочный Том не смог бы ее передать. А я все же продолжаю думать об этих грядущих поколениях... Мне хотелось бы, чтобы это не были дикари. Пускай они знают, что разум человеческий могуч, что он творит дела великие и прекрасные, что он ищет Бога в золотой пыли звезд и самого себя среди сухожилий и сосудов собственного тела, что он способен страстно алкать истины ради истины и красоты ради красоты и служит надежнейшим оружием в борьбе человека с природой, пусть умеют ценить этот разум и пользоваться его силой...

Так не терпится мне сказать обо всем этом Тому, хоть он, к сожалению, не всегда желает слушать подобные речи, так мне не терпится, словно я опасаюсь, что не хватит времени. Ведь когда умру я, когда умрем все мы, земляне, учителем и пророком лунного племени останется он, его прародитель, да старые книги, перенесенные в этот мир людьми с далекой планеты.

Я однажды сказал Тому, что он должен быть прилежным и изучать все, а не только то, что ему нравится, ибо в будущем он станет воспитателем нового поколения. Том посмотрел на меня изумленными глазами и спросил:

— А ты, дядя, что же ты тогда будешь делать? Ведь ты все знаешь.

— Я тогда уже не буду жить.

— А кто тебя убьет?

Том не понимал, что существует иная смерть, естественная. Он видел убитых животных и сам убивал их, но еще никогда не видел умирающего существа. Начал я объяснять ему неизбежность смерти. Он внимательно слушал и вдруг прервал меня, воскликнув:

— Так и Педро умрет?!

— Умрет, сынок, как и я, как и твоя мама, как и ты сам, наконец...

Том мотнул головой.

— Я не умру, потому что... ну, какая мне от этого польза?

Я невольно рассмеялся и вновь начал ему толковать, что смерть не зависит от желания человека, но мальчик был рассеян и явно думал о чем-то своем. Наконец он заговорил, понизив голос и словно колеблясь:

— Дядя, ежели Педро умрет, так пускай он раньше умрет, чем ты, раньше нас всех, быстрее пускай умирает. Ведь он же вовсе не нужен. Тогда ты остался бы один с нами и с мамой и было бы нам хорошо...

Я выбрал мальчика за эти слова, сказал, что никому он не должен желать смерти, а уж меньше всего Педро: ведь Педро — отец его сестричек. Том угрюмо посмотрел на меня, вздохнул, а потом укоризненно произнес:

— Почему же ты, дядя, не отец моих сестричек? Я лучше тебя хочу, чем Педро, и мама тоже... Педро нам не нужен.

Я почувствовал, что затрепетали самые сокровенные, самые глубокие струны моей души, а вместе с тем охватил меня страх, ибо это была та мысль, которая за последнее время и мне все чаще приходила на ум.

Я не могу винить себя: я сдержал однажды данное слово и не отступил от добровольно избранной и такой неимоверно смешной роли честного воспитателя чужих детей, но сколько я в себе переборол, сколько перестрадал — этого мне сегодня уже не выразить!

Ведь женщина эта, единственная в этом мире и столь мне дорогая, была все время рядом со мной, я видел, что она несчастна, а временами даже обольщался мыслью, что со мной она, может, была бы счастливей. Бывали такие дни, когда, глядя на Педро, я сжимал рукоять револьвера в кармане, и такие, когда я совал дуло револьвера себе в рот и клал палец на курок, думая, что больше не вынесу, не выдержу...

Но я вынес и выдержал. Вынес, хотя кровь нередко застилала мне взор и спазмы сжимали грудь; вынес, хотя нельзя вымыслить такого искушения, которое не навещало бы и не преследовало меня во сне или наяву.

В тот памятный день, когда нам предстояло тянуть жребий, я думал, отрекаясь от обладания Мартой, что успокоюсь и позабуду ее со временем, но напрасно проходили годы, напрасно бродил я вдали от нее по лунным материкам, тщетно посвящал себя воспитанию Тома и мыслям о будущем поколении: Марта все так же мне дорога, как там, в Полярной Стране, где после долгой, ее заботами благополучно перенесенной болезни я гулял с нею по благоуханным сумрачным лугам и говорил о вещах, ничего не значащих, но полных значения для нас.

Телом я все еще крепок и силен, однако дух мой стареет — я чувствую это; тоска по Земле нарушает течение моих мыслей и печаль все сильнее охватывает меня: я не только сквозь слезы смотрю на все, но даже думаю обо всем сквозь слезы; одна лишь любовь моя не хочет состариться и ослабнуть во мне — напротив, мне кажется, что она возрастает со временем, как и тоска, гнетущая меня все сильнее. Знаю, что я смешон, но даже смеяться над собой не могу.

Порой я пробую язвить. Грубо твержу себе, что люблю Марту лишь потому, что она — единственная женщина на Луне и принадлежит другому, что это якобы возвышенное чувство есть всего лишь грубейшая животная похоть, преломленная в призме человеческого разума, — и многое иное, в том же духе. Но сказав себе все это в сотый раз, я невольно ищу Марту и чувствую, что охотно позволил бы распять себя на кресте, если б хоть это могло вызвать спокойную, ясную улыбку на ее губах.

Даже в пустыне, даже на иной планете в человеке рядом со звериными инстинктами живет чувство справед-

ливости или законности. Не знаю, что оно — только следствие воспитания или же какая-то врожденная особенность духа, но это точно: оно существует и громко откликается даже там, где нет никого, кто мог бы попрекнуть его за молчание.

Марта принадлежала Педро. Я сам на это согласился, и эта мысль все же удерживала меня от многих поступков, которые я, возможно, совершил бы в ином случае. Я старался настолько отдалиться от Марты, чтобы даже у меня самого не возникло подозрение, будто я пытаюсь ей понравиться. Да и она не искала моего общества; я заметил даже, что мое присутствие всегда смущает ее. Но все это изменилось после рождения младшей девочки, когда произошел полный разрыв между Мартой и Педро.

Через двое лунных суток после рождения Ады, незадолго до захода Солнца, сидели мы вместе — что с нами вообще нечасто случалось — и молча смотрели на морские просторы. Заходящее Солнце позолотило воды, чуть колеблемые ветерком и уже слегка фосфоресцирующие в тени скал. Снега на вершине Отеймора были совершенно багровыми; на черной туче дыма, висящей над кратером, тоже вспыхивали темно-красные отблески.

Молчание прервала Марта. Не меняя позы, не опуская взгляда, устремленного куда-то в морскую даль, она заговорила с нами внешне спокойно, как всегда, хотя я заметил, что голос ее вначале дрожал.

— Я совершила тяжкое преступление, — начала она, — не сохранила верности умершему мужу и я готова искупать свою вину сотни тысяч лет в разных воплощениях... Но вы знаете, что я сделала это только ради его сына, в котором живет для меня он сам. Никогда я этого не скрывала. О чем думали вы и какие у вас были замыслы, это меня не касается: я хотела, чтобы у Тома были сестры и брат... Брата у него, правда, нет, но есть три сест-

ры, и я считаю, что исполнила свой долг... Тяжкий долг, ты знаешь это, Педро. Жаль мне тебя, ты ведь надеялся, что можешь быть для меня чем-то бóльшим... Не моя вина... Но теперь все кончено. Я снова обретаю свободу. Я не спрашиваю вас... тебя, Педро, захочешь ли ты мне ее дать: я беру ее сама, я больше не жена тебе...

Она глубоко вздохнула и умолкла.

Мы были так поражены и словами, и неожиданной интонацией ее голоса, что сидели некоторое время молча, не находя ответа. Да и какой, собственно, можно было дать ответ? Она его даже не ждала...

«Беру себе свободу.. Я уже не жена тебе...»

Удивительное впечатление произвели на меня эти слова. На мгновение они прозвучали в моих ушах как призыв к новой жизни, как обещание чего-то, о чем я и мечтать не смел, как... нет! Не могу уже сейчас рассказать, что со мной творилось! Показалось мне, будто одна эта фраза стирает и разрушает все грустное, что миновало, в груди я ощущал какую-то полноту, какой-то прилив крови, живее пульсирующей в жилах.

Я взглянул на Марту. Она сидела неподвижно и тихо, заглядевшись на море, и лишь губы ее, застывшие в бесконечно печальной улыбке, иногда чуть подрагивали, будто она собиралась расплакаться.

«Беру себе свободу...»

Так минуту назад произнесли ее уста.

Но ее глаза и улыбка говорили сейчас, что она берет свободу не как крылья, дающие силу для полета, а как саван, дающий право на покой, что эта свобода для нее — не заря, предвещающая день, а сумерки, которые приносят отдых...

На ее ресницах засверкали слезы, и сквозь эти слезы она упорно смотрела вдаль, на позолоченное Солнцем лунное море.

Сердце мое стиснул болезненный спазм, ибо я понял, что от прошлого можно отвернуться, но его невозможно стереть.

Между тем Педро сухо произнес:

— Мне все равно.

И немного спустя добавил:

— Что ты теперь собираешься делать?

Марта вздрогнула:

— Ничего... Пожить еще немного — для Тома... для детей... А потом...

— Для детей, — как эхо, повторил Педро.

От берега как раз бежали обе девочки, смеющиеся, сияющие, с передничками, полными камешков, раковин, янтаря. Они громко звали Тома, который неподалеку на ручейке соорудил какую-то мельницу. Педро медленно проводил их взглядом.

— Для детей, — еще раз повторил он и подпер голову ладонями.

Я помню эту минуту, как сейчас. Солнце уже касалось горизонта, и мир из золотого становился пурпурным. Легкий ветер с моря доносил до нас вместе с острым запахом водорослей шорох волн, растекающихся по галечному берегу, и звонкие серебристые голоса детей.

Марта вдруг встала и обратилась к Педро:

— Прости, Педро, — произнесла она таким глубоким и теплым голосом, какого я у нее давно уже не слышал. — Прости... может, я была... несправедлива... прости, но знаешь... видишь, я не могла, не могу... Мне больно, что из-за меня у тебя была... такая жизнь.

Она протянула ему руку.

Педро тоже встал, поглядел на нее, потом на ее протянутую руку, снова на нее — и вдруг жутко, судорожно расхохотался.

— Ха-ха-ха! Это здорово, вот так, одним словом, за

столько лет! Ха-ха-ха! Свобода тебе понадобилась! Отличная мысль! А может, новый выбор? Ха-ха-ха! «Прости, Педро! Я уже не жена тебе!»

Он хохотал, как безумный, и выкрикивал какие-то непонятные слова. Потом вдруг замолчал, повернулся и побрел к дому.

Марта стояла мгновение смущенная, ее лицо выражало отвращение и стыд; потом и она потеряла самообладание и горько, безудержно разрыдалась — впервые с того дня, как стала женой Педро.

Я ушел, не сказав ни слова, подавленный еще более, чем обычно.

Долгую четырнадцатидневную ночь мы провели, почти не разговаривая друг с другом. На следующий день все пошло будто бы по-прежнему. Утром мы сразу взялись за обычные дневные дела, даже говорили, как прежде, не упоминая о «разводе», который с того вечера действительно стал совершившимся фактом. Прежние взаимоотношения Марты и Педро были таковы, что разрыв их мы все ощутили скорее как облегчение. Особенно благотворную перемену я заметил в настроении Марты. Не скажу, чтобы она стала веселее, но по крайней мере не чувствовалось в ней прежней принужденности, она говорила с нами свободней, даже к Педро относилась лучше, хоть он так грубо отверг единственные теплые слова, с которыми она к нему обратилась.

А что делалось с ним? Это, видно, навсегда останется для меня загадкой.

Внешне он все это принял равнодушно, и неожиданная вспышка в тот вечер, когда Марта с ним порвала, была единственным проявлением его скрытых чувств. Но сколько же боли, унижения и тоски, наверное, накопилось в страстной душе этого человека! И какая сила воли понадобилась ему, чтобы все это подавить и замкнуть в

себе! Ведь он любит Марту, несмотря ни на что, любит ее и сейчас, в этом у меня нет никаких сомнений.

В первый день после разрыва Педро подошел ко мне около полудня, когда я только что возвратился из поездки по морю и привязывал лодку к береговому столбу. Некоторое время он беспокойно сновал вокруг меня, словно хотел что-то сказать, но не знал, как начать. Потом, внезапно решившись, схватил меня за руку и произнес, глядя мне прямо в глаза:

— Ты помнишь клятву, которую дал мне, когда я получил Марту?

Я удивленно посмотрел на него, еще не понимая, к чему он клонит. Он же продолжал:

— Ты мне поклялся в тот день, что никогда не будешь пытаться забрать Марту к себе, никогда! Помнишь?

Я молча кивнул.

Педро горько усмехнулся.

— Впрочем, как хочешь. Это смешно. Как хочешь. Только сначала... застрели меня.

Последние слова он произнес глухо и с такой мучительной страстностью, что меня прямо дрожь проняла. Я хотел ему ответить, успокоить его, но он повернулся и ушел.

С того времени я испытывал ужасающую внутреннюю борьбу и невыразимые муки. Марта в сущности не принадлежала теперь никому, однако же я чувствовал, что тянуться к ней вдвойне преступно: и по отношению к ней, которая жаждет лишь покоя и живет, сбросив ненавистное ярмо, только воспоминаниями о давно умершем любимом и заботами о его сыне, и по отношению к Педро, столь подавленному и несчастному, что любая обида, причиненная ему, становилась чем-то большим, нежели преступление, — становилась подлостью. А все же бывали такие мгновения и такие обстоятельства, когда я колебался

и изо всех сил напрягал волю, чтобы не застрелить Педро, по его же собственной просьбе, и не начать с Мартой новую жизнь. Такие искушения одолевали меня в особенности, когда я замечал растущую симпатию Марты. Она часто улыбалась мне и называла по-прежнему своим другом, а мне уже мерещилось, что если б не Педро, мы были бы счастливы. Но вскоре наступило отрезвление.

Ведь Марта, думал я, симпатизирует мне лишь потому, что я никогда не становился между ней и памятью ее о том, умершем, единственном, кого она любила, что я не запятнал святости ее чувства, не коснулся ее тела и не возжелал ее души, которую она навечно отдала тому, кто лежит сейчас в песках Моря Холодов. А захоти только я чего-то большего...

Ужасный порочный круг!

И все же однажды я чуть не совершил безумного поступка...

Мы предприняли втроем поход на вершину кратера Отеймора. Девочек мы оставили дома под присмотром Тома, на которого уже можно было вполне положиться. Пробившись со стороны моря сквозь гущу вьющихся растений и пройдя через заросли громадных древовидных листовиков, мы выбрались на покатуую равнину, поросшую стелющимися по земле крупнолистными мхами. Здесь мы бывали уже не раз, но теперь намеревались забраться выше, если окажется возможным, то на самую вершину, чтобы насладиться великолепным видом, который должен открыться с верхушки этого вулкана, самого высокого во всей окрестности.

Дальнейший путь был нелегок, приходилось круто взбираться в гору по глубокой расщелине, зияющей среди застывших и выветрившихся лавовых потоков и вверх засыпанной снегом по самые края. Здесь, на Луне, такую дорогу осилить, конечно, проще, чем на Земле, где чело-

веческое тело весит в шесть раз больше, но все же труд был не из легких.

После многочасовых усилий мы оказались под самым срезом кратера; дальнейший же подъем был совершенно невозможен. Там, выше, снег таял от горячих испарений, непрерывно поднимавшихся из огромной воронки, края которой торчали теперь над нами как горная цепь, а вода, стекая, замерзала на ветру и покрывала камни стеклянистой ледяной оболочкой, на которой нельзя было удержаться.

Убедившись, что дальше двигаться невозможно, мы уселись на снегу, чтобы отдохнуть перед возвращением и немного оглядеться.

Вид был бесподобный. Прямо перед нами, за черным лесным массивом, простиралось в безбрежную даль море, играющее всеми цветами радуги и усеянное островами, которые отсюда выглядели как маленькие черные точки на сверкающей глади. Те, что побольше, казались пятнами, обрамленными цветной каймой, как глазки павлиньих перьев. Налево, к востоку, поднимались черные вершины и кольца кратеров горной гряды, а среди них кое-где поблескивала голубая лента залива, глубоко врезающегося в сушу. Направо, за гейзерами, которые можно было распознать лишь по маленькому облачку белесого тумана, простиралась широкая равнина, прорезанная извилистой рекой, и, словно нанизанные на нить жемчужины, сверкали на ней дальние озера у отрогов зеленых взгорий.

Мы сидели довольно долго, зачарованные великолепным зрелищем, как вдруг встревожил нас глухой подземный грохот. Пар, поднимавшийся над кратером, почернел и сгустился в огромный клуб, из которого вскоре начал сыпаться на нас тонкий удушливый пепел. Следовало возвращаться как можно скорей, приближалось изверже-

ние вулкана. Однако мы не успели вовремя уйти. Прошли мы едва полпути по той расщелине, что кончалась в дугах над лесом, как подземный грохот усилился, задрожали горы, с них во все стороны начали обрушиваться лавины, а черная дымная туча над вулканом вспыхнула кровавым заревом.

Времени раздумывать не было. С величайшей поспешностью укрылись мы в первой попавшейся щели и с трепетом выжидали минуты, когда можно будет снова продвинуться вниз.

Небо над нами, все в густом клубящемся дыму, походило на огненное жерло ада, глухой грохот не прекращался уже ни на миг, а воздух, насыщенный сернистыми испарениями и мелким пеплом, душил нас и обжигал легкие. Сверху начали падать большие куски раскаленного шлака. Нам пришлось бежать из расщелины, по которой теперь стремительно неся поток растаявшего снега, смешанного с землей и пеплом. Видимо, сотрясения почвы, которые мы ощущали, широко расходились от подножия гор; когда ветер, на мгновение разогнав удушливые пары и клубы пепла, приоткрыл окружающий мир, мы увидели, что море бурлит и пенится.

Цепляясь за крутую скалу, как мыс торчащую в том месте, где расщелина раздваивалась, уходя дальше вниз, мы, отчасти прикрытые сверху скальным карнизом, просидели несколько часов, не зная, уцелеем ли. При этом Марта ужасно тревожилась о детях. Правда, Том был уже знаком с землетрясениями, довольно частыми и не очень опасными в этих местах, и можно было надеяться на его предусмотрительность и здравый смысл, но Марту, да и меня удручала мысль, что в случае нашей смерти детвора, предоставленная самой себе, тоже была бы обречена на верную гибель. Педро был равнодушен и спокоен или по крайней мере притворялся спокойным.

Наконец немного утихло. Сильный ветер, внезапно рванувшийся с моря, несколько очистил воздух и разогнал редеющие клубы дыма. Град пепла и шлака прекратился. Мы вздохнули свободней, но только собрались двинуться дальше, в обратный путь, как нас встревожил мощный шипящий шум, доносящийся сверху. Педро выскочил из убежища посмотреть, что там такое, но едва он шагнул на выступ скалы, как отчаянно вскрикнул от ужаса: по расщелине мчался поток разбушевавшейся лавы! Я видел, как Педро попытался вернуться к нам, но в то же мгновение завыл вихрь, летящий впереди этого потока жидкого огня, и Педро внезапно исчез, а мы даже понять не успели, что с ним случилось.

Невыносимый удушливый жар веял на нас, текучая, багрово пылающая масса заполняла уже обе расселины, гудя, свергалась вниз чудовищными каскадами огня и камней. Нельзя было терять ни минуты. Если извержение усилится, лава может отрезать нам обратный путь, заполнив поперечные впадины между двумя расщелинами или, того хуже, может разрушить и снести наш каменный островок, как стремительное течение разлившейся реки сносит по пути глинистые островки. Поэтому, не думая уже о Педро, которого сначала считал погибшим, я взвалил на плечи Марту, оцепеневшую от ужаса, и начал как можно быстрее спускаться вниз, цепляясь за выступы скал.

Мне и сегодня страшно вспомнить, что это был за спуск! Скалы, о которые билась адская волна, дрожали у меня под ногами, как палуба корабля, на всех парах идущего против ветра; чудовищный жар грозил испечь нас живьем. Марта потеряла сознание и безжизненно повисла у меня на плече, что крайне затрудняло мои движения. А ведь приходилось следить, чтобы не поскользнуться, ибо каждый неверный шаг означал смерть.



Каким чудом, полузадохшийся от жара, ослепший от горячего дыма и сверканья лавы, оглушенный невыразимым шумом, избитый летящими сверху камнями, я добрался с Мартой до равнины, откуда мы вышли часов двадцать назад, этого я уж и сказать не могу.

Тем не менее мы были спасены. Лава потекла по склонам от нас, сквозь леса, которые тотчас задымилась, и оставила в середине огромный пустой треугольник, вершиной которого был луг и нависший над ним скальный карниз, а основанием — берег моря, находившийся более чем в тысяче метров внизу под нами.

Прежде всего я принялся приводить Марту в чувство. Когда она открыла глаза и убедилась, что нам уже не грозит опасность, то сразу же стала допытываться насчет Тома. Я заверил ее, что Том дома и что мы наверняка найдем его в добром здравии еще до полудня. Тогда она протянула ко мне обе руки и начала повторять, как в Полярной Стране, когда я разыскал ее после наводнения:

— Мой друг, мой друг...

Было в ее голосе нечто столь кроткое и сладостное, что все тело мое затрепетало и судорога перехватила мне горло. Я склонил лицо, чтобы глаза меня не выдали, а она тогда охватила мою голову ладонями и прижала к своей груди, говоря:

— Тебе я обязана своей жизнью и больше того: жизнью Тома, которому мы еще нужны. Ты такой хороший...

Грудь ее была обнажена, потому что, приводя ее в чувство, я разорвал платье у ворота. Я коснулся лбом ее груди и почувствовал, что голову мою кропят слезы, льющиеся из ее глаз.

Внезапный пожар разгорелся во мне. Эта женщина, все еще такая красивая, самая желанная и любимая, была передо мной, достаточно было протянуть руки, обнять ее, осыпать поцелуями, задушить в объятиях. Кровь за-

стлала мне глаза, в ушах гремели яростные удары пульса, я ощущал тепло и податливость ее тела, его запах пьянил меня, одурманивал, сводил с ума. «Да мы ведь одни, — мелькало в моем мозгу, как сквозь туман, — мы теперь единственные люди на этой планете, ведь Педро, наверное, лежит где-нибудь мертвый среди скал... Да и что мне Педро, в конце концов, что мне все на этом свете и на том, когда она...» Невыразимое блаженство, несказанное счастье тихой волной разливалось по всему моему существу.

— Нет!

Я рванулся из всех сил и отпрянул назад.

Педро, быть может, лежит в эту минуту где-нибудь на камнях, окровавленный, полуживой, и ждет помощи, а я...

Марта подняла на меня глаза и — поняла.

— Ты прав, — сказала она, будто отвечая мне, хоть я и не сказал ни слова, — ты прав, иди, поищи Педро...

Потом она поднялась и сжала мою руку.

— Спасибо тебе, — шепнула она.

Педро я действительно нашел неподалеку от того места, откуда его сбросил ветер. Он зацепился за острый выступ, который спас его от падения в зияющую огнем бездну, и лежал без сознания. Я принес его домой, и общими усилиями нам удалось вернуть ему жизнь.

Немало времени прошло с тех пор, а я помню о минутной слабости и тем настойчивей добиваюсь, чтобы моя воля всегда господствовала надо всем остальным, что вместе с ней создает душу человеческую.

А Педро?.. Он сидит, все такой же молчаливый и угрюмый, на пороге дома и — уж не знаю — возможно, жалеет порой, что не погиб тогда, на склонах Отеймора.

Для меня, видно, все кончено. Скоро и эти дети не будут уже во мне нуждаться. Я начал строить себе гробницу на Кладбищенском острове.

Я смотрю на эти последние слова, написанные несколько лунных суток назад, и в глазах у меня темнеет — уже не от слез, слезы давно высохли, — а от режущей, как горячий песок, пелены ужаса и отчаяния. Не для себя возвел я склеп на Кладбищенском острове.

Почему... почему?!

Извечный нелепый и мучительно-скорбный вопрос — без ответа!

Я остался один.

Один с четырьмя детьми, родившимися здесь, — не моими детьми. Я последний на Луне из людей, которые прибыли с Земли. Двое остальных, Марта и Педро, ушли вслед за О'Теймором, за Ремонье, за Вудбеллом. А я — живу.

Та самая судьба, которой я более всего страшился и менее всего ожидал...

Подумать только, до чего быстро все это произошло! Шесть лунных дней, половина земного года. Кто бы мог тогда подумать! А ведь уже третий раз взошло это ленивое Солнце над морем с тех пор, как я их похоронил. Я одинок, так ужасно, так отчаянно одинок, что начинаю вскакивать во тьме по ночам, а днем — пугаюсь шелеста и теней, которые бросают мне под ноги, раскачиваясь на ветру, диковинные растения.

Да, я одинок. Ведь эти дети чужды мне. Это существа с иной планеты в буквальном смысле слова.

Чего бы я только не отдал, чтоб еще хоть на краткий миг увидеть здесь, рядом с собой, Марту или Педро!

Когда Марта захворала, я и не предчувствовал, что это так ужасно кончится.

Правда, я давно уже видел, что организм ее истощен

всем пережитым, ослаблен мучительной печалью, но все же эта мысль была от меня далека, так далека!

В последний день Марта была уже нездорова. Притихшая и еще более задумчивая, чем обычно, она провела почти весь день с детьми на берегу моря. Играла с Томом и даже ласкала девочек, немало удивленных этим редким для нее проявлением материнской нежности. Ближ полудня, когда я пришел к морю и сказал, что пора уже возвращаться в дом над бассейном, потому что вскоре надвинется буря, Марта улыбнулась мне и дважды повторила:

— Пора возвращаться, пора возвращаться...

Все эти мелкие детали так живо сохранились в моей памяти, так настойчиво приходят на ум, что и теперь, когда я пишу, Марта стоит у меня перед глазами, я вижу каждое ее движение, слышу ее голос и поверить не могу, что на самом деле ее уже нет и что на самом деле никогда ее не увижу...

По пути к дому она взяла младшую, Аду, на руки и допытывалась, любит ли она Тома. Девочка отрицательно качала головой:

— Нет, не люблю.

Марта опечалилась.

— Почему не любишь? Почему, Адочка?

— Потому что Том злой. Том хочет, чтобы я его слушалась.

— Это плохо,— отвечала мать,— нужно слушаться Тома и любить его, потому что ты его девочка...

— Нет. Я не его девочка. Лили и Роза его девочки. Я своя.

Я громко рассмеялся, услышав ответ ребенка, но у Марты в глазах блеснули слезы.

— Нельзя быть своей, нельзя,— прошептала она скорее самой себе. Однако нежно поцеловала девочку.

После полудня она долго разговаривала с Томом. Рассказывала ему об отце, повторяя, может, в тысячный раз, всякие подробности, которые вместе слагались не то в какую-то странную легенду, не то в восторженный гимн умершему любимому. Томас был мужественным и благородным человеком, но в воспоминаниях Марты он становился неким божеством, воплощением всего великого, доброго и прекрасного.

Наставляла она также Тома, чтобы он был добр к своим сестрам. Это более всего удивило меня, потому что такие поучения я редко от нее слышал.

К вечеру Марта начала жаловаться на общую слабость, головокружение и боли в суставах. Обычно она всякие недомогания переносила молча, и мы только по ее лицу могли догадываться, что ей не по себе, а она никогда ни слова об этом не говорила и не искала у нас ни сочувствия, ни помощи. Даже если мы допытывались, что с ней, видя, как плохо она выглядит, Марта только качала головой и говорила с улыбкой: «Ничего такого...» или «Это пройдет, я еще не умру, я еще нужна Тому». Поэтому меня особенно встревожили ее жалобы в тот вечер. Я посмотрел на нее внимательней и лишь теперь, при свете гаснущего дня, заметил, что лицо ее пылает лихорадочным румянцем, а провалившиеся глаза обведены темными кругами. Глаза Марты ничуть не утратили прежнего своего блеска — его не смогли погасить ни пролитые слезы, ни жгучая скорбь, но сейчас они горели каким-то болезненным огнем, вовсе непохожим на их прежнее, звездное сияние.

После захода Солнца Марта, которая легла в постель — больше от слабости, чем из желания уснуть, начала беспокоиться и метаться. Видно было, что ее одолевает горячка. Она то звала детей, которые уже спали, то еле слышным шепотом оправдывалась — перед собой или

перед призраком Томаса, видно стоявшим перед ее взором, — в своей жизни, в том, что породила на свет этих бедных девочек, и даже в своей любви к ним, которую ей не удалось полностью подавить и превозмочь. Кажется, по ее понятиям материнская любовь принадлежала исключительно сыну, а всякое проявление любви к дочерям не только ущемляло его, но и оскверняло память умершего.

Потом она несколько успокоилась. Мы с Педро сидели у ее постели, крайне удрученные и встревоженные, тем более что лекарств у нас не было и мы чувствовали себя беспомощными перед болезнью. Марта долго смотрела на нас широко открытыми глазами, а потом вдруг спросила, зашло ли уже Солнце. Я ответил ей, что уже началась долгая лунная ночь.

— Да, правда! — сказала она более трезво. — Ведь вокруг темно, а тут горит огонь... Я сразу не заметила. А там, на Море Холода, что там сейчас?

— Там сейчас день. Как раз недавно взошло там Солнце.

— Да, взошло Солнце... И светит сейчас над могилой Томаса, правда? И то же самое Солнце от его могилы придет утром к нам сюда?

Я молча кивнул.

— То же самое Солнце... — повторила больная. — Подумать только, что вот так, ежедневно, столько лунных дней это Солнце глядело на могилу, а потом на меня здесь, живую, и снова шло на могилу рассказать ему, что здесь видело!

Она закрыла лицо руками, и дрожь начала сотрясать все ее тело.

— Это ужасно! — твердила она.

Педро насупился и понурил голову. Мне показалось, что на его пожелтевшем и увядшем лице я заметил вне-

запный багровый румянец, разлившийся вплоть до изображенного морщинами лба.

Видно, заметила это и Марта, потому что обратилась к нему:

— Я не хотела обидеть тебя, Педро... сейчас... Ведь ты, в конце концов, не виноват. Как ты мог бы принудить меня стать твоей женой, если б я сама не хотела... для Тома...

Она замолчала, с трудом дыша. Потом заговорила снова:

— Я хотела бы дождаться утра. Это так страшно — блуждать в темноте и искать дорогу там, в пустыне. Когда здесь настанет день, над Морем Холода будет светить Земля. Я хочу стать над могилой при ее свете, потому что не знаю, посмею ли вот так, средь бела дня, взглянуть ему в...

— Марта! Что ты говоришь! — невольно вскрикнул я.

Она посмотрела на меня и ответила кратко:

— Я умру.

К полуночи я стал действительно опасаться, что она умрет. Ее мучила какая-то болезнь, которую мы не могли даже определить. Мы видели лишь крайний упадок сил, который вместе с повторяющимися приступами лихорадки не сулил ничего доброго.

Да, впрочем, что значат все медицинские наименования. Я знаю, что это за болезнь, знаю ее даже слишком хорошо: она называется — жизни! Она пробуждает человека из небытия, голубит его, играет с ним, а во время игр дергает его и треплет, бьет, калечит, пока, наконец, не одолеет его и не раздавит. С этой болезнью рождаемся мы все, и нет от нее другого лекарства, кроме смерти.

Педро почти не отходил от постели Марты. Глядя на его мрачное неподвижное лицо, я невольно, невзирая на тревогу о Марте, задумывался, какие чувства кроются

под этой маской? К несчастью, мне предстояло узнать об этом слишком скоро.

Под утро Марта очень металась, и только первые проблески дня принесли ей успокоение.

— Я еще увижу Солнце! — шептала она и пыталась улыбнуться побледневшими губами.

Теперь я один сидел рядом с ней, потому что Педро, изнуренный долгой бессонницей, поддался наконец моим уговорам и прилег в соседней комнате. Утренний свет пробивался сквозь окна из толстого, сделанного на Луне стекла, а свет лампы все заметней желтел и тускнел. Снег лежал на полях, как обычно, и когда ветер слегка разгонял испарения, вечно клубящиеся над горячими прудами, сквозь окна виднелась широкая сверкающая равнина.

В этом резком и холодном, отраженном от снега сиянии наступающего дня, спорящем с желтым и мертвенным светом лампы, я глядел на Марту и уже ничуть не сомневался в том, что вскоре она покинет нас навсегда. За эту двухнедельную ночь она неузнаваемо изменилась. Лицо ее осунулось и побледнело, губы, некогда такие полные, пурпурные, притягательные, подернулись бледно-синим цветом смерти. Из-под приспущенных, почти прозрачных, сетью мелких жилок покрытых век смотрели уже гаснущие и невыразимо печальные глаза.

Я оперся лбом о край постели и кусал себе руки, чтобы не разразиться ужасным немужским рыданием, которое рвалось из груди, словно зверь с цепи.

А снаружи тем временем становилось все светлее. Испарения, недавно еще серые, теперь проплывали за окнами, подгоняемые ветром, будто легкие белоснежные призраки. Временами пар клубился, заслонял свет, временами вытягивался в длинные колеблющиеся тени, которые внезапно возникали, склонялись, словно в поклоне, у окон и двигались дальше. Сквозь их полосы виднелись

снежные поля и увитые облачками пара жемчужные колонны гейзеров, а дальше, над ними, на фоне бледно-голубого неба высилась вершина Отеймора, уже порозовевшая в первых лучах солнца.

Марта спросила о детях, но услышав, что они спят, не велела их будить.

— Пускай спят,— шепнула она,— я еще их увижу... прежде, чем Солнце взойдет. А сейчас хорошо, что так тихо...

Потом повернулась ко мне:

— Ты всегда будешь их опекать, ведь правда?

— Буду,— сказал я, и горло мне сдавили слезы.

— И не оставишь их никогда?

— Нет.

— Клянешься мне?

— Да. Клянусь.

Она протянула мне руку.

— Добрый ты, друг мой,— шепнула она.— Я умру спокойно, зная, что ты о них не забудешь.

Я схватил ее руку и страстно прижал к губам. Ее пальцы слегка дрогнули, словно хотели сжать мне руку. От них веяло уже таким холодом, что даже мои горячие губы не могли их согреть.

— Я хотела тебе еще сказать перед смертью,— заговорила она, помолчав,— что ты... был мне дорог. Из-за этого я корила себя больше, чем из-за того, что была женой Педро... Может быть, если б я стала твоей, а не его, я бы еще жила...

Она говорила все это тихим, гаснущим голосом, а во мне вдруг разразилась буря. Я зарыдал, как малое дитя, и в беспамятстве покрывал ее руку поцелуями, бормоча сквозь слезы бессвязные слова любви, так долго таившиеся и освобожденные лишь сейчас — перед лицом смерти.

Марта слегка склонилась и положила другую руку мне на голову.

— Успокойся,— говорила она,— успокойся... Я знаю... Не плачь... Так лучше, как получилось... Ты был мне дорог своим благородством, своей любовью к Тому... я даже сама не знаю, чем... а, несмотря на все, я, может, плохо к тебе относилась бы, если б ты встал между мной и тем единственным, кто имел на меня права. Ну, успокойся, не плачь. Теперь уж ты знаешь. Я думаю, Томас меня простит, что я это чувствовала и что сказала об этом тебе в час своей смерти... Я была так несчастна.

Она замолчала, обессиленная, а я, спрятав лицо на ее груди, весь дрожал, сотрясаемый подавленными рыданиями.

Но она заговорила вновь:

— Пускай уж... признаюсь тебе во всем. Все равно я в последний раз говорю с тобой... В тот полдень...

Она вдруг замолкла, словно внезапный стыд, не отступивший даже перед смертью, перехватил ей горло, но я знал, о каком полдне она говорила!

Марта помолчала, едва шевеля губами, а потом с неожиданной силой, поднеся ладони к вискам, выкрикнула:

— Почему ты не убил Педро?!

И в эту минуту я услышал сдавленный стон. Было в нем нечто такое страшное, что я невольно вскочил и обернулся. В дверях, опираясь рукой о косяк, стоял Педро, бледный, как труп, и смотрел на нас широко открытыми глазами. Должно быть, он уже давно там стоял и слышал все, что Марта мне говорила. Когда он заметил, что я увидел его, он сделал несколько неуверенных шагов вперед и пробормотал что-то невразумительное.

Марта с подавленным криком отворачивания повернулась лицом к стене.

— Простите, — простонал Педро, — простите, я невольно... Я не хотел...

В это время в соседней комнате раздались голоса и топот.

— Дети! — закричала Марта и протянула руки.

Но девочки, оробев, остановились у порога, и только Том припал к ней, а она охватила его голову дрожащими руками и прижала к себе.

Педро посмотрел на это и шагнул ко мне.

— Ты обещал ей, — он кивнул на Марту, — помнить обо всех детях... обо всех! одинаково...

Прежде чем я, пораженный этими странными словами, успел ответить, его уже не было в комнате.

Сквозь пляшущие за окном испарения пробивался солнечный луч, превращая верхние стекла в кусочки сверкающего золота, и пронизывал светящимся снопом душный воздух комнаты. Марта лежала неподвижно, глядя угасающим взором на полосу солнечного света, которая все ниже соскальзывала по стене и, словно ангел, нисходящий с небес, плыла к ее изголовью. Девочки на цыпочках приблизились к постели и с изумлением смотрели на бледное, застывшее лицо матери.

Душно мне было, на губах я ощущал едкую горечь. Этот наступающий день шел ко мне, как безжалостная, мучительная насмешка, ибо я знал, что вместе с ним начнется пустота и неотступные думы о прошлом. Минуты проходили в молчании...

Внезапно Том вскрикнул:

— Дядя! Дядя! Я боюсь! Мама так страшно смотрит!

Я повернулся: солнечный луч, упав на подушки, освещал лицо Марты, застывшее, мертвое, но еще глядящее на Солнце остекленевшими глазами.

— Ваша мама умерла... — каким-то чужим, сдавленным голосом шепнул я детям, которые теснились у постели.



ли, перепуганные и удивленные. Потом наклонился, чтобы закрыть глаза Марте.

В эту минуту раздался грохот выстрела. Я метнулся к двери: Педро лежал в соседней комнате на полу с пробитым виском и дымящимся револьвером в руке.

Я зашатался на пороге, как пьяный.

Сейчас они оба уже лежат в могиле. Я сам оказал им последнюю, посмертную услугу — завернул их тела в большие, сотканые из растительных волокон и пропитанные смолой саваны и своими руками отнес их в лодку, которой предстояло везти их на Кладбищенский остров. В лодке рядом с трупами и со мной сидело четверо детей. Трое старших примостились возле тела Марты. Том, ошеломленный и напуганный зрелищем смерти, молча сидел у ног матери, Лили и Роза цеплялись за саван и с плачем звали маму, будто требуя материнских ласк, на которые она покупилась при жизни. Педро все покинули. Только младшая девочка подползла к нему и, глядя покрывающую его грубую ткань, тихонько шептала:

— Бедный папа, бедный...

Печальной нашей поездке сопутствовала чудесная погода. Солнце, еще невысоко поднявшееся над горизонтом, заливало золотистым светом огромный, спокойный, чуть подернутый мелкой рябью от легчайшего дуновения ветра морской простор, на котором смутно рисовались вдали острова, утопающие в прозрачной голубой дымке. И никогда прежде я не ощущал так живо и так болезненно эту безжалостную и ужасную иронию, которая таится в красоте природы, одинаково равнодушной и к радостям, и к страданиям человека. Ведь в этой лодке были со мной трупы двух последних человеческих существ, которые вместе со мной прибыли на эту планету и знали, как и я, родную мою Землю; я вез их, чтобы положить в склеп, для меня самого предназначенный, и потом остаться на-

всегда одиноким, а Солнце светило спокойно, прекрасно и великолепно — совсем так же, как в детстве, когда я беззаботно играл в его сиянии на той, далекой от меня сейчас планете.

С лодки я перенес их обоих в гробницу, которую соорудил на холме в самой красивой части острова. Легкими были эти трупы, вшестеро легче, чем на Земле, а я сгибался под их тяжестью... Чему удивиться! Ведь я нес в могилу останки своего горького счастья!

Марту я похоронил в могиле, которую некогда предназначал для себя. Для Педро выкопал другую, чуть поодаль.

И буду я жить дальше... По правде говоря, когда тяжесть невыразимой тоски совсем подавляет и сокрушает меня, нередко испытываю я страшное искушение уйти с этой планеты единственным, оставшимся для меня путем, по которому уже ушли отсюда шестеро: О'Теймор, братья Ремонье, Вудбелл, Фарадоль и Марта; но тогда вспоминается мне клятва, которую я дал умирающей, — что я не оставлю ее детей. Для них я должен жить. Я приговорен теперь к жизни, как раньше, пока жива была Марта, приговорен был к любви. И две эти лучшие в мире вещи — любовь и жизнь стали для меня жесточайшей болью и горчайшей мукой...

Дни мои принадлежат этим детям. Изю всех сил я стараюсь все время думать о них, занимаюсь с ними, учу их, держу возле себя, охраняю и воспитываю, потому что на мне, бездетном, лежит, право же, долг духовного отцовства перед всем лунным поколением.

Но по ночам я возвращаюсь на Землю и говорю с умершими. Что-то уже разладилось и расстроилось в моем мозгу, или это боль, туманом встающая из сердца, окутала его, но только явь кажется мне сном, а сновидения — это подлинная моя жизнь...

Я тоскую по снам. В них я хожу по Земле и умиленно целую ее деревья, цветы, даже пыль и камни,— и все мне кажется, что никогда не отрывала меня от Земли неистовая, надменная жажда познать тайны звездных просторов.

А иногда ко мне приходят мертвые друзья.

Сперва появляется седовласый О'Теймор и винит себя — он, который был воплощением доброты, — в том, что легкомысленно увел нас на эту пустую планету, подвешенную в небе, как светильник, для Земли. Потом я вижу братьев Ремонье. Они жалуются, что пошли за нами и встретили смерть. Появляется Вудбелл, весь бледный, и спрашивает, что мы сделали с Мартой? Была ли она с нами счастлива? Педро рассказывает о том, что в последние годы жизни я читал в его глазах: о неистовой и страстной своей любви, которая поглотила его, как огонь поглощает горстку стружек, о своей страшной судьбе, которая не дала ему ни одной счастливой минуты, а повелела долгие годы видеть отвращение, гадливость и презрение в глазах желанной и ему принадлежащей женщины и молчать, и душить в себе всю любовь, и всю боль, и оскорбленную мужскую гордость; он говорит мне, какие адские муки терзали его душу в ту последнюю ночь, когда он увидел меня, укрывшего лицо на ее груди, и позже, когда он подносил револьвер к виску...

Этот хоровод печальных призраков замыкает Марта. Она является передо мной тихая, с застывшей на губах страдальческой улыбкой, и благодарит меня за то, что я был человеком, а временами, кажется мне, молча укоряет за то, что я им не был.

Какая бездна печали и сожалений во мне...

Так эти тени беседуют со мной. И хоть они не говорят мне ничего радостного, все же мне просто и хорошо с ними, ибо это близкие мои.

Это новое лунное поколение, подрастающее вокруг меня,— оно какое-то уже иное. Это еще дети, но я ощущаю, что они создают себе особый мир, который для пришельца с Земли всегда будет чужим, подобно тому как мой мир недоступен им, рожденным на Луне.

А ведь я, собрат шести могил, рассеянных по Луне, вынужден жить с теми, для кого эта планета — родина. И кто знает — как долго еще...

СРЕДИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

I

В Полярной Стране

Поколение это уже созревает, и я чувствую себя среди него все менее необходимым и все более печальным... Вот и отправился я в Полярную Страну, чтобы глядеть на Землю и быть одиноким.

От Исхода нашего из Земли Утраченной прошло уже двести девятнадцать лунных дней, и шестьдесят семь прошло со дня смерти Марты и Педро.

Странно мне, что я не умираю...

*

Итак, я снова обитаю на полюсе. Безграничная тоска по родине моей, по Земле, гнетет меня все сильнее. Из-за нее я забываю даже об этом поколении, доверенном мне Мартой в смертный час. Но они живут там, над морем, и они счастливы. Когда я уходил, в них пробуждалось весеннее чувство любви. Слишком сладостно... и слишком больно было мне смотреть на эту весну.

Здесь тишина, и одиночество, и воспоминания...

Снова было затмение Солнца, и черная, как труп, Земля в золотисто-радужном ореоле, и ливень, и наводнение...

От Исхода нашего лунных дней двести двадцать шесть...

Тревога на меня что-то нашла — как там Мартины де-

ти. Придется мне снова пойти туда, к морю, и поглядеть, не нужен ли я им.

Тяжкий сон мне снился, и Марту я видел во сне.

*

После семи лунных дней отсутствия я снова побывал в Стране Теплых Прудов... Тревога о детях Марты привела меня туда.

Том стал мужем своих сестер, Лили и Розы.

Это просто удивительно, как люди мельчают на Луне. Ада, кажется, будет еще меньше ростом...

Во время моего пребывания у моря произошло страшное извержение Отеймора, самое сильное из всех, какие я помню. Южный склон кратера обрушился в море... Это был день двести тридцать восьмой от Исхода нашего; началось извержение через четырнадцать часов после полудня.

Когда я уходил, Роза ожидала ребенка.

Аду я взял с собой — слишком она одинока там... Сейчас она более, чем когда-либо, нуждается в моей опеке. Это ужасно, что мне еще нельзя умереть!

Я возвратился в Полярную Страну на двести пятьдесят первый день от нашего Исхода.

Том пытался удержать меня при расставании, но я видел, что он рад моему уходу. Том властолюбив, и ему не по душе, что я пользуюсь таким авторитетом у его жен. Рад он и тому, что со мною уходит Ада; он не любит Аду за то, что она не желает ему подчиняться, хоть она совсем еще ребенок.

*

Идут часы, тусклые и холодные, словно полярный свет незримого Солнца, — длинная-длинная, нескончаемая вереница часов...

Я с трудом сохраняю счет времени; говорю я мало, и Ада рядом со мной молчит. Просиживает целыми часами на зеленых мхах и обводит печальными, смутными глазами розовато освещенные вершины гор...

А я?..

Прямо и сам не знаю...

Давно я перестал жить настоящим, а тем более — будущим. Зато озираюсь назад и неустанно смотрю в лицо своим воспоминаниям. Невеселое общество! Печален я там, у моря, печален и здесь, где вижу Землю на краю небосклона.

*

Много времени прошло с тех пор, как я сделал последнюю запись. Ада подрастает и начала тосковать по своим близким, я вижу это по ней, хотя она и не желает прямо в этом признаться.

И я думаю, что пора все же мне возвращаться к морю. Я старею; а если я умру среди этой пустоты и одиночества, Ада будет обречена на смерть. Ради нее я вернусь, хотя, видит бог, как желал бы я остаться здесь и умереть, глядя на Землю!

Я уж и так боюсь, что слишком долго это дитя пробыло со мной, молчаливым и грустным отшельником. Станный это ребенок, и странно, что мы в этом одиночестве вместо того, чтобы сблизиться, становимся все более чужими друг для друга. Она глядит на меня широко открытыми глазами, и я вижу, что она думает о многом таком, чего мне не говорит.

Но самому-то себе я могу признаться? Я так давно здесь с этой девочкой, а ведь не привязался к ней, напротив, неприятно мне ее присутствие, так хотелось бы мне быть одному и беспрепятственно думать о прошлом... о Земле...

И все-таки нужно возвращаться... к Тому, к детям Тома, которые с удивлением и страхом будут смотреть на меня, на старого, седого человека, который некогда прилетел с Земли, а теперь долго жил в одиночестве...

Нужно мне возвращаться... Возвращаться нам нужно, Ада...

Еще нельзя мне умереть.

II

У моря, на Теплых Прудах

От Исхода нашего лунных дней четыреста девяносто два, то есть примерно тридцать восемь земных лет.

Очень давно уже я ничего не записывал на этих страницах — сегодня беру их в руки, чтобы отметить смерть Розы.

Она погибла, страшно сказать, от руки своего мужа и брата, любимого некогда моего воспитанника Тома, который в гневе ударил ее камнем по голове.

Вторая жена Тома и старшие его дети приняли это молча; им кажется, что он имеет право убивать всех, кто ему перечит. Одна лишь Ада, обычно державшаяся поодаль от семьи Тома, на сей раз выступила против убийцы. Без рыданий, без криков, но с гневным лицом и воздетыми руками шла девушка к нему, а он боязливо отступал, хоть мог свалить ее одним ударом, потому что он выше и сильнее.

Но Ада остановилась в двух шагах от него и, указывая на неостывшее тело Розы, начала потрясать руками и кричать:

— За кровь жены твоей проклиная тебя от имени Старого Человека!

(Старым Человеком теперь называют меня здесь.)

Том устрасился, но минуту спустя мрачно взглянул на меня, все это время молчавшего, а потом сказал Аде, ссылаясь придать надменность своему голосу:

— Роза была моя, я мог делать с ней все... кормить ее или убить. Почему же она меня не слушалась?

Этот страшный случай, это преступление — невольное, ибо я посейчас не верю, что Том ударил жену с намерением убить ее,— вдруг прояснило для меня три обстоятельства, в которых я ранее не отдавал себе отчета.

Я вижу прежде всего тиранию Тома, и мне кажется, что я тому виной, ибо воспитывал его и не сумел сделать иным. Да и не следовало, может, проводить одинокие годы в Полярной Стране, а их здесь предоставлять своей судьбе...

Еще удивила меня Ада. По ее выступлению против Тома и по многим другим признакам, которые мне лишь теперь припомнились, я понял то, на что мало обращал внимания до сих пор — необычные взаимоотношения у нее с братом и его семьей. Мне кажется, это взаимная ненависть, однако все остальные боятся этой девушки, самой молодой из первого поколения здешних людей. Она держится от всех вдалеке и считается чем-то вроде жрицы, хотя я и не знаю, удачное ли это определение. Жаль мне Аду, она одинока и, кажется, навсегда останется одинокой в этом мире, как и я,— жаль еще сильнее потому, что я не сумел стать для нее тем, чем, наверное, должен бы стать в таких обстоятельствах: добрым отцом и другом. Но и в ее отношении ко мне больше какого-то суеверного преклонения, чем любви. Видно, и в этом повинен я сам.

А третье, что более всего ужаснуло меня, ибо ближе всего меня касается: они считают меня... Но нет! Может, мне просто кажется! Что ж из того, что Ада проклинала Тома от моего имени? Ведь я же здесь самый старый,

так, наверное, только поэтому... А все же, если это так и есть,— неужто и в этом... идолопоклонстве повинен я сам?

Как странно все они произносят те слова, которыми меня именуют: Старый Человек...

*

Сегодня я снова видел сон, который уже много лет неотступно меня преследует, и я из-за него чувствую себя все более чужим в этом мире...

Снилось мне, что я был на Земле.

Но сегодня это был странный сон...

Меня окружали люди, и я весьма увлеченно беседовал с ними о делах государств, народов, о прогрессе... Мне говорили, что границы некоторых стран изменились с тех пор, как я оставил Землю, что другие теперь законы и отвергнуты прежние верования. Все это меня заинтересовало, и захотелось мне после долгого отсутствия своими глазами увидеть Землю, чтобы понять, какой она стала.

И вот я отправился в путь и проходил по знакомым мне некогда городам и краям. Действительно, изменилось многое. Я пролетал над континентами, и с высоты птичьего полета дивился тому, что на месте прежних столиц видны руины, на месте цветущих полей — пустыри и пепелища, а там, где некогда простирались пустыни, я видел воду, и видел я возделанные поля и луга вокруг новых столиц, бурлящих движением и жизнью. Я останавливался по временам и заходил в дома людей и спрашивал их о событиях моего времени, но никто уже ничего не мог мне ответить. Качали только головами и говорили «Мы ничего об этом не знаем» или «Мы забыли».

Ужас мной овладел и невыразимая печаль, ибо видел я, что Земля стала иной, совсем непохожей на ту, какую я знал.

Видимо, — думал я во сне, — прошли уже не годы, а века с тех пор, как я отсюда удалился, на Луне ведь так трудно считать долгие, похожие друг на друга дни, должно быть, я многие из них затерял в памяти... И вот я на Земле, которую не знаю и которая уже не знает меня.

И вдруг я почувствовал себя таким ужасающе несчастным! Чужой на Луне, с которой не сумел сжиться, чужой на Земле, на которую чудом каким-то вернулся — слишком поздно! Где же я теперь найду себе место?

И продолжал я парить в воздухе, а в сердце моем была страшная пустота. А тем временем на смену короткому дню приходила ночь. Первые звезды уже засверкали на небе, когда несомый внутренней силой я оказался над безбрежной равниной океана. Подо мной колыхались волны, будто чудовищные, переливающиеся извивы какого-то зверя с блестящей скользкой оболочкой, а в волнах отражались россыпи золотистых небесных светил.

Я взглянул вокруг: только здесь ничто не изменилось! Этот водный простор был все таким же безмерно громадным — и таким же подвижным. Но, думая об этом, я заметил, что море странно вспучивается и вздымает ко мне свои волны. И только сейчас я увидел, что прямо надо мной стоит полная Луна, а по океану катится к ней гигантский вал прилива. Ужаснул меня призрак того мира там, вверху, и хотел я бежать куда-нибудь, где не виден его ослепительный блеск, но вдруг силы меня покинули. Я почувствовал, что падаю на вздымающиеся волны, а они все растут и поднимают меня все выше, к Луне, выгибаются, словно громадные, неслыханно длинные шеи со сверкающими гривами, приглушенно хохочут и все выше швыряют меня. В нестерпимом ужасе я обернулся к Луне: она росла на глазах, становилась все ближе, раздвигалась, занимала уже половину горизонта, покрывала уже все небо, словно тускло-серебряным шлемом. Мне

казалось, что я вижу, как из-за ее краев высовываются головы измельчавших потомков Марты, и слышу злорадный смех и крики:

— Вернись к нам! Вернись к нам, Старый Человек! Ты ведь уже не земной.

Отчаяние, ужас, отвращение, гадливость и безумное желание остаться на Земле, пусть даже она знает меня не хочет,— все это бурей хлынуло в мою грудь, ужасный крик вырвался из моего горла, я напряг все силы, чтобы противостоять волнам, швыряющим меня в пространство, я хватался руками за воду, бил воздух ногами... Тщетно! Я вдруг почувствовал, что Земля уже не внизу, а над моей головой, и я падаю обратно на Луну...

Страшный сон! И еще более страшная действительность...

*

От Исхода нашего лунных дней пятьсот и один.

Том с двумя старшими сыновьями предпринял исследовательскую экспедицию по морю к югу. По его рассказам я заключил, что они добрались почти до самого экватора. Однако продвинуться дальше им помешали страшные тропические штормы. Так и пришлось им вернуться ни с чем.

Том долго беседовал со мной после возвращения. Много говорил о своей матери и о Розе — жалел о ее смерти. Потом, вспомнив о путешествии и описав мне страшные трудности, которые ему пришлось преодолеть, он задумался, а под конец сказал, что опасается, не было ли это его последним путешествием...

Действительно, смотрю я на него и прямо не понимаю... Этот человек, прожив едва половину моего возраста, уже состарился. На Земле он только достиг бы рас-

цвета сил... Здесь люди раньше созревают и раньше стареют. Тем удивительней, что я живу...

Я сказал об этом Тому, а он взглянул на меня и, колебавшись, произнес:

— Да, но Ада и мои дети говорят, что ты — Старый Человек...

Странно прозвучали у него эти слова.

— Но ты-то,— возразил я,— ты, который знаешь меня с детских своих лет, что обо мне говоришь ты?

Том ничего не ответил.

Через четырнадцать лунных дней после смерти Розы умер Том. Оставил он двенадцать детей: пятеро от умершей жены, а семеро от Лили.

Я сам похоронил его на Кладбищенском острове, рядом с могилами Марты, и Педро, и Розы, и самого младшего, тринадцатого ребенка, который умер вскоре после рождения.

Лили ужасно горюет по умершему. Кажется мне, что и она вскоре последует за ним.

Одна Ада спокойна.

Патриархом лунного народца стал теперь Ян, старший сын Розы и Тома, женатый на дочери Лили...

А я... я давно уже не в счет...

Ада с глубоким убеждением сказала мне сегодня, что я никогда не умру... Не знаю, то ли она сошла с ума,— да и все это лунное поколение, которое внимает ей и, надо полагать, верит,— то ли я и вправду некое странное исключение меж людей... Ведь действительно — почему я все еще живу?

*

Лили умерла.

Из первого поколения лунных людей одна только Ада еще жива.

От Исхода нашего лунных дней пятьсот и семнадцать...

*

Ужас меня охватывает, потому что вокруг меня действительно происходит нечто такое, чего я не могу и не хочу — не хочу! — понимать...

Во время бури, на этот раз более лютой, чем обычно, и совпавшей с грозным извержением Отеймора, лунный народец пришел к моему дому с жертвоприношениями, а во главе шла безумная Ада, которая, видимо, лишилась рассудка из-за долгого одиночества в Полярной Стране. Уже со времени плачевного конца Розы, который страшно ее потряс, я начал думать, что в ее мозгу творится нечто неладное, а теперь вижу, что Ада действительно помешалась. Но только я один это и вижу! Они ее чтят и думают, что ее осенило свыше! И сегодня, под ее безумным предводительством — страшно вымолвить! — они молились мне, чтобы я остановил ветры и успокоил колеблющуюся под их ногами почву! Значит, они и вправду считают меня...

Как страшно одинок я в обществе этой безумицы и этих карликов, едва заслуживающих наименования людей!

Такое ужасающее уныние по временам овладевает мною...

Сегодня взялся приводить в порядок давно уже насквозь пропылившуюся библиотеку и бумаги, и вдруг напала на меня охота все сжечь, и дневник этот тоже...

Не сжег я ничего. Но книги и бумаги остались разбросанными на полу, лежат в беспорядке передо мной, а мне и рукой шевельнуть неохота, чтобы их поднять.

Пусть так и останутся. Когда я умру, наверно, никто уже к ним не прикоснется.

III

Столько дней, столько нескончаемо долгих дней и ночей...

Мне кажется, что я утратил счет времени. Так тяжело считать дни, похожие друг на друга, как две капли воды, дни, за которыми не поспевают мои старые земные часы и останавливаются на ходу прежде, чем Солнце взойдет в зенит... Только сердце мое отмечает биением каждую частицу суток, и когда я спрашиваю его, который час, оно неизменно отвечает, что это час неутолимой тоски, а ежели я спрошу, сколько таких часов протекло, оно отвечает лишь: «Слишком много. Слишком много!»

Так оно и есть, о безутешное, одинокое сердце мое! Слишком много этих часов, слишком много тоски — и жизни уже слишком много...

Волосы мои поседели много лет назад... Сколько лет? — Почем я знаю! Там, на Земле, наверно, прошел не один десяток лет с того дня, как я опускал трупы в первые могилы на Кладбищенском острове. Теперь этих могил прибавилось. Я вырыл могилу для Тома, для Лили и Розы, а ведь они были детьми, когда я уже клонился к старости; вокруг меня подрастают правнуки тех, кто был со мной в этот мир с Земли, а я все живу.

Это так поразительно, что я уж порой не могу понять своей сущности; я сам готов допустить, что правду говорит легенда, возникшая среди лунных поколений, будто я вообще никогда не умру...

Припоминаю: на Земле, на моей любимой, утраченной навеки Земле, я читал однажды в книге какого-то ученого-естествоиспытателя, что смерть есть явление непонятное и случайное, отнюдь не вытекающее из условий жизни. Страх меня охватывает, как подумаю, что в таком случае она может забыть обо мне и не прийти.

*

Если я правильно считаю, то уже пятьдесят с лишним лет миновало с той поры, как я с умершими ныне товарищами покинул Землю.

Из тех людей, кого я знал, наверное, мало кто жив; те, кто в детстве слышал о безумцах, отправляющихся на Луну, теперь поседели и, может, забыли имена этих путешественников, которых там считают погибшими...

Пятьдесят лет! Сколько перемен, наверное, было за это время на Земле. Может, я не узнал бы теперь знакомых некогда мест. И память моя слабеет... Пока она еще хранит множество деталей, которые я с нежной любовью перебираю в часы долгих размышлений, но я вижу, что с каждым днем они становятся все более разрозненными образами, мозаикой из драгоценных, тоской моей отшлифованных камней, которая уже разламывается и распадается.

Я все заново и заново укладываю эту мозаику в своих мыслях; взамен камешков, которые я порастерял за долгие годы, подставляю какие-то смутные домыслы и снова сменяю картины, развлекаясь под старость этими сокровищами воспоминаний, как ребенок калейдоскопом.

И так они искрятся и переливаются, эти воспоминания, когда смотришь на них сквозь слезы!

Хоть один бы день, один час — там, на Земле! Хоть раз еще повидать бы людей, настоящих, на меня похожих

людей! Услышать бы, как шумят сосны, дубы, липы, увидеть распушенные по ветру косы березовой рощи и траву на лугах, вдохнуть запах земных трав и цветов, услышать пение птиц, поглядеть, как на полях весной зеленеют озимые, а летом колышутся золотистые колосья!

Многое, наверно, изменилось на Земле, но люди по-прежнему там есть, и птицы есть, и зелень!

Временами мне вспоминается прекрасное поверье, что душа человека, освободившись от тела, может вольно странствовать по иным мирам, по звездам и планетам. Некогда, мальчонкой, находясь еще на Земле, я мечтал, услышав об этом, о странствиях по звездным просторам,— а сейчас я только и хотел бы жить на Земле, всегда, вечно на Земле! И если иной раз станет мне страшно, что Земля теперь уж не та, какой я знал ее пятьдесят лет назад, я напоминаю себе, что есть ведь люди, есть леса и поют в них птицы, есть луга и цветут на них цветы... Этого хватит душе моей, если ей позволено будет уйти туда...

Как давно уж я не слышал пения птиц!

А я помню, еще помню рассветы, насквозь пронизанные пением птиц... Серый свет разливается над миром, небо бледнеет, потом слегка розовеет на востоке; тишина царит безграничная, слышен только шелест крупных жемчужин росы, спадающих с листы деревьев. Потом вдруг раздается первое, короткое, отрывистое чириканье, за ним еще, в другой стороне, и третье, и четвертое... Еще мгновение тишины, а потом, словно все деревья, все кусты сразу ожили, вокруг подымается щебет, шелканье, посвист, трели, гомон; сначала еще можно различить отдельные голоса: вот здесь дрозд отозвался, там, из лесу, слышен крик сойки, поближе где-то воробы, трясогузки, синички, а вверху жаворонок,— а потом уже слышится единый, огромный, радостный, звонкий хор, и воздух трепещет от него, и листья, кажется, трепещут, и цветы, и травы. В мире

тем временем становится все светлей, небо розовеет все ярче и, наконец, Солнце выплывает на небосвод...

Здесь Солнце восходит лениво и безмолвно... Так и хочется сказать — не спешит оно потому, что никто его не призывает... Многочасовый серый рассвет, при котором все вокруг по-прежнему сковано холодом и покрыто снегом, не знает веселого пения птиц. Солнце здесь, на Луне, всегда восходит над мертвым миром и в бездонной тиши. Прокричит лишь человек, пришелец с далекой планеты, тихонько заплачет проснувшийся ребенок или одичавший пес, коченея от холода, заскулит в яме, из которой он с вечера выгнал какого-нибудь лунного уродца...

И весь нескончаемо долгий день царит тишина, разве что ветер сорвется, разбудит море и засвищет средь скал, или проревет широкая глотка вулкана, вторя грохочущим громам...

*

Как живо встало у меня в памяти все, что я пережил! Перелистываю пожелтевшие страницы, и чуть прикрою глаза, кажется мне, что я слышу громоыханье машины, несущей нас сквозь ужасные лунные пустыни, что вновь вижу черное небо и сияющую Землю на нем, и гигантские горы, угольно-черные в тени и отливающие всеми цветами радуги в сверкании чудовищного Солнца без лучей, которое движется меж разноцветных звезд к Земле, изгибающейся все более узким серпом. А потом вспоминаются мне первые годы, прожитые уже здесь, на берегу моря. Сквозь сомкнутые веки я вижу бледную и печальную Марту, и Педро, и тех прелестных детей, которых уже нет в живых. Только Ада еще жива, но мне кажется, что она не помнит родителей, хотя и рассказывает новому поколению многое из того, что слышала о них от меня, со вся-

кими фантастическими добавками. Она была такая еще маленькая, когда они умерли. Теперь она самая старшая после меня на всей планете, и эти карлики чтят ее почти так же, как меня, с той лишь разницей, что меня они вдобавок боятся,— уж не знаю почему: видит бог, я никогда ничего плохого им не сделал.

Но, правда, я не умею обращаться с ними, как с равными себе людьми. Иногда они скорее кажутся мне удивительно смысленными зверьками. Уже первое родившееся здесь поколение отличалось от нас, прибывших с Земли; Том и его сестры, даже когда выросли, рядом со мной казались детьми. И рост их, и силы уже приспособились к условиям здешнего мира — к меньшей его массе и к уменьшенному весу предметов. А по сравнению с тем племенем, что сейчас окружает меня, я подлинный великан. Внуки Марты, уже взрослые люди (удивительно они здесь быстро созревают!), едва достают мне головой до пояса и сгибаются под тяжестью предметов, которые я абсолютно легко подбрасываю одной рукой. При таком хрупком телосложении они, однако же, вполне здоровы и необычайно хорошо переносят и зной, и морозы.

Правда, долгими ночами они по большей части спят, но в случае необходимости могут в самый лютый мороз работать с таким азартом, что диву даешься.

Но дух у них поразительно захирел. Куда девались даже те крохи культуры, которые мы привезли с собой с Земли! Я гляжу вокруг, и мне кажется, что я попал к существам, которые лишь наполовину люди... Они умеют читать и писать, умеют выплавлять металл из руды, ставить капканы и ткать одежду, пользуются огнем, даже знают, как употреблять разные измерительные приборы, говорят со мной на довольно чистом польском языке и неплохо понимают содержание книг, написанных по-французски и по-английски, но меж собой они беседуют на

странном убогом жаргоне, который состоит из искаженных польских, английских, малабарских и португальских слов, а мысли плывут лениво и тяжело в их тесных черепках; кажется, что с величайшим трудом они складывают их в слова, помогая себе при этом мимикой и жестами, как дикари где-нибудь в глубинах Африки или на южной оконечности американского материка.

И такая безмерная печаль овладевает мною, когда я смотрю на это третье поколение людей, прибывших сюда с Земли! Печаль моя тем сильнее, что я, сознавая собственное превосходство, не могу избавиться от презрения к этим жалким полудикарям и в то же время чувствую себя соучастником преступления. Ибо воистину мы преступно надругались над родом человеческим, перенесли его сюда в своем лице и позволив ему плодиться на этой, не для него предназначенной планете... Природа одинаково неумолима, и когда она триумфально шествует вперед, и когда, осуществляя свое издавна любимое дело эволюции, создает все новые и все более высокоразвитые формы, и когда, оскорбленная, отступает, уничтожая то, что создала. Тщетно я боролся с ней, пытаюсь сохранить в лунном поколении человеческий дух на той же высоте, на какую он вознесся на Земле. Единственный и неожиданный результат моих усилий — то смешанное со страхом уважение, которое они питают ко мне. Я для них не только великан, но и таинственное существо, которое знает то, чего они не знают, и понимает то, что они неспособны понять...

А к тому же Ада все твердит им, что на севере есть край, где Солнце никогда не заходит, а еще дальше есть ужасная, бескрайняя, смертоносная пустыня, а над пустыней сияет огромная золотистая звезда, и что я с той звезды прилетел на Луну. Разве этого недостаточно, чтобы заморочить жалкие мозги этим карликам? Они не были

там никогда и не видели сверкающей Земли, но Ада была со мной в Полярной Стране и рассказывает им теперь чудеса, а они слушают ее, затаив дыхание, и боязливо поглядывают на меня, седого гиганта...

И до того я одинок среди них!

*

Ночь. Не умею я, к сожалению, спать по триста часов кряду, как эти лунные людишки, а потому сижу вот и думаю.

Я живу в старом доме, который некогда построил с Мартой и Педро. Днем спуют вокруг пруда карлики и поглядывают на меня с любопытством, хотя знают меня сызмальства, но ни один из них не отваживается войти сюда. Одна лишь Ада приходит ко мне в некие строго установленные часы, приносит пищу, прибирает, а если застанет меня дома, то задаст мне два-три привычных, обыденных вопроса, потом часок-другой молча посидит на пороге и уходит, вновь оставляя меня одного.

Мне кажется, что она понимает эти посещения как своего рода долг по отношению ко мне и как бы совершает при этом обряд почитания, подобающего Старому Человеку.

Странное помешательство у этой женщины. С виду совершенно спокойная и рассудительная, она одержима маниакальной идеей, неведомо откуда взявшейся в ее сознании. Ей кажется, что я сверхъестественное существо, властвующее над лунным миром, а она — моя жрица и пророчица этого народа, который неколебимо верит в нее.

Какой-то миф, какая-то новая, фантастическая религия возникла в ее бедной голове, религия, соединившая в себе обрывки Священного писания и моих рассказов о Земле и о нашем прибытии сюда. Ада проповедует эту

религию детям Тома, которые верят ей больше, чем мне.

Вначале я старался всячески противодействовать распространению этого мифа, в котором столь существенное место занимала моя персона, но в конце концов убедился, что тут я совершенно бессилен. Я долго втолковывал Аде, что ведь я — и ее родители, которых она должна еще помнить, — такой же человек, как лунные люди, а если я больше и сильнее их, то лишь потому, что родился на иной, большей планете, на Земле. Она слушала меня внимательно и молча, а когда я наконец потерял терпение, прошептала, глядя на меня с хитроватой улыбкой:

— А как ты сумел, Старый Человек, попасть сюда с Земли и перенести моих родителей, если никто другой не смог этого сделать? Откуда ты знаешь все, чего никто другой не знает? А главное — почему ты не умираешь, как все другие?

Я выбрал ее и запретил раз и навсегда рассказывать сказки обо мне, но не очень-то это помогло. Несколько часов спустя я услышал, что она говорит Яну, теперешнему лунному патриарху, который пришел ко мне по какому-то делу:

— Старый Человек сердится, Старый Человек не хочет, чтоб было известно, что он... Старый Человек.

Ян ужасно огорчился.

— Это плохо, это очень плохо, а я как раз хотел просить его, чтобы он перенес к моему дому камень, который мы с сыновьями не можем поднять...

— Надо его уmolить, — сказала Ада, — только вы принесите побольше улиток, салата и янтаря, и я ему все это отдам. А главное, — тут она приложила палец к губам, — не говорите ничего при нем! Тсс! Потому что он этого не хочет.

Выйдя из-за угла, откуда я слушал весь этот разговор, я вновь отчитал Аду и направился к дому Яна, что-

бы сделать то, чего он хотел. Уходя, я еще расслышал, как Ада шепнула приунывшему патриарху:

— Вот видишь! Он все знает и все слышит!

С чего началось у этой женщины такое помешательство — не знаю, но, бесспорно, оно составляет смысл ее жизни и на нем зиждется колоссальный авторитет, которым она пользуется у лунных людей. Еще при жизни первого лунного поколения Лили и Роза боялись ее, и даже Том, который не всегда был склонен уступать мне, дрожал перед Адой. Сейчас его дети нипочем не посмели бы послушаться ее приказов.

Меня возмущает эта бестолковщина, которую Ада вбивает в бедные мозги внуков Марты, однако я испытываю к ней великую жалость... Тем более что в этом ее тихом безумии я наблюдаю светлые полосы, проблески сознания, во время которых она, надо полагать, отдает себе отчет, что живет иллюзиями, и, наверное, страдает.

Помню один такой случай.

Было уже полночь, когда Ада пришла ко мне. Меня удивило посещение в такое необычное время, тем более что мороз тут не шутит и выходить из дому ночью — дело и неприятное, и страшное.

Она застала меня склоненным над какой-то книгой и, не желая мешать, тихо уселась в углу на скамейке.

Я видел, что ей хочется говорить со мной, но умышленно не обращал на нее внимания. Ада сидела некоторое время молча, но наконец, видя, что я ее будто не замечаю, подошла ко мне и легко, легонько прикоснулась рукой к моему плечу:

— Господин!

Я стремительно повернулся. Так она никогда не обращалась ко мне. Из ее уст я слышал всегда лишь «Старый Человек». И странно! Услышав сейчас это обращение «Господин», я испытал необычайное чувство: в нем был

и оттенок радости, что ко мне обращаются по-человечески, а вместе с тем словно бы и возмущение, что смеют так обращаться.

— Господин... — повторила Ада.

— Чего ты хочешь, дитя? — спросил я как можно более ласково. Мне пришлось дважды повторить вопрос, прежде чем она наконец ответила:

— Я хотела спросить... хотела бы узнать...

— Что?

— Господин! Я ничего не знаю! — вдруг воскликнула она с таким трагизмом в голосе и с таким отчаянием в устремленном на меня взоре, что, глянув на нее, я сдержал язвительное замечание: мол, тогда не стоило бы ей так много разглагольствовать перед лунными людьми.

А она между тем продолжала:

— Я совсем ничего не знаю... И я хотела просить тебя, чтобы ты сказал мне наконец, что это все значит, кто ты на самом деле и кто мы? Я вижу, что ты одинокий и старый, сильный и большой, но мне кажется, что я еще помню моих родителей, которые тоже были не такие, как мы сейчас, а похожие на тебя...

Она замолчала, а потом снова повторила, глядя мне в глаза:

— Скажи, кто ты и кто такие мы?

А со мной происходило странное. Правда, мне казалось, что на этот ее вопрос я отвечал уже давно и неоднократно, однако на меня вдруг нахлынуло желание говорить, говорить по-человечески с этой женщиной, которая наконец по-человечески обратилась ко мне. Я был растроган, я ощущал, как смягчается мое сердце и слезы просятся на глаза, и я не мог произнести ни слова.

Через некоторое время я лишь повторил, как эхо:

— Кто я!..

Мне казалось, что я уж и сам этого толком не знаю...

Ада снова заговорила:

— Да, кто ты, господин?.. Мы все называем тебя Старым Человеком, но я сегодня думала... и вот пришла спросить тебя... скажи мне правду: ты действительно Старый Человек?

Это здешнее мое прозвище, которое сама же она и распространила, Ада произнесла теперь с суеверным страхом, всякий раз запинаясь и понижая голос.

— Я хочу знать,— продолжала она,— действительно ли ты пришел сюда с той Земли, которую я видела, и можешь сделать все, что захочешь, и в самом ли деле ты никогда не умрешь, и если ты оставишь нас и вернешься на Землю, то действительно ли мы будем обречены на погибель, как думаем мы?

Она сказала все это почти одним духом и вперила в меня сверкающий тревожный взор.

Но что же я должен был ответить? Мгновение назад я еще хотел пооткровенничать с ней, повторить задушевно все, что я столько раз уже рассказывал — о Земле, о нашем прибытии сюда, об умерших друзьях моих — но, слушая ее речи, внезапно понял, что все это тщетно, ибо она хочет утвердиться в убеждении, что я — Старый Человек, то есть, по их понятиям, некое сверхъестественное существо.

Снова обуяла меня скорбь, и я долго не мог найти слов...

— Зачем ты спрашиваешь? — проговорил я наконец. — Ведь я уже не раз тебе объяснял.

— Да... но я хотела бы, чтобы ты сказал мне правду!

Мне вспомнилось, как много-много лет назад вот так же обратился ко мне маленький Том, когда я ему показывал Землю и говорил, что прибыл оттуда: «Дядя, а теперь скажи мне правду!».

— Скажи мне,— настаивала Ада,— скажи, правда ли,

что ты вместе с моими родителями прибыл с той громадной звезды, которую ты зовешь Землей?

Она схватила мою руку и уставилась на меня горящими глазами. Никогда еще я не видел ее такой.

— Скажи мне! — восклицала она. — Ведь я повторяю это всем людям, и они верят в тебя!

Последние слова у нее будто из самого сердца вырвались. Это просто перепугало меня. Я никогда не думал, что в душе этой скрытной, полоумной, уже увядающей девушки может происходить такая борьба, могут бушевать такие чувства. «Они верят в тебя!» — вот в чем заключалась сейчас вся удивительная трагедия ее жизни. Ада создала для лунного народа новую идолопоклонническую и фантастическую религию и теперь, когда у нее внезапно возникло сомнение в том, что она сама же проповедовала, она пришла ко мне, чтобы из уст моих услышать подтверждение, — ибо люди верят в меня! В этом возгласе звучала словно и жалоба, что люди эти так несчастны и ничтожны по сравнению со мной, и в то же время мольба — не лишать их этой веры.

Я долго смотрел на нее, и, кажется, слезы стояли в моих глазах.

— Ада, ты согласишься тому, что я тебе сейчас скажу?

— Поверю, поверю!

Я с минуту колебался: а может, отречься от своего земного происхождения? Если б они думали, что я родился на Луне, как они сами, то, может, перестали бы считать меня высшим существом? Но отречение от Земли вдруг показалось мне чем-то таким чудовищным, что при одной этой мысли пот проступил у меня на лбу. Я все же решил втолковать Аде, что я действительно человек старый, но отнюдь не Старый Человек в их понимании, и что они должны это понять, хоть и будет им мучительно трудно расставаться с укоренившимся суеверием.

— Я действительно прибыл сюда с Земли...— начал я. Но Ада уже не дала мне закончить.

— Так это правда? — вскричала она. — Правда?

Я молча кивнул. В тот же миг Ада припала к моим ногам.

— О, благодарю тебя, Старый Человек, и прошу — прости меня, что я осмелилась... Теперь я знаю, ты истину Старый Человек!

Я взглянул на нее с изумлением. В глазах Ады, мгновение назад еще разумных и трезвых, вновь пылал тот таинственный огонь, который сжигает ее, руки ее дрожали, а лицо зарделось лихорадочным румянцем.

— Благодарю тебя, Старый Человек, — твердила она. — Я пойду и возведу народу.

Не успел я опомниться от изумления, в которое привели меня эти неожиданные слова, как Ады уже не было рядом. Она ускользнула столь поспешно, что я не успел ни остановить, ни окликнуть ее.

Ада безумна, но странно мне, что потомки Тома так безоговорочно верят ее словам, странно, что все эти сказки нашли в их умах столь благодатную почву.

Нередко задумываюсь я над тем, как это все произошло. Может, и сам я в этом частично повинен: слишком сторонился нового лунного племени, а заметив, что они создают вокруг меня легендарный ореол, счел это поначалу ребячеством и не попытался подавить в зародыше. Когда же, наконец, придя в ужас, я начал бороться против этой легенды, было уже слишком поздно.

Еще при жизни Тома я заметил, что среди его детей начинают ходить обо мне всякие фантастические слухи. Из случайно услышанных фраз я понял, что мои познания и необычайную — по сравнению с ними — силу они считают каким-то сверхъестественным явлением. В их глазах я был по меньшей мере могучим чародеем. Том,

правда, не распространял таких слухов, но, насколько мне известно, и не опровергал их. Меня это поначалу только смешило.

Но после смерти Тома дела приняли гораздо худший оборот. Мне кажется, что сейчас я для этого народца нечто куда большее, чем чародей. Они полагают, что я все знаю и все могу, а если не всегда делаю то, о чем они просят, так потому лишь, что не хочу. Ведь просили же они меня, чтобы я отвел идущие с юга ураганы, и говорили, что Аде это, к сожалению, не удастся, хоть она действует от моего имени. И она послала их ко мне — ибо я все могу!

А еще как-то раз Ян допытывался у меня под большим секретом, когда я намереваюсь покинуть их и вернуться на Землю? Ада пророчит им, что это, несомненно, произойдет, а они боятся моего ухода!

Я, конечно, смотрю с глубокой и мучительной скорбью на то, что творится в умах у этого поколения. Ничем я тут не могу помочь, а может, просто не хочется мне уже бороться против наивного невежества... Все меня мучает, все меня угнетает. Радуюсь, когда могу хоть на минуту забыть, где я и что вокруг происходит, и, закрыв глаза, наяву видеть сны о Земле.

Там люди, настоящие люди, такие леса, такие птицы, такие ароматные цветы на лугах!..

Да, там...

И только все больше хочется мне навсегда уйти отсюда! Если бы я мог, как они уверовали, вернуться на Землю! Я помешан на этих мыслях о Земле. Чем ни займусь, а мысли эти снова и снова приходят на ум и по ночам не дают мне покоя. Стоит только уснуть, как всплывают перед глазами всякие фантастические картины, но все они — лишь вариации одного мотива: Земля! Земля! Земля!

Давным-давно, когда я еще жил там, слово «Земля» означало для меня разные континенты, разные страны, государства, народы — сейчас все это слилось в единую мысль, в единую любовь и тоску. Я не могу уже различить на таком расстоянии во времени и в пространстве ни государств, ни народов, отличающихся по языку и по религии, и даже человечество сливается в душе моей в нераздельное единство с животными, растениями и всей громадой планеты, и так это все сияет и сверкает в моих мыслях, как там, в черном небе над пустынями.

Земля! Земля!

*

Вспомнился мне сегодня Том — в те счастливые времена, когда он, еще ребенок, был моим постоянным спутником и другом. Я долго думал о нем — и сейчас, в тихой и морозной ночи, мелькают пред моим взором отшельника красочные картины его детских лет...

Как-никак, это был единственный человек из лунного племени, которого я действительно любил. И так необычайно занимало меня все, что касалось его.

Он развивался поразительно быстро — по-видимому, под влиянием особых условий здешнего мира. В четырнадцать лет он был уже взрослым, зрелым мужчиной. Подрастали и две старшие девочки. Я смотрел на них, как на расцветающие цветы, которые еще не сознают своего очарования, но уже благоухают и, может быть, инстинктивно предчувствуют, что они привлекательны и что свершается в них некое таинство, растет непостижимая сила, делающая их драгоценными, желанными и священными.

Их отношение к Тому заметно переменилось. Раньше это были две служанки, два маленьких мотылька, кото-

рые непрерывно вьются вокруг своего светловолосого повелителя и только ищут возможности понравиться ему или в чем-нибудь пригодиться. Том сознавал свое огромное превосходство над сестрами и считал его вполне естественным. Он даже пренебрежительно относился к девочкам.

Если изредка, в приливе нежности, он гладил одну из сестер по пышным, мягким волосам или даже целовал, то делал это всегда с видом доброго властелина, который желает вознаградить преданность своих слуг, но печется о том, чтобы их не разбаловать слишком частыми проявлениями своей монаршей милости. Это его отношение к девочкам всегда огорчало меня, и я не раз выговаривал Тому, видя, как он беспощадно командует сестрами, а взамен только и позволяет — любить себя. Я не предвидел, что все это совершенно изменится — по крайней мере на некоторое время.

В ту пору, о которой идет речь, девочки стали сдержанней проявлять любовь к брату и даже, как мне показалось, начали его избегать. Иногда лишь украдкой они бросали вслед ему пугливые беглые взгляды и краснели всякий раз, как он к ним подходил. Чем больше они отдалялись от Тома, тем нежнее и ласковее становились друг с другом.

Перемена эта совершилась быстро и как-то так неприметно, что, обнаружив ее, я уже не смог уяснить, когда все это случилось. Я одно лишь понимал, глядя на этих троих детей, если судить по-земному, что у меня на глазах произошел полнейший переворот, совершенный природой, которая стремится творить, — даже если впоследствии она выместит свой гнев на орудиях и созданиях великой своей воли.

Это уже не были брат и сестры; это были две женщины и мужчина...

Сами они, ясное дело, не понимали этого. Том старался обращаться с сестрами по-прежнему, но это ему давалось с трудом. В их обществе он терял уверенность в себе, конфузился. Видно было, что теперь эти смиренные хрупкие девочки в чем-то имели перевес над ним, будущим владыкой лунного мира. Он теперь не командовал ими, а скорее им прислуживал. Приносил им пищу, заботился об их одежде, об удобствах и развлечениях, собирал для них красивые пестрые раковинки и кусочки янтаря, которые они вплетали в косы, или катал их в хорошую погоду на лодке. В этих прогулках обычно участвовал и я. Странное дело! Девочки, выросшие вместе с Томом и проводившие с ним ранее все дни напролет, теперь не хотели оставаться с ним наедине. Порой я, как более сильный и опытный, предлагал сменить Тома на веслах, но Том не соглашался. Я заметил, что он не столько меня оберегает, сколько хочет щегольнуть перед девочками своей силой и ловкостью.

Извечная комедия разыгрывалась у меня на глазах, но я с радостью наблюдал ее. Мне казалось, что передо мной трое птенцов, моя ладонь лежит на их бьющихся сердцах, и я знаю, как бьются сердца, и понимаю даже то, чего они сами еще не понимают. Со времени смерти Марты это была едва ли не единственная пора в моей жизни, когда я чувствовал себя почти счастливым... Чем-то свежим, весенним веяло на меня от этих детей, в которых совершалось великое таинство жизни и любви...

Сегодня и это — уже воспоминания далекого прошлого! Я с умилением вызываю их в памяти — ведь так мало знал я на этой планете дней, о которых мог бы вспоминать с удовольствием и без душевной боли.

Но — снова эта ужасная ирония жизни! Любовь Тома к Лили и Розе — он любил их обеих, — любовь, от одного вида которой блаженно таяло мое сердце, породила

то карликовое поколение, что теперь понемногу заселяет окрестности Теплых Прудов.

Каждый раз, как мне приходит это на ум, я содрогаюсь, будто вдруг обнаружил в корзине роз отвратительно извивающихся червей.

Впрочем, я, может быть, несправедлив к этим карликам. Ведь они прежде всего несчастны, так несчастны, что когда я на них смотрю, моя человеческая гордость прямо корчится от боли.

Том несравненно превосходил их. Я помню его невысокую, но полную достоинства фигуру... Энергичен он был и умен, в глазах у него еще светилось то, что мне трудно разглядеть во взгляде его потомков: душа.

Слишком все это мучительно для меня — прямо-таки трудно писать об этом спокойно!

«Почему все так сложилось?» — смешной вопрос, на который не сыщешь ответа. Да потому же, почему мы прилетели сюда, почему Томас умер и оставил Марту между нами двумя, почему я отказался от нее, хотя был ближе ее сердцу, почему она умерла и почему я живу — то есть все по той же роковой и беспощадной необходимости, которая зажигает и гасит звезды, а о счастье и стремлениях человека заботится не больше, чем ветер об уносимой им песчинке.

*

Я снова перечитываю то, что записал на этих листках последней ночью, и невольно спрашиваю себя: зачем и для кого я это пишу?

Некогда, отмечая события, происходившие за время нашего путешествия через мертвую пустыню, и позже, описывая первые годы нашей жизни на Луне, я думал, что оставлю этот дневник лунным людям, чтобы будущие

поколения знали, как попали мы сюда, что пришлось нам выстрадать и преодолеть, прежде чем мы нашли маломальски подходящие для жизни условия. Но теперь... Ведь это же смешно — так думать! Лунные люди, такие, как они есть, никогда этого не прочтут. И я даже не хочу, чтобы они читали. Что им до того? Что им до моих переживаний, чувств, страданий? Разве они смогут понять? Разве они увидят в этих листках нечто большее, чем фантастический и не очень внятный рассказ? А если б и смогли понять, то зачем им знать, что они — выродившиеся остатки великого племени, дух которого подчинил себе далекую и прекрасную звезду? С того дня, как они узнали бы об этом, им осталось бы только страдать от тоски, стыда и боли, как страдаю я, глядя на них.

Так пусть уж здешнее человечество постепенно забывает, чем оно было некогда на другой планете, и пусть не навещает его «метафизическая грусть».

Я этот дневник пишу теперь для самого себя. Если б я мог мечтать о том, чтобы каким-нибудь чудесным образом переправить его на Землю, я писал бы его как послание к братьям моим по духу, которые остались на Земле, приветствовал бы и благословлял на каждой странице земные широкие просторы, злаки, цветы и плоды, леса и сады, птиц и людей — все, все, что сегодня, в воспоминаниях, так невыразимо дорого мне!

Но я знаю, к сожалению, что никогда этого не будет, что я не могу ни единого слова послать на Землю и устремляюсь к ней лишь мыслью да взглядом, когда порой одолевает меня тоска и я отправляюсь на рубеж Полярной Страны, чтобы увидеть отчизну, сияющую над пустынями. Итак, я пишу для себя. Болтаю сам с собой, как все старики. А если иногда мне удастся на краткий миг обмануть себя, будто я пишу для людей, живущих на Земле, то сердце начинает живее биться в груди и кровь

стучит в виски, ибо кажется мне тогда, что я протягиваю какую-то нить между собой и родной моей планетой, удаленной на сотни тысяч километров...

Я бы тогда охотно описывал мельчайшие подробности здешней своей жизни, исповедовался бы в своих мыслях, жаловался на страдания и перечислял редкие, мимолетные радости.

Только... радостей этих было так мало!

*

Итак, я писал о весне, о единственной весне, которую пережил на этой печальной планете, глядя на пробуждающуюся любовь Тома и девушек.

Возможно, следовало мне тогда остаться с ними... но мне казалось, что если я удалюсь от них на некоторое время, распорядившись, чтобы в мое отсутствие ничего важного не предпринимали, то продлю эту свежесть, весну эту, а вернусь в летнюю пору, чтобы вязать зрелые снопы.

Безумец я старей! Ведь падающий камень не удержишь тем, что отвернешься от него! Жизнь пошла своим обычным путем.

Когда я вернулся к морю через несколько лунных дней, прожитых в Полярной Стране, Том приветствовал меня с необычайной серьезностью и повел к старому дому, где мы жили все вместе.

— Вот твой дом,— сказал он,— такой, каким ты его оставил. Мы ничего не трогали. Только Ада жила здесь без тебя, да два твоих старых пса, которых ты не взял с собой.

— А ты? — спросил я.— А старшие сестры? Где же вы были?

Том оглянулся. Я последовал за его взглядом и лишь теперь заметил, что неподалеку, среди зарослей на бере-

гу теплого бассейна, расположенного повыше, стоит почти уже достроенный новый дом.

— Я построил себе другой дом,— сказал Том.

— Зачем? — невольно удивился я.

Том слегка замялся, затем показал на Лили и Розу, как раз приближавшихся к нам, и произнес, глядя мне прямо в глаза:

— Это мои жены!

— Которая? — спросил я почти безотчетно.

Наступило молчание. Том поник головой, а девушки встревоженно глядели на нас.

— Которая из них? — повторил я уже сознательно.

— Я их обеих люблю,— ответил Том,— и обе они мои!

Сказав это, он взял девушек за руки и подвел ко мне.

— Благослови нас, Старый Человек!

Вот тогда он впервые и назвал меня этим именем, которое теперь ко мне приросло навсегда, как видно.

С той поры в жизни нашей наступили перемены, с виду незначительные, но весьма существенные. В маленьком нашем обществе произошел раскол. Том с женами составлял отдельную, замкнутую в себе семью, узы которой все укреплялись по мере того, как на свет появлялись дети. Я и Ада остались в стороне. Я чувствовал, что с каждым днем становлюсь все менее нужным этому миру, и с каждым днем нарастала во мне тоска по моему родному миру, такому далекому и иному, а жизнь тем временем развивалась вокруг меня стремительно и неудержимо.

Я неохотно думаю о дальнейшей совместной жизни Тома с сестрами. Он не был добр к ним, хоть они неизменно любили его до последнего вздоха. Слишком многого он от них требовал и слишком был деспотичен. Даже я потерял прежнее влияние на него. Эти неприятные взаимоотношения отчасти были причиной того, что я вторично отправился в Полярную Страну, взяв с собой Аду.

А потом, по вторичном моем возвращении, начался уже, видимо, последний акт моей лунной трагедии — длится он по сей день. Страшная смерть Розы, помешательство Ады, затем кончина Тома и Лили, и эта безутешная моя тоска по Земле, и это ужасное одиночество, углубляющееся для меня день за днем, хотя здесь, на Луне, чуть ли не с каждым днем становится все многолюдней.

Том от двух своих жен имел многочисленное потомство: шестерых сыновей и семерых дочерей, из которых, впрочем, самая младшая умерла через несколько лунных дней после рождения. Еще при жизни родителей Ян, старший сын Розы, достигнув примерно пятнадцати лет, женился на дочери Лили, а потом, постепенно подрастая, все разбивались на пары. Теперь, после смерти Тома, Розы и Лили, живут на Луне, кроме меня и Ады, двенадцать детей Тома, двадцать шесть его внучат и двое правнуков, от старшего сына Яна, женатого уже два года. Итого сорок два человека, которые обживают эту планету, расселяясь все дальше к западу вдоль морского побережья. Вместе с ними продвигается «цивилизация». Сооружаются дома, кузницы, псарни...

Я остался в прежнем домике на Теплых Прудах и тут останусь, видимо, уже до самой смерти — лишь бы поскорей она пришла. Все равно я уже изгой в этом странном мире, где люди, пересаженные сюда с Земли, так рано созревают и умирают так рано...

IV

Кажется мне, я был бы счастлив, если б мог подать хоть какой-то знак людям Земли, что живу здесь и думаю о них. Это так немного, но так хотелось бы мне это сделать! Ведь страшно становится, как подумаешь, сколько сотен тысяч километров, какая непреодолимая межпла-

нетная бездна отделяет меня от той громады из камня и глины, на которой я родился. Сколь же счастливей эти карлики, которые думают лишь о том, чтобы улов на море был обильным, чтобы хорошо уродился салат и чтобы одичавшие собаки не загрызли яйценосных ящериц в загонах...

Сегодня я провел несколько часов на Кладбищенском острове. Прежде, много лет назад, я любил подолгу сидеть там и думать о прошлой жизни ныне оцепеневшего лунного мира; теперь я снова стал часто туда наведываться, но, сидя на изрытом могилами зеленом холме над морем, я думаю лишь о Марте, Педро, о Томе и о себе; может, вскоре и я — наконец! наконец! — успокоюсь рядом с ними.

Когда я там сегодня сидел вот так и смотрел на спокойную морскую гладь, нашла на меня вдруг такая безмерная скорбь, такая неутешная печаль, что я расплакался, как ребенок, и, простирая руки к могилам друзей, молил их, чтобы они вышли, поговорили со мной или взяли меня к себе.

Чувствую, что дальше жить невозможно. И что меня, собственно, держит в этом мире? Страдания, скорбь, тоска, жесточайшее одиночество — все это я уже пережил, и давно никому я не нужен; пора уходить.

Да, так и есть — пора уходить. Хочу только еще раз увидеть Землю, посмотреть на этот светлый шар, висящий в лазури, на щиты материков, медленно движущиеся по его поверхности, и на проплывающие над ними белые пятна облаков, хочу еще раз напрячь зрение: может, распознаю ту страну, где я родился... а потом...

Когда я греб обратно к побережью, замысел мой со-

зрел. Поеду в Полярную Страну, чтобы хоть посмотреть на Землю.

С таким решением приближался я к дому, мысленно планируя всю эту поездку и обдумывая, что нужно будет сделать для подготовки к ней.

На пороге летнего домика я увидел Аду. Она пришла в обычный час и, не застав меня, терпеливо дожидалась, когда я вернусь. Сердце мое было так переполнено надеждой снова увидеть Землю хоть издалека, что я не мог сдержаться и поделился своими замыслами с Адой.

— Слушай! — воскликнул я, когда она приветствовала меня. — Скоро уже я уйду от вас!

Она посмотрела на меня с той таинственной, маниакальной почтительностью, которую всегда проявляет в обращении со мной, и после паузы ответила:

— Я знаю, Старый Человек, что ты уйдешь, когда захочешь... но...

Никогда еще, пожалуй, не была мне до такой степени неприятна эта странная манера обращаться со мной — впрочем, мне уже следовало бы к ней привыкнуть. В первый миг сердце мое сжалось от ощущения невыразимого одиночества, мучительной горечи, а потом вдруг злость меня разобрала.

— Хватит с меня этих комедий! — закричал я, топнув ногой. — Я уйду, когда мне захочется и куда мне понравится, но ничего в этом нет ни таинственного, ни необыкновенного! Иди к Яну и скажи ему, что мне завтра утром понадобятся ездовые собаки — я отправляюсь в Полярную Страну.

Ада не ответила ни слова и пошла выполнять мой приказ.

Часа через два я заметил, что перед домом собрался народ. Ян с братьями и дети их — словом, все, не исключая и женщин, стояли с непокрытыми головами и молча,

боязливо поглядывали на дверь. От них отделилась Ада и стала на пороге. Она была в торжественном одеянии: на голове сверкал венец, ожерелья из громадных кроваво-красных янтарей и голубоватых жемчужин свисали с ее шеи до самого пояса. В руке она держала посох, сделанный из позвонков пса, отшлифованных и плотно нанизанных на длинный медный прут.

— Старый Человек! Мы хотим говорить с тобой!

Меня охватила невыразимая ярость. В первое мгновение хотел я снять со стены ременную плетку и разогнать этот сброд, который явился ко мне с такой нелепой торжественностью, но потом жалко мне их стало. Чем они виноваты... Я пересилил себя и вышел на порог, решив, что еще раз постараюсь образумить их.

Общий одобрительный гомон, поднявшийся после слов Ады, немедленно утих, как только я появился на пороге. В тишине слышался только плач младшего внука Яна и отчаянный приглушенный шепот матери:

— Тише, тише, а то Старый Человек рассердится...

Безграничная жалость овладела мной.

— Что надо вам от меня? — спросил я, отстраняя Аду

Тогда Ян выдвинулся вперед. Он с минуту смотрел мне в глаза взглядом беспомощного оробевшего карлика, наконец оглянулся, словно рассчитывал набраться отваги при виде товарищей, и проговорил:

— Мы хотим просить тебя, Старый Человек, чтобы ты от нас еще не уходил.

— Да, да! Не уходи еще! — повторили за ним тридцать с лишним голосов.

Была в них такая боязнь и такая мольба, что я снова почувствовал волнение.

— А что вам до моего ухода? — спросил я скорее самого себя, чем их.

Ян немного подумал, а потом медленно заговорил, яв-



но с трудом увязывая в фразы свои смутные, разбегающиеся мысли:

— Мы были бы одни... Пришла бы длинная ночь и мороз, о! злой мороз, он кусается, как собака,— а мы были бы одни... Потом Солнце взошло бы, а тебя бы не было, Старый Человек... Ада,— тут он оглянулся на стоящую рядом «жрицу»,— Ада говорила нам, что ты знаком с Солнцем и еще с другой звездой, которая больше Солнца, она таинственная, иногда черная, а иногда светлая... Ада видела ее, когда была с тобой там, на севере... Она говорила, что ты оттуда пришел и что ты говоришь с этой звездой, когда ее увидишь, на святом языке... На том, на котором нам надлежит говорить с тобой... Мы боимся, чтобы ты не вернулся туда, на ту звезду, потому что мы остались бы одни... И мы тебя просим...

— Да, да, мы просим тебя! Останься с нами! — кричали карлики и карлицы, договаривая за Яна.

Некоторое время я стоял молча и совершенно не знал, что ответить. Мужчины и женщины теснились вокруг меня, простирали руки и молили тревожно:

— Останься с нами! Останься!

Я видел — бесполезно повторять сейчас им то, о чем я столько раз уже говорил: что я обыкновенный человек, не наделенный никакими таинственными способностями и подвластный смерти, как все они. Я не знал, что делать, и только звучало немолчно у меня в ушах, словно тягучая молитва: «Останься с нами!».

Я глянул на Аду. Она стояла неподалеку в своем жреческом одеянии и держалась с необыкновенным достоинством, но показалось мне, что она улыбнулась — не то язвительно, не то грустно.

— Зачем ты их сюда привела? — спросил я.

Она вновь улыбнулась и подняла на меня дотоле потупленный взор.

— Ведь ты слышишь, Старый Человек, чего хотят они от тебя.

Вокруг неустанно раздавалось:

— Останься с нами!

Для меня это было уже чересчур.

— Нет! Не останусь! — крикнул я непреклонно. — Не останусь, потому что...

И опять я не находил слов. Как объяснить им, что я иду посмотреть на Землю, громадную яркую звезду, по которой тоскую? Ведь это лишь утвердит их в убеждении, что я — существо сверхъестественное.

Вокруг меня все затихло. Я посмотрел на них и — кто бы мог поверить! — увидел: эти карлики плачут при мысли, что я их покину. Они не кричали уже, не молили, но в их заплаканных глазах, устремленных на меня, читалась собачья покорность, немая мольба — и она была сильнее, чем крик.

Жалко мне их стало.

— Я уйду от вас, — сказал я уже мягче, — но еще не сейчас. Можете спать спокойно!

Смутный вздох облегчения вырвался из десятков грудей.

— А когда я отправлюсь в путь, — добавил я, осененный внезапной мыслью, — в путь туда, на север, где сверкает прекраснейшая звезда, о которой вы слышали от меня и от Ады, тогда я и вас возьму с собой, чтобы вы эту звезду увидели и могли потом рассказывать о ней своим детям и внукам...

— Ты велик, Старый Человек! Велик и милостив! — хором ответили мне радостные голоса. — Только не уходи от нас на ту звезду, о которой ты говоришь!

— Если б я мог уйти! — я невольно вздохнул. — Но, к сожалению, я только человек, такой же человек, как и вы...

Карлики задвигались и оживились. Они переглядывались, и казалось мне, что на их толстых губах играет понимающая усмешка — дескать, знаем уж мы, знаем, Ада нам говорила, Старый Человек неизвестно почему не хочет, чтобы мы знали, что он... Старый Человек.

Снова охватило меня уныние, я повернулся и ушел к себе. Карлики загомонили; из окна я видел, что все столпились вокруг Ады, которая о чем-то оживленно разглагольствовала, — наверное, о моих сверхъестественных свойствах.

Сейчас уже близится закат, и лунные людишки давно ушли к своим домикам, лепящимся по каменистым берегам Теплых Прудов, которые длинной вереницей тянутся к юго-западу. Часов через пятнадцать все погрузится в долгий сон, и сниться им будет, наверное, путешествие, обещанное Старым Человеком, и Земля, громадная, изменчивая звезда, которую они знают лишь понаслышке.

*

Через пятнадцать часов я буду единственным бодрствующим существом на Луне. Но пока еще повсюду царит движение. Я вижу в окно, как возле дома Яна суетятся его старшие сыновья, невдалеке от них женщины подготавливают запас продовольствия, торопясь управиться до наступления ночи.

Не знаю, хорошо ли я делаю, оставаясь среди этих людей... Впрочем, что тут думать, я ведь обещал им, что еще побуду здесь.

Но утешься, старое сердце мое, уже недолго я тут останусь! Еще несколько дней, самое большее двенадцатринадцать долгих лунных дней, и я двинусь на север, в Полярную Страну, чтобы там и окончить жизнь, глядя на Землю.

Я знаю, эти люди, помня мое обещание, захотят пойти со мной. Что ж, возьму несколько человек, пускай увидят Землю и пускай вернутся потом к своим родичам — без меня.

Слишком уж сильно гнетет меня тоска. Я жалею, что уступил и обещал пока остаться, и временами тревожусь лишь об одном: хватит ли у меня сил, чтобы уйти отсюда в тот край, где Земля будет у меня перед глазами!

Но нет! Хватит еще моих сил, хватит! Я сам иногда дивлюсь своей неутомимости. Ведь мне уж сто лет почти, а каждый новый день вместо того, чтобы истощать мои силы и подтачивать здоровье, будто лишь закаляет меня.

И снова я невольно думаю об этом смешном, но пугающем поверье здешних людей — что я никогда не умру...

Ужасающая, чудовищная мысль! Ведь, к сожалению, лишь тело человека может свыкнуться с тем, что ему не соответствует, а душа — никогда и никак! Скорбь моя и тоска моя не только не уменьшаются с годами, а наоборот, возрастают непрестанно, сверх меры...

Гоню от себя эту мысль, а взамен того с наслаждением и умиротворением думаю о том, что через несколько лунных дней я увижу Землю. Сердце мое колотится так странно и страстно, будто я — двадцатилетний юнец и иду на свидание с пленительной, бесконечно мне дорогой девушкой, с которой я раньше отваживался говорить лишь в своих снах...

Но я знаю — моя возлюбленная останется холодной, безмолвной и далекой, и только я буду, отчаявшись, истосковавшись, простирать к ней руки, только я буду взывать к ней через эти непреодолимые небесные бездны, а она не услышит меня, не подумает обо мне, не вспомнит...

Странно это и страшно — чтобы то, о чем тоскуешь,

находилось на небе... Мне кажется, я привязан к этой далекой, невидимой отсюда родной моей звезде длинной нитью, прoderнутой сквозь сердце, и нить эта может растягиваться до бесконечности, но никогда не порвется. И я, связанный с уже недоступным мне миром, чувствую, что эта почва под моими ногами чужда мне и останется чуждой навсегда.

Страшно это — любить звезду. Ведь Земля для меня теперь — только звезда, которую я люблю превыше всего.

Если бывает так, что духи из великолепных светлых миров или с пламенных солнц падают на темные планеты, то, сохранив память, они терпят жесточайшие муки, которые и мне суждено было переносить...

Сколько раз на дню повторяю я себе, что этот лунный карликовый народец, который я презираю и жалею, который чуть ли не во прахе ползает предо мной, Старым Человеком, — что он ведь во сто крат счастливей меня.

Вот и сейчас, окончив работу, бродят эти человечки у своих домиков и улыбаются друг другу безмятежно и доволно. Ян, который по естественному праву старшинства считается у них главным, созывает их вечером, чтобы совместно прочесть несколько отрывков из назначенных мною книг, как я велел, раз навсегда, много лет назад. Некогда, еще при жизни Тома, когда Ян был малышом, я обычно сам председательствовал на этих вечерних собраниях, толковал им Библию или другие книги, отобранные мной для чтения, и рассказывал длинные истории о Земле и о людях, но теперь даже не показываюсь на месте, где проходят собрания, — там, под крестом, значение которого они еле понимают. Что мне с ними говорить, когда они любое мое слово по-своему, наыворот, истолковывают и к любой истине немедленно присочиняют наивные фантастические легенды?

Хотя, опять-таки повторяю, чем они виноваты! Чем виноваты, что все услышанное относят к себе, так как неспособны подняться мыслью над тем клочком сухопутья, который они заселяют? Чем они виноваты, что, слушая библейские сказания, думают о своем деде Педро, могилу которого видели на Кладбищенском острове, и обращают глаза ко мне с идолопоклонническим страхом? Что люди могут жить в другом мире, на какой-то из звезд, вроде тех, которые сверкают по ночам над ними,— это они считают чем-то таким, во что, правда, следует верить, раз это сказал я, но что представить себе невозможно.

Я сделал все, что было в моих силах, чтобы пробудить душу в этих людях, и опустил руки лишь тогда, когда убедился в полнейшей бесплодности своих стараний; так что я не должен был бы себя попрекать, а все же чувствую лежащую на мне страшную ответственность за этот упадок племени человеческого, которое было мне доверено.

И опять — ирония жизни: они считают себя счастливыми, а я горюю над ними и бессильной тревогой о них усиливаю свою муку, свою тоску...

V

Снова годы прошли на Земле с тех пор, как я в последний раз перелистывал эти страницы. Сегодня я открываю дневник, чтобы записать дату ухода из этой страны над морем. Ухожу наконец в Полярную Страну — навсегда уже, кажется.

От И с х о д а нашего лунных дней шестьсот девяносто один.

Все уже готово; в старую нашу машину, вдвое уменьшенную и отремонтированную, я попрузил запас продовольствия и топлива, такой, чтобы его надолго хватило в Полярной Стране... Может, на более долгий срок, чем мне понадобится... Ведь стар я уже...

Я собирался отправиться в путь сегодня утром, но неожиданное происшествие заставляет меня отложить отъезд по крайней мере на один лунный день.

Дело обстояло так. После экспедиции на юг, за которую Том едва не поплатился жизнью, я запретил такие затеи, будучи заранее уверен, что они ничего не дают, а путешественники подвергаются бессмысленной опасности. До сих пор мой приказ свято выполнялся, и мне думалось, что так всегда оно и будет, ибо это племя не отличается особой предприимчивостью и целиком обращено к практическим и повседневным житейским делам.

Однако я ошибся. Видно, попала сюда с Земли и тлеет в душах этих карликов скрытая искра того огня, который движет прогресс и побуждает людей открывать новые материки за океанами. Я давно уже замечал, что кое-кто из мужчин бросает жадные взгляды на юг, в морскую даль. Они меня однажды спросили, что там находится, за этим морем. Я ответил: «Не знаю», — но они, судя по выражению их лиц, этому не поверили. Вернее, заподозрили, что я не хочу им сказать...

Последнюю ночь я провел с Яном у ближних нефтяных источников, подготавливая запасы для путешествия в Полярную Страну. Утром, вернувшись к морю, чтобы попрощаться с лунным народцем и благословить его, я узнал, что, пользуясь моим отсутствием, трое мужчин, самые сильные и самые смелые из всех, отправились на юг. Сделали сани, установили на них второй электромо-

тор и, взяв с собой, кроме запасов продовольствия, двух собак и меховую одежду, двинулись ночью по замерзшему морю, чтобы к утру добраться до противоположного берега на южном полушарии.

Сумасшедшая затея! Я уверен, что они не придут никогда назад, но пока приходится уступить просьбам Яна и Ады. Подожду еще один день, чтобы их благословить перед уходом... если они вернутся.

Я спрашивал жену Каспара, старшего из троих искателей приключений, зачем они пошли на юг. Она ответила — хотели посмотреть, что там такое. Никаких объяснений, кроме этого, она дать не могла.

Жаль мне этих людей, ибо они, несомненно, погибнут, а ведь они энергичны и мужественны, что и доказали своим походом.

Итак, наступил день отъезда!

Солнце взошло часа два назад, и снега уже тают; скоро сяду я в машину и двинусь на север.

Без сожаления прощаюсь я с этим краем, хоть и знаю, что ухожу отсюда, чтобы никогда не вернуться. Только... все вспоминаю я о могиле Марты на дальнем Кладбищенском острове, и странное что-то творится у меня в душе...

Вчера я провел на ее могиле несколько предвечерних часов. Тяжко было с ней расставаться: это единственное, что мне дорого в лунном мире. Взял комочек земли с могилы — прижму его к губам, когда буду умирать в далеком краю...

Пора уже отправляться... Лунный люд собрался, чтобы попрощаться со мной. Они не ропшут, не противятся — знают, что так быть должно. Ада, Ян и два его брата будут сопровождать меня в Полярную Страну. Я не мог им в этом отказать.

Те трое еще не вернулись и, наверно, никогда уже не вернуться. Но я больше не буду ждать. Впрочем, все так удручены моим отъездом, что о тех даже и не думают. Только Ян сегодня на рассвете вспомнил о них и сказал:

— С ними случилось несчастье, потому что они отправились, не спросив совета у Старого Человека.

Люди вокруг него внезапно разрыдались.

— Теперь уже некого будет нам спрашивать! — причитали они сквозь рыдания и жались ко мне.

Кажется, эти люди меня любят. Странное открытие — в последнюю минуту... Все равно! Пора мне в путь!

В пути, на Равнине Озер

Легко дышится мне сейчас, когда я знаю, что моя лунная жизнь осталась уже позади и предо мной — лишь краткое пребывание в Полярной Стране, первом нашем пристанище на Луне, а потом — смерть перед лицом Земли — любимой, в небесах сияющей отчизны моей.

Все для меня понемногу превращается в сон — прошлая моя жизнь и эти люди, оставленные там, над морем, — все тонет в серебристой призрачной дымке, и сквозь нее просвечивает в душе моей только огненный диск Земли.

Нетерпение меня охватывает, и так хочется мне поскорей увидеть Землю, что я не могу унять тоски. Ночь наступила, а сон меня не берет. Пробую сократить писанием долгие ночные часы.

Вот — остановились мы на ночь тут, где Педровпервые обнаружил нефтяные источники. Сколько же лет минуло с тех пор! И снова я невольно возвращаюсь мыслью к той минувшей жизни, которая осталась за мной. Встают перед глазами умершие товарищи мои, и Марта, и де-

ти ее, которых тоже уж нет в живых... Ах, долой эти воспоминания, они только расстраивают сейчас, когда мне нужны силы, чтобы добраться до того края, где я увижу Землю!

Тоскуя, стремился я в путь, а ведь приходится признать, что тяжело мне дались последние минуты расставания. Так странно устроено сердце человеческое и так велика власть привычки. Видно, и к тюремной решетке можно привыкнуть.

В то последнее утро, кончая предыдущую запись, я увидел, что у моего дома собралось все население этого мира. Они стояли молча, угрюмые и грустные, и ждали. Я пересчитал их, глядя в окно: были все, за исключением тех троих. И машина стояла наготове...

Тогда я поглядел еще раз на пристанище, в котором прожил пятьдесят с лишним лет, и, опасаясь, что дом этот будут потом идолопоклоннически чтить как жилище Старого Человека, собственноручно поджег его вместе со всеми вещами, которые в нем еще оставались и которыми я пользовался, и вышел к столпившимся людям...

Яркое пламя рванулось вслед за мной из дверей и окон.

Это был мой погребальный костер.

Сдавленный короткий крик вырвался у собравшихся, когда я стал перед ними. Они глядели на горящий дом и на меня, но никто не кинулся гасить огонь: поняли, что это моя воля... Все молчали.

— Я сегодня последний раз нахожусь среди вас, — начал я, не зная, что сказать, ибо в этой тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня, овладевало мной угнетение и печаль. — Я ухожу от вас, — продолжал я, — в те края, куда давно уже замыслил уйти. Вряд ли я вернусь сюда, но вы, если захотите, сможете меня там навещать, пока я не умру...

Карлики по-прежнему молча глядели на пылающие стропила крыши и на меня; у некоторых, я видел, в глазах стояли крупные слезы.

Я глубоко вздохнул — какая-то тяжесть навалилась мне на грудь.

— Вы все выросли на моих глазах, — начал я снова, с трудом подыскивая слова, — и были до сих пор со мной, а теперь придется вам самим управляться с делами. Помните, что вы — люди, помните.

Голос мой дрогнул.

— Много раз давал я вам наставления — не забывайте о них! Я оставляю вам книгу, святую книгу, привезенную с Земли, где говорится о сотворении мира, об искуплении и предназначении человека, читайте ее почаще и живите, как жить надлежит.

Я снова прервал речь, понимая, что говорю вещи банальные и бесполезные.

Тогда одна молодая женщина вышла вперед и проговорила:

— Старый Человек, скажи, прежде чем уйдешь, хорошо ли, чтобы муж бил жену?

Эти слова послужили как бы сигналом. Немедля окружило меня множество женщин и мужчин и начали они жалобными голосами спрашивать:

— Старый Человек, скажи, хорошо ли, чтобы старший брат заставлял младшего работать на себя потому, что младший слабее?

— Скажи, имеют ли право дети выгонять родителей из дому, который родители сами когда-то построили?

— Скажи, справедливо ли, чтобы один человек говорил: «Это мои поля», — и не позволял другим собирать с них урожай?

— Справедливо ли, чтобы один у другого отнимал жену?

— Чтобы портил инструменты?
— Чтобы мстил за обиду?
— Чтобы обманывал для собственной корысти?
— Скажи, справедливо ли это?
— Скажи, прежде чем уйдешь, потому что и ты, и книги учили, чтобы это не делать, а ведь это творится у нас изо дня в день!

Ужасная боль сжала мне сердце. Покидая этот народ, я уже ясно видел, по какому пути пойдет его дальнейшее развитие. Много из духа человеческого было утрачено по пути на Луну, но зло человеческое пришло сюда с нами с Земли!

— Это плохо! — ответил я наконец. — Если на моих глазах такое творится, что же будет, когда я уйду?

— Так зачем же ты уходишь? — спросили меня.

Это был такой простой и такой страшный вопрос! Почему я ухожу?

Я виновато поник головой, не зная, что ответить. В тишине слышалось лишь потрескивание горящего дома да приглушенное далекое рычание вулкана.

Люди больше ничего уже не говорили. Видно, поняли то, что чувствовал и я в этот миг: что отъезд мой — это суровая необходимость, рок, которому бесполезно противиться.

— Может, я когда-нибудь вернусь к вам. Живите пока в согласии и по-человечески, — пробормотал я, понимая, что лгу и им, и себе.

— Не вернешься! — откликнулась молчавшая дотоле Ада.

А потом повернулась лицом к толпе и прокричала:

— Старый Человек вас покидает!

Было нечто страшное в этом крике, и всех проняла дрожь.

— Так быть должно! — глухо произнес я.

Часом позже я уже сидел в машине вместе с Адой и троими ее племянниками, направляясь к северу...

*

Четвертый лунный день мы находимся в пути. Солнце, взойдя сегодня утром, уже не двинулось прямо вверх, а повернуло к горизонту и теперь ползет чуть ли не вровень с ним, покрасневшее, почти касаясь синей линии гор на юго-востоке. Это значит, что мы приближаемся к цели. На севере вырастает предо мной горная цепь, я уже различаю невооруженным глазом самые высокие, вечно озаренные солнцем вершины и ущелья среди них — ворота в полярную долину.

Как бьется у меня сердце...

У сегодняшнего дня не будет конца, ибо к тому времени, когда Солнце заходит на этом полушарии, мы окажемся уже на полюсе, в стране вечного рассвета, где в любой час существуют одновременно восход и закат, полдень и полночь для всех меридианов, которые сходятся в одну точку у нас под ногами.

И тогда я увижу Землю!

В Полярной Стране

*

После четырех лунных дней пути, в тот самый час, когда в окрестностях Теплых Прудов заходило Солнце, настал великий миг: мы прошли сквозь ущелье в горной цепи, которая высится, как пограничная стена полярной котловины.

С величайшим волнением вступал я в этот край, вперя взгляд в ту сторону небосвода, где вскоре должна была показаться Земля; а когда я внезапно увидел ее

сквозь расселину меж скалами, то был глубоко потрясен и сначала не замечал, что делают мои спутники. Лишь через некоторое время, поднявшись с колен (ибо, стоя на коленях, приветствовал я мою далекую отчизну и прости-
рал к ней руки, как ребенок простирает руку к матери), посмотрел я на свой отряд. Ян и два его брата стояли с непокрытыми головами, ошеломленные, оцепеневшие, со священным ужасом глядя на полукружие Земли. Ада стояла впереди всех, простирая руки к Звезде Пустыни.

Нёмало времени минуло, прежде чем она обратилась к своим задумавшимся спутникам:

— Оттуда он прибыл,— приглушенным голосом сказала она, словно не желая, чтобы я ее услышал,— и туда вернется, когда настанет час. Падите ниц!

И они пали ниц перед Землей, по которой ступали их предки...

Поднявшись, они не осмеливались приблизиться ко мне, а когда я наконец опомнился и начал еще прерывающимся от волнения голосом толковать им явление, которое предстало перед ними, они стали вокруг меня, оробевшие, охваченные ужасом и словно бы думали, что я в любую минуту могу воспарить над их головами и понестись сквозь сумрачный воздух высоко-высоко, к той сияющей звезде.

Ах, если б я мог это сделать!..

И вот пока я говорил с ними, непонимающими, внезапно увлекла меня эта мысль до такой степени, что я сам не заметил, как замолчал, заглядевшись на Землю, и только чувствовал, что мне совершенно нечего сказать этим людям.

И они довольно долго молчали, а потом, отойдя немного назад, начали подталкивать друг друга локтями и перешептываться:

— Смотри, смотри, он прибыл оттуда!

— Тогда еще никого тут не было...

— Да... ОН привел сюда деда Педро и его жену Марту...

— А еще одного, который был отцом нашего прародителя, оставил мертвым в пустыне. Так учит Ада.

— Этого в писании нет. Там говорится только об Адаме, это вроде бы Педро, и о...

— Молчи, писание — это другое дело. Писание тоже ОН принес оттуда...

— Да, все ОН сделал; для первых людей ОН тут сделал море, и солнце, и источники...

Я быстро повернулся, услышав эти последние слова, и разговор, шедший вполголоса, немедленно замер. Я хотел было их отчитать, но тут же понял, что это бесполезно. Поэтому сказал им только, чтобы они разбили палатку, так как мы долго пробудем здесь.

И проходят с тех пор часы, отмечаемые невидимым Солнцем на розовеющих горных вершинах, — проходят для них, кажется, медленно, а для меня даже слишком быстро.

Так мила мне эта Полярная Страна, что страх и боль пронизывают меня при одной мысли о том, что пришлось бы вернуться туда, на берег моря, к Теплым Прудам... Когда я здесь, у меня такое ощущение, что я нахожусь в последнем преддверии, почти на самом пороге лунного мира, что отсюда всего лишь шаг через межзвездное пространство до Земли — и, право, больше влечет меня к себе безбрежная мертвая пустыня, которая начинается вон за теми горами впереди, нежели тот плодородный край, где я прожил так долго.

Даже могила Марты на Кладбищенском острове не манит меня теперь. Ведь тут все окружающее больше говорит мне о ней, чем там... Тут она принадлежала мне, хоть мы об этом никогда не говорили друг с другом; тут

она сидела у моего изголовья, когда я болел, тут ходила со мной по зеленым пушистым лугам или взбиралась на розовые вершины гор, а там... там она была женой другого, там я лишь глядел на ее муки и унижение, сам униженный и измученный.

Хорошо мне здесь, в Полярной Стране, так хорошо, как только может быть человеку, который потерял все, даже землю под ногами и, вися на мертвом серебристом шаре среди лазури, живет лишь прошлым, и далью, и мыслями о невозвратном...

Молчи, молчи, старое, неисправимое, неутешное сердце мое! Вот тебе сияющий диск Земли, вот тебе те самые луга, по которым бродили вы с ней, с той, чужой и мертвой... и, наверно, могила уже близка — чего же тебе еще, старое сердце мое!

О братья мои, там, на светлом шаре, что сияет сейчас пред моим взором! Братья мои далекие, незнакомые и превыше всего дорогие!

О Земля, звезда ярчайшая! Радость очей моих! Свет, пламенеющий над пустынями!

Земля, чудесный рай! Сокровище истинное, изумруд сверкающий, в лазурь морей оправленный! Ворох цветов! Кадильница благовонная! Арфа, звенящая птичьими голосами!

Земля, Земля, отчизна моя! Матерь моя утраченная!

Рыдания рвутся из старой, измученной груди моей, а слез уж нет, чтобы плакать по тебе, звезда, сияющая над пустынями, свет, превыше всех любви достойный!

Вот простираю я руки к тебе — самый дальний, самый несчастный из детей твоих, но и единственный, кого ты удостоиваешь лицезреть тебя в этом золотом облике — как звезду среди звезд небесных!

Вот молюсь я тебе, покинутый и одинокий, я, которого ты знала ребенком и который теперь состарился не на твоём материнском лоне.

Земля! Прости, что покинул тебя, одержимый неистовой жаждой познания, которую сама ты во мне воспитала, обольщенный серебряным ликом этой мертвой планеты, которую ты в незапамятные времена извергла из себя, чтобы она освещала твои ночи и колыхала твои моря!

Я молю, твой блудный сын, которому ты дала все блага,— гордый облик и мыслящий разум, цветы, чтобы тешить ими взор, и птиц, чтобы упиваться их песнями, и братьев, чтоб было с кем делить скорбь и радость; блудный сын, который жестоко наказан, но уже не может возвратиться, чтобы снова стать хоть ничтожнейшим из детей на твоём просторном лоне.

Земля!

Не забывай обо мне! Сияй глазам моим, покуда не застелет их пелена желанной смерти!

Пью, впиваю свет твой всем существом своим. Упиваюсь твоим светом до иступления, до безумия!

Сияние твое, от лазурных морей отраженное, от снежных вершин и зеленых лугов, блестящей листвы деревьев и венчиков цветов, от росы, что блестит на траве, от соломенных сельских крыш и от стрельчатых колоколен костелов, от лиц людских, что в раздумье обращены к небу, пролетело сотни тысяч миль, стремясь сюда, ко мне, сквозь извечную пустоту, и теперь оно стало для меня всем: лазурью морей твоих и зеленью лугов, сверканием росы и красочной пестротой цветов, и отсветом духа человеческого, отражающегося в глазах, обращенных к небу!

Земля! Земля моя!

Когда же наконец дух мой, освободившись от тела, сможет пойти по световым струнам, натянутым меж тобой и этим страшным миром, и, достигнув твоего лона,

тихим ветром целовать все, что так любил и о чем так
безмерно тоскует!
Земля моя!

VI

Странное у меня предчувствие, что скоро уже я умру. Эта мысль так и снует вокруг меня, ею проникнут воздух, ею налиты кровавые лучи Солнца; небо кажется мне похожим на спокойный мягкий саван, а Земля светится на нем, как серебряная лампада в гробнице. Никогда еще не ощущал я так живо, как сейчас, что скоро умру...

Без скорби, без сожалений и тревоги думаю я об этом, но — что более странно — и без радости, которую должна была пробудить в моей груди близость окончательного освобождения.

Кажется мне, будто я должен еще что-то сделать, что-то безмерно простое и колоссально важное, до чего никак не могу додуматься. И это меня гнетет, из-за этого я не радуюсь смерти-избавительнице, которая, знаю, кружит уже вблизи меня.

Во сне я слышу явственно, что зовут меня оттуда, с Земли. А я, тоже во сне, всякий раз отвечаю им: жажду идти к вам, но не знаю дороги...

Уж не лежит ли дорога на Землю через безвоздушную пустыню?

*

Был я недавно на вершине горы, откуда мы с Педро смотрели некогда на затмение Солнца, а потом — на озеро, внезапно залившее всю полярную котловину.

На эту прогулку я взял с собой Аду. Она сама меня об этом просила. Заметив, что я часто поднимаюсь на окрестные горы посмотреть на Землю или на пустыню, она

стала помогать, чтобы я как-нибудь взял ее с собой, ибо и она хочет увидеть то, на что я смотрю и о чем тоскую.

Отправляясь со мной, она надела самое роскошное жреческое облачение, а Яну сказала, что идет посмотреть на отчизну Старого Человека. Ее серьезность сместила меня; глядя на нее, казалось, что отправляется она на эту вершину для того, чтобы совершить какое-то великое жертвоприношение. Я уверен, что именно так и думали люди, оставшиеся внизу в палатке. Они поглядывали на Аду с преклонением и некоторым страхом.

Мы молча поднимались на гору. Жреческое облачение Ады уже не сместило меня — я даже забыл, что эта женщина следует за мной. Я глядел на Землю, медленно встающую над горизонтом по мере того, как я поднимался все выше, и на Солнце, которое здесь уже было видно и стояло, как красный шар, на противоположной стороне горизонта. Под ногами у меня был ковер из каких-то вересковых растений, румяных от Солнца, а над головой — бледное застывшее небо...

Странное чувство владело мной! Казалось, что, поднимаясь на эту вершину, я навсегда уже удаляюсь от лунных людей и от всего этого опротивевшего мне мира; казалось, что я и вправду какой-то таинственный Старый Человек, который выполнил здесь свой тяжкий труд и возвращается теперь на родину — туда, к звездам... Красное Солнце горит за моей спиной и провожает меня из этого мира, в котором я ведал лишь труды да муки, а Земля встает предо мной, огромная, яркая, и она готова принять меня в свое светлое лоно...

Я уже стоял на вершине горы, в океане невыразимо чистого воздуха, когда, глянув на щит Земли, увидел движущийся по нему светлый клин Европы. Видны были даже детали, хотя облака, проплывающие над Францией и Англией, стерли очертания в той стороне. Но широкие



польские равнины на востоке блестели, как серебряное полированное зеркало, которое опирается с одной стороны на темную полосу Балтийского моря, а с другой — на цепь Карпат, сверкающую своими вершинами, как ожерелье из драгоценных жемчужин.

Таким неожиданным и чарующим было это появление моей родины в небесной лазури, что я сначала застыл, не дыша, весь поглощенный созерцанием, а потом вдруг, громко расплакавшись, как дитя, пал ниц на вершине лунной горы.

Через некоторое время я поднялся, несколько успокоившись, и с удивлением заметил, что Ада стоит передо мной на коленях и по лицу ее текут крупные слезы.

— Что с тобой? — спросил я невольно.

Вместо ответа она охватила руками мои колени и громко зарыдала. Не сразу смог я среди рыданий различить отдельные слова:

— Ты несчастен, Старый Человек! — говорила она.

— И поэтому ты плачешь?

Она не сказала больше ни слова и только, подавляя рыдания, вглядывалась в золотистый щит Земли. Мы опять долго молчали. Наконец Ада подняла голову и посмотрела мне в лицо странно пронизательным взглядом.

— Здесь, на Луне, все такое печальное и несчастное, даже ты, — сказала она. — Зачем ты пришел сюда? Зачем... с той звезды?..

Она замолкла, но потом снова заговорила.

— Те, мои родители, умерли. А почему ты не умираешь?

— Не знаю.

Я сказал правду. Я действительно не знаю, почему не умираю до сих пор. И снова охватил меня страх, потому что припомнилась мне эта ужасная лунная сказка — что я никогда не умру.

Ада некоторое время молчала, потом заговорила низким приглушенным голосом:

— Потому что ты — Старый Человек. И, несмотря на это, ты несчастен...

— Именно поэтому, — безотчетно возразил я.

Спускаясь обратно с гор, я испытал иллюзию, от которой у меня слезы навернулись на глаза. Когда за поворотом внезапно увидел я палатку Яна и его братьев, стоящую на том же самом месте, где некогда стояла наша палатка, на краткий миг показалось мне, что в этой палатке ждет меня Марта с маленьким Томасом на руках и Педро, почти всегда задумчивый, но еще молодой и не такой сломленный, как позже, там, на берегу моря.

Эту сладостную иллюзию грубо развеял вид карликов, снующих вокруг палатки. Увидев их, я остановился, охваченный внезапным отвращением. Ада заметила это.

— Ты не хочешь идти к ним, Старый Человек? — спросила она.

Что же мне было ответить? Я невольно оглянулся на Землю, но мы спустились уже вниз, и лишь краешек ее виднелся на горизонте.

Ада, поймав мой мимолетный взгляд, сделала испуганное движение, а потом умоляюще сложила руки:

— Нет, нет! Еще не сейчас. Они еще нуждаются в тебе.

Она боялась, что я вернусь туда, в отчизну свою.

— Ты думаешь, что я могу вернуться на Землю? — спросил я.

— Ты можешь все, чего пожелаешь, — ответила она. — Но... не желай!

Расстроенный и усталый, вошел я в палатку и лег спать, но сон мой был очень беспокойным. Сначала мне часа два не давал заснуть шепот моих спутников за полотняной стенкой: они допытывались у Ады, что я гово-

рил во время восхождения на гору, что делал... Ужасно меня раздражали эти голоса; а когда я наконец уснул, снились мне былые времена, Марта, лунная пустыня и Земля! Земля!..

Мучают меня эти сны..

*

Хотел бы уж я остаться один. Общество этих людей, что пришли со мной сюда, мучает и утомляет. Мне кажется, что они непрестанно стоят между мной и Землей и бросают какую-то тень мне на душу.

А они-то и не думают об отъезде! Раскинули лагерь в долине, устраиваются, делают запасы, словно век им тут жить. А может, они питают надежду, что со временем удастся им склонить меня к возвращению?

Кто знает, не приложила ли к этому руку Ада? Все больше удивляет меня эта женщина. Временами я уж и вправду не знаю, действительно ли имею дело с помешанной, настолько ее поступки и слова видятся мне в ином свете. Ибо разве не поразительно, что эта сумасшедшая, собственно говоря, умнее всех людей, здесь родившихся?

А впрочем, что мне до этого! Ведь я человек из другого мира, человек, уже уходящий отсюда и так невыразимо, так ужасающе утомленный тем, что здесь пережил.

Ах, если б эти люди оставили меня в покое и ушли, а я бы остался один!

Земля моя, Земля! Ты не знаешь, как тяжело мне жить без тебя и как хотел бы я умереть! Хоть завтра, хоть сегодня, сейчас...

*

Что за богохульство я написал! Вчера еще жаждал я умереть, а сегодня хочу жить, я должен жить еще хоть

несколько лунных дней, а там — пускай творится что угодно! В голове у меня шумит, и вся грудь наполнена несказанным блаженством. Да, да! Я должен это выполнить, должен!

Слава богу, что старая наша машина со мной и запасов достаточно...

И ведь это так просто! Удивительно, что я раньше об этом не подумал!

О Земля! О братья мои любимые! Не так я покинут и оторван от вас, как думал сам еще недавно. Есть возможность послать вам известие о себе и, хотя мне придется за это жизнью заплатить, я это сделаю, и да поможет мне бог!

Итак, умру я в пустыне, озаренный сиянием родимой моей звезды, но прежде...

*

Только бы мне ее найти! О ней я сейчас только и думаю, о ней мечтаю и, право, не знаю, жаждал ли я когда-нибудь встречи с любимой так страстно, как жажду сейчас найти ее, эту пушку, оставленную пятьдесят лет назад у могилы О'Теймора!

Когда это впервые пришло мне в голову, меня охватила неистовая радость. Казалось мне, что нисходит на меня некое чудесное откровение, указывая, как сообщаться с братьями моими на Земле.

Ведь и вправду, пятьдесят земных лет я тут прожил, а до сих пор ни разу не подумал о том, что в Заливе Зноя, среди каменистой пустыни стоит у могилы О'Теймора пушка, нацеленная точно в центр серебряного щита Земли, и ждет лишь искры, чтобы швырнуть доверенное ей письмо в пространство, к Земле.

Да, я пойду в мертвую пустыню искать эту пушку, пойду искать каменную могилу, труп О'Теймора, который

стережет эту пушку уже полвека, пустыми глазницами глядя на Землю... Я знаю, что не вернусь из этого путешествия, слишком я стар и слишком измучен, а главное — некуда мне возвращаться и незачем. Смерть презрела меня, не захотела прийти за мной туда, к морю, так я пойду сам навстречу ей, в эти ужасные края, где воистину должно находиться ее обиталище.

И там я упокоюсь навеки, рядом с О'Теймором, на скалах, под ярким кругом Земли в зените... Лишь бы поскорее!

Но прежде... сердце так бурно бьется! — прежде сверну я этот дневник, эту книгу страданий, которую некогда хотел оставить будущим лунным племенам, прижму к груди, поцелую и пошлю в ядре, как письмо в стальном конверте, вам, братья мои далекие, возлюбленные братья мои!

Кровь стучит в висках, когда я представляю, как кто-то там, на Земле, найдет стальное ядро, — может быть, лишь через много дней, а может, через годы, через века? — и откроет его, и вынет сверток бумаг... И будете вы, неведомые братья мои, читать то, что я писал с неотступными думами о вас и о матери нашей общей, Земле, которую вы знаете в зелени, в роскошном цветении, в серебристости зимних рассветов, а я знаю еще и как свет небесный, чистейший и спокойный, что извечно струится над страной безмолвия и смерти!

О братья мои! Вы не знаете, как я тоскую по ней и по вас и как проклиная небо, что лежит между нами, хотя оно украшает таким сиянием мою отчизну!

*

Вот как это было.

Солнце в третий раз уже встало над пустыней, и в третий раз почернела Земля в фазе новоземля с того дня,

как мы прибыли в Полярную Страну, когда Ян пришел ко мне на взгорье, где я предавался раздумьям, и внезапно заявил:

— Старый Человек, пора возвращаться!

Я вздрогнул, услышав это; и до того я был погружен в мысли о Земле, что не сразу понял значение слов Яна и подумал, что он призывает меня вернуться туда, откуда я прибыл на Луну!

Но он продолжал:

— Жены ожидают нас и дети... Пора возвращаться на море, к Теплым Прудам, к полям нашим и загонам, Старый Человек...

Он говорил несмело, словно бы скорее спрашивал, чем требовал, но в голосе его и в выражении лица я ощутил, несмотря на это, непреклонную решимость.

И вдруг овладела мной глубокая печаль: эти люди думают о возвращении, о своих семьях, о родном крае, по которому тоскуют и который вскоре увидят, а я?.. Мой дом, моя семья и отчизна — там, в небесах! И не вернуться мне туда, не жить мне там никогда, хоть, наверное, во сто крат сильнее тоскую я по своей Земле, чем эти люди — по полоске Луны на берегу лунного моря! Зависть меня одолела.

— Возвращайтесь! — сухо ответил я.

— А ты? — спросил Ян с величайшим изумлением и ужасом, отступив на шаг перед размашистым движением руки, которым я показал дорогу на юг, и глядя на меня снизу вверх.

— Я останусь тут. Ведь я же говорил вам, когда брал в дорогу с собой, что уйду, чтобы никогда не вернуться.

— Да, — шепнул Ян, — но я думал, что со временем все же... Тут людям плохо жить...

— Вот и возвращайтесь. Я останусь.

Теперь он не сказал ни слова. Склонил только голову,

будто тяжесть свалилась ему на плечи, и быстро ушел. «К Аде! — сразу подумал я. — За советом!».

И вправду, я не ошибся. Вскоре пришла лунная жрица. Я ожидал какой-нибудь смешной сцены с добавлением общих просьб, заклятий, даже рыданий, вроде той, которая разыгралась перед моим отъездом. Каково же было мое удивление, когда Ада пришла одна, совсем спокойная и, ни о чем не спрашивая, ни о чем не моля, спросила только:

— Ты остаешься здесь, чтобы смотреть на Землю, Старый Человек?

Я молча кивнул.

— Но ты еще не уйдешь туда? — говоря это, она указала на Землю и на мертвую лунную пустыню, раскинувшуюся под ней.

Невольно посмотрел я в ту сторону, и тогда впервые пришло мне в голову, что я мог бы отправиться туда, в пустыню, которую пятьдесят лет назад проходил с друзьями, чтобы хоть ненадолго, прежде чем умру от истощения, чувствовать себя ближе к Земле, видеть ее прямо над головой. Сейчас эта мысль безраздельно овладела мной, сопутствует каждому моему движению, и я не могу от нее отделаться, но тогда это был лишь первый проблеск, который я тут же приглушил, считая, что это невозможно, словно смерть стоит уже надо мной и невозможно купить то, за что надо заплатить жизнью.

— Туда ты не уходишь? — повторила жрица.

Я поколебался.

— Нет. Еще нет.

— Тогда... не мог бы ты пока вернуться с этими беднягами к морю? Они так жаждут, чтобы ты был среди них.

— Нет, — ответил я резко, видя, что уже начинаются просьбы, — я останусь тут.

— Как ты захочешь, Старый Человек. Они будут очень печалиться, но... как ты захочешь, так и сделаешь. Когда они вернутся без тебя, их спросят те, кто оставался дома: «А где же Старый Человек, на которого смотрели мы с детских лет?». Они же только понурят головы и ответят: «Он нас покинул». Но — как ты хочешь. В конце концов, они ведь знают, что ты лишь гость среди них и что наступит час, когда они должны будут сами со всем управляться.

— Ты с ними останешься и будешь ими править. Даже Ян тебя уважает и слушается.

— Нет, я с ними не останусь.

Я удивленно посмотрел на нее, а она после некоторого колебания припала к моим ногам:

— Есть у меня к тебе просьба, Старый Человек...

— Говори.

— Не прогоняй меня!

— Что?

— Не прогоняй меня. Позволь мне остаться с тобой.

— Со мной — здесь? В Полярной Стране?

— Да. С тобой, в Полярной Стране.

— Но зачем? Что ты будешь тут делать? Твои родичи там, у моря!

— Я знаю, ты не родич мне, ты оттуда, с далеких звезд, я знаю, но позволь мне...

Я задумался над этой странной просьбой.

— Почему ты хочешь остаться со мной? — снова спросил я наконец. — Жить здесь и трудно, и невесело...

Ада склонила голову и тихо, но твердо ответила:

— Потому что я люблю тебя, Старый Человек.

Я молчал, а она мгновение спустя продолжала:

— Я знаю, это преступная дерзость — говорить, что люблю тебя, но я не могу иначе назвать то, что чувствую. Родителей своих я почти не помню. Вспоминаю только,

что они были несчастливы. На тебя я смотрю с детских лет и вижу в тебе какое-то величие, свет, могущество какое-то — нечто, чего я не постигаю, но знаю, что оно пришло с тобой со звезд!

Она умолкла, но пока я, пораженный, раздумывал над ее словами, снова заговорила:

— А при всем том и ты был так же несчастлив и так же одинок, всю жизнь одинок, как и я. Я не знаю, зачем пришел ты на Луну с той сияющей звезды... Так ты хотел... Я знаю, что ты делаешь все, что захочешь, что тебе хватает себя самого и я тебе не нужна, но я хочу служить тебе и быть с тобой до конца. Не прогоняй меня! Ты великий, ты добрый и мудрый!

Говоря это, она снова кинулась мне в ноги и так и осталась, припав лбом к моим коленям.

— А когда ты пожелаешь уйти в свою отчизну, сияющую на небе,— продолжала она немного спустя,— то я провожу тебя до самого рубежа великой мертвой пустыни, попрощаюсь с тобой и буду долго-долго смотреть тебе вслед, Старый Человек, пока ты не исчезнешь вдаль, и тогда я вернусь к людям на морском берегу и скажу им только: «Он уже ушел...» Потом я умру.

Пока она говорила это голосом, тающим в мечтательном шепоте, какого я раньше у нее не слыхивал, лунные человечки подкрались поближе и слушали ее слова, затаив дыхание. И вдруг я услышал сдавленный голос Яна:

— Старый Человек уйдет от нас... на Землю!

И потом — плач. Станный, трогательный, негромкий плач.

И вот что удивительно! Обычно раздражал меня и злил плач этих человекоподобных, а сейчас — не знаю, то ли из-за волнения, которое пробудили во мне неожиданные речи Ады, то ли из-за мысли о последнем пути в пус-

тыню, под лучи Земли, но только обуяла меня великая скорбь и жалость.

Я повернулся к ним, и Ян, видимо приободренный моим взглядом, выступил вперед и заговорил, глядя мне в глаза:

— Старый Человек, это уже бесповоротно? Тебя там уже ждут? Ты уже возвестил о своем прибытии? И мы должны остаться одни?

И тут — словно меня кто обухом по голове хватил! Только одна вспышка, одна только мысль: «Пушка!»

Да! Пушка! У могилы О'Теймора, там, в пустыне!

Все завертелось у меня перед глазами, я прижал обе руки к сердцу, боясь, что оно выскочит из груди. Глаза я вперил в краешек земного диска, виднеющийся над горизонтом, а в мозгу сверкали теперь какие-то неистовые молнии: путешествие, пустыня, пушка, выстрел, братья мои земные, дневник... а потом — серый туман, в котором тает все... Я понял, это смерть!

Я совершенно забыл, где нахожусь и что творится вокруг. Они, онемев, глядели на меня, надо полагать, с величайшим изумлением, но я их не видел. Как сквозь сон, долетел до меня только голос Ады:

— Отойдите, Старый Человек говорит с Землей. Скоро он нас покинет.

Опомнившись несколько от первого ошеломляющего впечатления, которое произвела на меня эта мысль, я увидел, что остался в одиночестве.

Я понял, что это — откровение, что я должен идти в пустыню, найти пушку, переслать Земле последнюю весть и последнее приветствие и — умереть в пустыне.

Несколько позже я сказал Аде и Яну о своем решении; они выслушали меня, угрюмо понуриив головы, но без малейших возражений, словно были готовы к этому.

О своем возвращении к морю они и говорить перестали. Хотят остаться тут до самого моего отъезда.

Сейчас Солнце, если стоишь лицом к Земле, находится справа; прежде чем оно опишет полукруг и станет с левой стороны, принося день на пустынное полушарие,— я отправлюсь в путь.

*

Итак, кончилась моя лунная трагедия! Я здесь, где впервые увидел на Луне луга, зелень, жизнь; тогда я прибыл сюда, совершив путешествие через смертоносную пустыню, теперь собираюсь совершить это путешествие во второй — и в последний раз.

Мрачна душа моя, но спокойна. Я смотрю на минувшую жизнь, и кажется мне, что пора подвести итоги. Хотел бы я, как делают на Земле люди, готовясь к смерти, исповедаться в грехах, но — странно! — на язык просятся только несчастья мои! Может, это одно и то же?

Господь, ты, который одинаково слышишь и ничтожнейшего червяка, и грохот миров, летящих в пространство, ты, который видишь меня тут, на Луне, как некогда видел меня на Земле, прими эту исповедь, в которой я признаюсь, что был грешен и несчастлив!

Когда я был ребенком, тесно мне было на Земле, которую ты для меня создал, и я непрестанно устремлялся мыслью на крыльях желаний к далеким мирам, сверкающим на небосводе, даже избегал материнских ласк, чтобы мечтать о чудесах, которые ты создал — не для меня! Грешен я был и несчастлив!..

Когда я подрастал и впитывал те крупницы знания, которые ты разрешил получить людям, душа моя все кричала «мало!» и грезилась о том, чтобы сорвать заветные печати и сдернуть завесу, твоей рукой задвинутую. Грешен я был и несчастлив.

А едва созрел я, обуяла меня жажда витать в пространстве — будто бы, стоя на Земле, я не был также в безмерности Вселенной и не летел над безднами — и я воспользовался случаем и с легким сердцем покинул мать-кормилицу ради серебряного, обольщающего лунатиков лика Луны. Грешен я был и несчастлив...

Я видел смерть друзей и товарищей, и душа моя разрывалась, но я готов был спорить с ними из-за глотка воздуха, чтобы продлить жизнь, или из-за женщины, которая не принадлежала никому из тех, кто простирал к ней руки... А будучи свидетелем ее горя, пассивным виновником которого сам же и стал, я не сделал ничего, чтобы избавить ее от этого горя... Грешен я был и несчастлив...

Я остался один в этом страшном мире, куда попал по собственной воле, и было мне доверено молодое поколение человеческое, а я не сумел пробудить в нем душу и обратить его взоры к небу. Да, вместо любви питал я презрение к несчастным и позволил, чтобы они чтили меня, хотя одного Тебя чтить надлежит... Грешен я был и несчастлив...

А теперь, изломанный болью, изнуренный тоской, покидаю тех, кого судьба доверила моему попечению и руководству, и иду навстречу последнему печальному блаженству — смерти перед ликом Земли!

Грешен я, Господи, и несчастлив!

Жизнь моя разломилась на две большие части, одна из которых была стремлением к неизведанному, а другая — тоской по утраченному... Но обе были печальны и невыразимо мучительны...

И не достиг я того, чего жаждал, ибо вот сделал всего лишь ничтожный шаг по Вселенной, а не познал даже тайн того места, где нахожусь. Напрасно я всем пожертвовал, напрасно преодолел лазурные просторы, прошел

через пустыню, что страшнее любой земной, тщетно прожил я десятки лет на этой серебряной планете: вокруг меня и сегодня тайны, как полвека назад...

А того, по чем я тоскую, — знаю — никогда мне не вернуть.

И вот — вся жизнь моя!

Пора! Пора уж ей окончиться.

С любовью и страстным нетерпением гляжу я на пустыню, куда вскоре спущу свою машину, чтобы быть одиноким — до самой смерти.

Эти люди, последние, которых я вижу, останутся здесь... Взойдут, наверное, на вершину горы и долго еще будут следить взглядом за мной, за черной машиной, исчезающей в сиянии Солнца, а потом вернутся к своему народу и скажут: «Старый Человек уже ушел».

И из этого, из этих слов, вырастет здесь в будущем легенда, так же, как из нашего появления в этом мире! Грешен я...

Близится миг отъезда.

VII

На Море Холодов

Я один — и каким мучительным страхом пронизывает меня это безграничное одиночество и безмолвие. Мне кажется, что я уже умер и плыву в этой машине, как в ладье Харона, к каким-то неизвестным краям...

А ведь знаю я это бездорожье и видел уже эти горы, встающие вокруг на горизонте. Я проезжал здесь годы назад, многие годы назад. Но тогда мы стремились к жизни, а теперь...

Боже, дай мне лишь столько сил, чтобы я смог добраться туда, к могиле О'Теймора! Ни о чем уже больше я не прошу тебя!

Я обещал лунному народу, что если хватит у меня сил вернуться из пустыни, то я поселюсь среди них до конца жизни — но знаю, что из пустыни я не вернусь...

Хотя, возможно, сейчас я более нужен на Теплых Прудах, чем когда-либо еще.

Если это правда...

Странную и страшную весть услышал я перед отъездом.

Я уже собирался сесть в машину и попрощался со своими спутниками, когда внезапно заметил у входа в долину двух людей. В первое мгновение я решил, что мне показалось, но вскоре нельзя уже было усомниться: два карлика поспешно приближались к нам. Ян тоже увидел их, и у него вырвался вскрик:

— Послали за нами! Беда там, наверно, случилась!

Предчувствие не обмануло его — посланцы с побережья прибыли со странной и страшной вестью.

Вскоре после моего отъезда вернулись из экспедиции на южное полушарие отважные искатели приключений, которых я уже счел погибшими. Но вернулись только двое. Третий не вернется никогда. И эти двое принесли такие вести, что решено было как можно скорее послать за мной в Полярную Страну и склонить меня к возвращению.

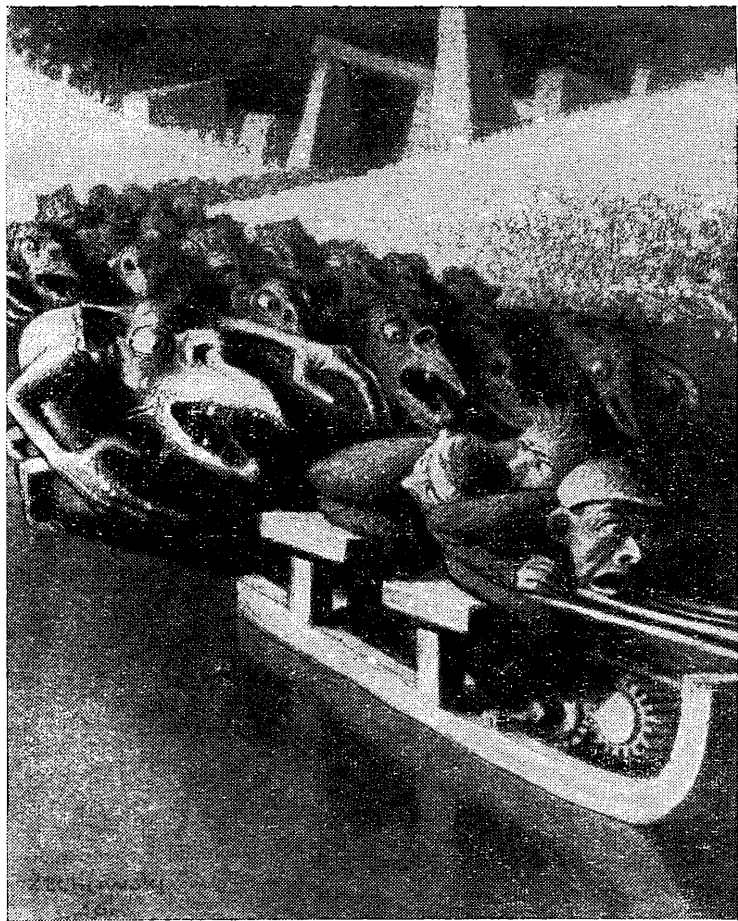
Два избранных посланца двинулись вверх по течению реки, потом, руководствуясь рассказами, которые слышали ранее от Ады, поднялись на возвышенность над Равниной Озер, а оттуда, пробираясь по ущельям, сравнительно быстро нашли вход в полярную долину.

Я нетерпеливо слушал этот рассказ, желая выяснить, что же их склонило к такому необычайному путешествию. Наконец, послы, побуждаемые мной и Адой, начали, перебивая друг друга, рассказывать, что случилось в пути со смельчаками.

Из хаотической путаницы слов и фраз я понял только, что они на санях, оснащенных парусами, при весьма сильном попутном ветре стремительно промчались по замерзшему морю и к восходу Солнца добрались до южного побережья. Это ясно; но дальше трудно было разобратся в том, что говорили карлики... Да и звучало это так необычайно...

На просторных равнинах среди гор живут якобы там какие-то странные существа — полулюди, полузвери; прячутся они от мороза в глубоких ямах, которые роют вокруг развалин городов, покинутых, должно быть, столетия назад. С этими-то существами, чрезвычайно хищными, путешественники якобы вступили в схватку, из которой вышли живыми (потеряв одного из товарищей) только потому, что имели огнестрельное оружие. Они бежали назад в величайшем испуге, так как эти существа упорно преследовали их.

— Это злые чудовища! — говорил рассказчик, дрожа при одном воспоминании. — Небольшие, но очень злые! Нашим пришлось бежать, потому что их много-много и они злые! У них вот такие длинные руки и клюв вместо рта... Каспара они поймали длинной веревкой и растерзали, а потом затащили труп в глубокую яму, в которой они живут. Край тамошний красив, но эти чудовища злы! Товарищи бедного Каспара нам про них рассказали. Эти чудовища гнались за ними, но у них были сани с мотором и собаки, так что они смогли убежать, хотя и с большим трудом. О! Станный край, очень странный, там, за морем, на юге. Там стоят большие башни, но разрушенные, есть какие-то огромные машины или фабрики, но поломанные, заросшие. Эти чудовища их сторожат и поклоняются башням, однако же, кажется, они не знают, что со всем этим делать. Они живут в ямах, и они злые.



Тщетно расспрашивал я посланцев, пытаюсь разузнать какие-либо подробности насчет этих существ, живущих за лунным морем: ничего больше они мне рассказать не смогли. Услышал я только еще рассказ о возвращении из-за моря — ужасную, в трепет приводящую одиссею! На обратном пути ветер не был попутным, так что перебраться через море за ночь не удалось. Лед уже трещал и ломался поутру, когда они, совсем перепуганные, добрались, к счастью, до маленького, почти нагого островка, на котором, прячась в расщелинах от ужасного экваториального зноя, просидели целый день в ожидании ночи и мороза, чтобы двинуться дальше по льду. На вторую ночь ветер отбросил их далеко на запад, а к довершению несчастий под конец путешествия отказал мотор, и они с невыразимыми трудностями добирались пешком по берегу, а собаки тянули сани.

И вот они вернулись наконец в страну Теплых Прудов, чтобы узнать, что Старого Человека там уже нет.

— Так чего же вам надобно от меня? — спросил я, выслушав этот удивительный рассказ.

— Защити нас, Старый Человек, защити нас! — закричали вместе оба посла. — Плохо нам живется без тебя, и бедствия на нас обрушиваются. Эти хищные чудовища теперь непременно переберутся через море, раз уж они узнали о нашем существовании, и будут нападать на нас, преследовать нас, мучить! А их больше! Куда больше, чем нас!

Умоляюще сложив руки, они бросились передо мной на колени. Я чувствовал устремленные на меня тревожные, молящие взгляды Яна и его братьев. Только Ада стояла недвижимо и с виду равнодушно.

А я был потрясен до глубины души, я еще колебался, не зная, что сказать, что делать; меня поразило даже не столько то, что эти существа могут напасть на лунную

человеческую колонию, сколько само известие о том, что здесь живут какие-то создания, по-видимому наделенные разумом. Было мгновение, когда я уж думал отказаться от последнего счастья, от взлелеянного замысла послать весть о себе вам, земные братья мои, для того чтобы остаться среди лунного поколения, увидеть это странное заморское племя, о котором я узнал лишь невзначай, после десятков лет, прожитых тут, и в случае надобности защищать от них потомство моих умерших друзей.

Но колебался я недолго. Безграничная печаль овладела мной. Что мне лунные племена — и те, что с Земли прибыли, и эти, остатки какого-то древнего лунного народа, живущие, словно кроты, в ямах вокруг разрушенных городов, которыми некогда, должно быть, владели их гордые предки? Пускай пожирают друг друга, пускай дерутся, пусть истребят друг друга... Что мне до этого? Я стар и не знаю, хватит ли мне сил, чтобы совершить далекое смертоносное путешествие по безвоздушной пустыне, — так могу ли я их тратить сейчас на глупую жалость или еще более глупое любопытство? Да и кто может поручиться, в конце концов, что рассказ тех двух безумцев достоверен? Может, вовсе это не города там стоят, а нагромождения скал? Может, это мнимое лунное племя — всего лишь звери, лишенные разума? Я уже стар, и нет у меня времени проверить это, ибо спешу я, чтобы умереть там, у могилы О'Теймора, в ярком сиянии Земли.

— Ничем я уже не могу вам помочь, — прошептал я наконец, — думайте о себе сами. Ждет меня безвозвратное путешествие, а путь мой лежит не в ту сторону, что ваш...

— Я знала, что ты так ответишь, — произнесла Ада, когда я уже поставил ногу на подножку машины.

Но Ян обхватил мои колени.

— Обещай нам только, — закричал он, — если иначе

нельзя, обещаю, что вернешься к нам из пустыни, куда ты держишь путь! Мы будем тебя ждать, и мысль о тебе будет придавать нам силы в битвах, которые нам придется вести!

— Если хватит сил и жизни, вернусь!

Ада обратилась к своим родичам:

— Он вернется — но туда!

Говоря это, она показала рукой на краешек Земли, светящийся над горизонтом. Я был уже в машине и держал руку на руле, когда донеслись до меня последние слова Ады:

— А сюда он снова придет лишь через века... через века... когда свершится...

*

*На Море Дождей, под
Тремя Головами*

Страшный путь я прошел, стремясь к вам, братья мои! Я каменею от ужаса, как подумаю об этом бездонном одиночестве, об этих горных перевалах и ущельях, о мертвых просторах пустыни. Одинокó плыл я через моря тьмы, а передо мной еще разверзнется огненный ад, слепящий зной и безжалостный мороз. И пустота... пустота...

Другим путем пришел я сюда, не тем, которым мы двигались когда-то, но не менее страшным. Опасаясь, как бы мне снова не застрять в той ужасной расщелине на Поперечной Долине, я при выходе из Моря Холодов обогнул кратер Платона с запада и таким образом попал на ту великую равнину, которая приведет меня прямо к подножию Эратосфена...

Но зачем мне рассказывать об ужасах, пережитых ранее? Наверное, ждет меня и нечто худшее.

Был я и на том месте, где мы некогда видели Город Мертвых. Но пустыня там ровная, а я ничего не увидел, ни скалы даже никакой, ни следа... То ли у нас тогда был обман чувств, то ли я сейчас ошибся в измерениях и миновал стороной это проклятое место. А может, караван мертвецов свернул свои каменные шатры и двинулся в пустыню, по безбрежной равнине смерти.

Страх идет за мной, страх идет впереди меня — а я ужасающе, окончательно одинок...

Встает сверкающее Солнце... искрятся разноцветные звезды на черном бархатном небе — и страшно мне... страшно... Зачем мне искать Город Мертвых, я найду его скоро, достаточно скоро: разве не Страна Смерти вокружает меня?

*

Под Эратосфеном

Еще одно недолгое последнее усилие... Последняя гора, последняя вершина. Обогну ее с запада и с юга, попаду на Залив Зноя и оттуда, от каменной могилы старца О"Теймора...

Невероятные, причудливо изломанные скалы предо мной — и Земля, почти в зените, как цветок, развернувшаяся в полноземии, и Солнце прямо под ней...

Хватит мне продовольствия и хватит воздуха — лишь бы сил хватило! Убывают они все больше, стремительно, торопливо... Я знаю, что умру здесь. Спать давно уже не могу, даже ночью, даже в полдневный зной. Когда я уснул в последний раз — где-то посреди Моря Дождей, после захода Солнца, преследовали меня во сне разные голоса и видения. Сначала чудилось мне, что я слышу призыв покинутого народа — карлики молили меня, что-

бы я вернулся и защитил их от лунных жителей, которые переплыли уже через экваториальное море и жгут их дома, убивают их жен и детей...

Я проснулся от этого видения, но не успел снова уснуть, как появились предо мной умершие мои друзья и товарищи. Они приветствовали мой приход и звали, чтобы я шел к ним, тень к теням, вечно блуждать по пустыне... и это был единственный призыв, на который я откликнулся всем своим существом.

Я проснулся и иду на этот зов, о братья мои земные, и знаю, что больше уже не усну до тех пор, пока не дозволено мне будет навсегда сомкнуть веки в последнем сне.

Это будет уже скоро — ведь правда? — скоро...

*

*Над могилой О'Теймора —
в последний час*

Хвала Всевышнему: нашел я дорогу и то место... проклятое! где впервые коснулись ноги наши лунной почвы, и... благословенное! откуда смогу я послать на Землю весть о себе.

Стою над могилой старца О'Теймора и дивлюсь, видя, что он моложе меня, живого. Годы прошли над ним, не коснувшись его, как легкий ветер проносится над гранитными скалами. Тут, в этой безвоздушной пустоте, нет гниения: О'Теймор выглядит так же, как в тот миг, когда мы его покидали, и неустанно смотрит на сверкающую Землю широко раскрытыми мертвыми глазами. А я, который молодым уходил от его могилы, стою сейчас над ним с седой бородой до пояса и с остатками седых волос



на облысевшем черепе — и гаснувшие глаза мои полны ужаса.

Слишком долго я жил, О'Теймор! Слишком долго!..

Пушку я нашел: она налажена и цела; ждет меня пятьдесят с лишним лет... И вот я пишу последние слова, перед тем как замкнуть эти бумаги в ядре, которое понесет их к Земле.

Запасы продовольствия кончились, воздуха хватит самое большее на два-три часа. Надо поторопиться...

От Исхода нашего лунных дней семьсот семь.

О Земля! О Земля Утраченная!

НА ЭТОМ ОБРЫВАЕТСЯ РУКОПИСЬ, НАЙДЕН-
НАЯ В ЯДРЕ, КОТОРОЕ ПРИЛЕТЕЛО С ЛУНЫ.

*Написано в Кракове
зимой 1901—1902 гг.*

ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ

(Вместо послесловия)

Предлагать современному читателю фантастический роман, написанный в начале века,—затея, безусловно, рискованная. «Моральная амортизация» в области фантастики наступает примерно так же быстро, как и в кино. Уцелевает очень немногое. Не стареют фильмы Чарльза Чаплина и Сергея Эйзенштейна, но большинство «рядовых»; даже хороших фильмов двадцатых годов сохраняет для нас лишь исторический интерес. Не стареют романы Уэллса, написанные на рубеже веков, а многие произведения научной фантастики, впервые вышедшие в свет в сороковых-пятидесятых годах нашего века, давно уже выглядят наивными, безнадежно устаревшими.

Роман «На серебряной планете», писавшийся почти семьдесят лет назад, большинству читателей сейчас, на заре космической эры, вначале наверняка покажется старомодным и по уровню «технических чудес» (разве можно сравнить «снаряд-вагон», описанный Жулавским, с современными космическими кораблями!), и по стилю, слишком экспрессивному, на наш вкус. Думается, однако, что это первоначальное ощущение дистанции постепенно сменится живым интересом к роману.

В чем же истинная, непреходящая ценность романа Жулавского, что помогает ему сохранять действенность и жизнеспособность в столь солидном (по меркам фантастики) возрасте?

На это мы постараемся ответить.

Советскому читателю имя Жулавского вряд ли знакомо. Между тем, в истории польской литературы конца XIX — начала XX века Ежи Жулавский (1874—1915 гг.) занимает весьма заметное место. Несмотря на сравни-

тельно недолгую жизнь, Жулавский успел завоевать широкую известность как автор нескольких сборников философской лирики, многочисленных драм (наиболее популярная среди них, «Эрос и Психея», изображает последовательные исторические воплощения древнего мифа), рассказов и повестей. Перу Жулавского принадлежат, кроме того, интересные эссе на философские и литературные темы, а также переводы Библии, древнеиндийской поэзии, произведений Верлена, Ницше, Эдгара По.

Даже этот беглый перечень показывает, что для творчества Жулавского чрезвычайно характерно переплетение элемента эмоционального, художественного с элементом рефлексивным, интеллектуальным, глубокий интерес к философской проблематике. Эти особенности находят частичное объяснение в биографии писателя: он окончил философский факультет Бёрнского университета и получил степень доктора философии за диссертацию о проблеме причинности у Спинозы. Философская направленность творчества Жулавского в значительной степени обусловлена также влиянием на него круга идей неоромантического литературного движения «Молодая Польша» (конец XIX — начало XX века), давшего польской литературе многих замечательных писателей (Станислава Выспянского, Казимежа Тетмайера и других).

Неизменный и глубокий интерес Жулавского к истории человечества и его культуры привел писателя к смелому замыслу — изобразить широкую панораму судеб человеческой цивилизации, ее движущие силы, ее идеалы и мифы, ее героические взлеты и трагические падения.

Так возникла «лунная трилогия» Жулавского — «На серебряной планете» (1903 г.), «Победитель» (1910 г.), «Старая Земля» (1913 г.), — которая принесла ему широкую известность и надолго пережила своего автора.

В поисках способа художественного воплощения сво-

их умозрительных концепций Жулавский обратился к близкой ему по духу фантастике. Не имея предшественников в отечественной литературе, он своей трилогией фактически зачинал польскую научную фантастику,— опираясь на опыт мировой литературы. Влияние Жюль Верна заметно не только в исходной «технической идее» книги (смотри «Из пушки на Луну»), но и в детальности «селенографических» и «пейзажных» описаний, в подчеркнутом стремлении к точности и строгости, которое в значительной степени определяет стиль первой части трилогии, придавая ему — несмотря на неизбежную при такой установке тяжеловесность, знакомую читателям Жюль Верна и Обручева, — своеобразное очарование «поэзии научного факта».

В отличие от знаменитого родоначальника научно-технической фантастики Жулавский был совершенным дилетантом в науке; вдобавок по типу художественного темперамента он был не реалистом, а романтиком. Отсюда, от естественного для дилетанта и поэта стремления соединить — порою в одной и той же фразе — поэтическое восприятие необычного с его научным объяснением, берет начало бросающаяся в глаза неровность интонации книги. Возвышенные романтические гимны внезапно, без перехода сменяются самым прозаическим «научным» комментарием. Тоскуя по Солнцу, герой не преминет заметить, что ждет его появления «через двадцать с небольшим часов»; вслед за поэтическим напевным восклицанием «Оно взойдет и лениво двинется по небу...» тут же добросовестно добавит «...в двадцать девять раз медленнее, чем на Земле».

Эта неровность, кажущаяся сегодня неуклюжестью, эти полудокументальные, полупоэтические фразы-гибриды создают, разумеется, основательные трудности и для переводчиков, стремящихся сделать Жулавского «совре-

менным без осовременивания», и для читателя, прошедшего школу Уэллса, Чапека, Бредбери, Лема. И в то же время именно эта романтическая взволнованность, пытающаяся втиснуться в рамки «научной строгости» и неизменно разламывающая эти рамки, придает книге Жулавского своеобразную, неповторимую, медленно и постепенно раскрывающуюся прелесть. Стиль Жулавского, вызывая сначала сопротивление у современного читателя резкими контрастами экзальтированности и рассудочности, тем не менее от страницы к странице все больше вовлекает читателя в свою орбиту.

Доказательством этого является тот поразительной силы «эффект присутствия», которого добивается в своей книге Жулавский. Достаточно, закончив книгу, взглянуть на лунную карту и пристально рассмотреть Море Дождей — оно покажется каким-то удивительно знакомым, словно виденным когда-то, и за каждым названием на карте встанут пейзажи Жулавского: мрачная пропасть Эратосфена, сверкающие вершины Тимохариса, скалистый коридор Прямой Долины, бесконечные черно-белые пустыни, над которыми сверкает гигантский диск Земли...

«Эффект присутствия» — большое место фантастики. Сделать зримым и видимым несуществующий, фантастический мир — труднейшая творческая задача. И в этом отношении роман Жулавского демонстрирует принципиально новый подход к ней. На первый взгляд может показаться, что Жулавский всего лишь добросовестно следует традициям предельной научной точности, заложенным еще Жюлем Верном. Это впечатление еще усиливается, когда мы узнаем, что автор «лунной трилогии» семь лет подряд (с 1896 по 1903), не довольствуясь чтением научных трудов и консультациями специалистов, самостоятельно изучал Луну, провел ряд астрономических наблюдений в Краковской обсерватории и по дан-

ным этих наблюдений вычертил карту маршрута своих героев. И действительно, в его «лунных романах» ощущается дотошность популяризатора-неофита, человека, который сам недавно впервые соприкоснулся с волнующими загадками неба и теперь жаждет поделиться своим восторгом с окружающими (заметим, что эпоха Жулавского по степени интереса к Луне, да и вообще по уровню «астрономической грамотности», не идет ни в какое сравнение с нашей эрой космических полетов; для большинства читателей роман Жулавского независимо от намерений автора сыграл роль «открытия Луны»).

И все-таки эти впечатления и ощущения обманчивы. Несмотря на, казалось бы, принципиальную установку на реалистичность и документальность изложения, лунный мир Жулавского не в меньшей мере фантастичен и условен, чем заведомо фантастический и условный «марсианский мир» Рэя Бредбери в его «Марсианских хрониках». И дело не только в том, что на обратной стороне Луны нет ни воздуха, ни, стало быть, морей, растений, животных и разумных существ (которые появляются во второй части трилогии). Это допущение есть не более чем фантастический прием, использованный писателем для того, чтобы развернуть на этом фоне историю лунного общества, которое должно повторить трагическую историю общества земного, как ее понимает Жулавский. Речь идет об ином — о той стороне Луны, которую Жулавский изобразил, казалось бы, с максимальной научной достоверностью.

Легко понять, что Рэй Бредбери отнюдь не пытается описывать реальный Марс, но лунные пейзажи Жулавского прямо-таки гипнотизируют своим детальным соответствием многому, что мы сегодня знаем о Луне, и поэтому не вызывают сомнений. А между тем именно в них и проявился с наибольшей, пожалуй, силой талант Жу-

лавского-фантаста. С удивительным чутьем и тактом он сумел затушевать и убрать целый ряд деталей, подчеркнуть и усилить ряд других — и в результате добиться той необычайной рельефности и экспрессии, которые создают упомянутый выше «эффект присутствия».

Дело в том, что подлинный пейзаж Луны весьма мало походит на то, что изображено Жулавским. Писатель, столь дотошно изучавший астрономию, не мог, конечно, не знать о том, что кривизна лунной поверхности намного больше (из-за малых размеров Луны), чем кривизна земной, а потому виды, открывающиеся из любой точки Луны на окружающую местность, далеко не столь величественны и грандиозны, как он это изобразил. Вдобавок лунные горы весьма пологи. Какие «пики» могут быть у знаменитой горы Питон, если она достигает в длину сорок километров при высоте 2000 метров. Даже стоя у ее подножия, герои Жулавского видели бы не «головокружительной высоты вершину», а всего лишь однообразную равнину с едва намечающимся подъемом (10 градусов!) в одну сторону. Только внутренние склоны цирков, пожалуй, и могут несколько напоминать описания Жулавского — и то с поправкой на пологость внутренних гор и невидимость (из-за удаленности и кривизны поверхности) противоположных участков кольцевого вала.

Жулавский, таким образом, не пошел ни по пути строгого следования научному факту, ни по пути чистого вымысла — он создал оригинальный, своеобразный сплав, чисто фантастический по своей природе. Там, где трагическая история смельчаков, навсегда покинувших Землю, требовала мрачных и величественно-трагических декораций, писатель усиливал «научную правду» правдой художественного вымысла. В этом проявилась проницательность его таланта — будучи фактически одним из про-

возвестников современной фантастики, Жулавский видел в ней прежде всего литературу. Именно этим в первую очередь, обусловлена жизненность его книги.

Еще одно обстоятельство достойно внимания. Фантастика Жулавского (хотя это заметнее при чтении трилогии в целом) рождается, в сущности говоря, на пересечении трех, а не двух только линий: помимо научного факта и поэтического воображения в ее создании участвует также и социальная метафора, философски обобщенная мысль. Наличие этой третьей компоненты показывает, с какой зоркостью писатель уловил сущность и призвание того вида литературы, в создании которого участвовал. Как уже сказано выше, он обратился к фантастике потому, что усматривал в ней тот вид литературы, который более всего способен выразить общечеловеческие и общеисторические стороны действительности. При всей наивности социальных и философских аллегорий Жулавского он со своим стремлением соединить литературу, науку и философию в одном виде искусства смело может быть назван не только продолжателем Жюль Верна, но и современником Уэллса.

Вот то немногое, как нам кажется, что было бы интересно узнать сегодняшнему читателю, раскрывающему книгу более чем полувековой давности. Ее глубокая человечность, психологический драматизм и романтическая страстность, восхищение героизмом и самопожертвованием первых исследователей Луны скажут читателю, несомненно, больше о человеке и человечестве, чем о Луне и космосе; но именно в том и состоит волшебство подлинной фантастики, чтобы, унося нас в космические дали или бездны времени, неизменно возвращать на Землю, к нам самим и нашим судьбам.

*Ариадна Громова,
Рафаил Нудельман*

ИЛЛЮСТРАЦИИ С. ЖЕХОВСКОГО

*Редакция научно-популярной и научно-фантастической
литературы*

Ежи Жулавский

НА СЕРЕБРЯНОЙ ПЛАНЕТЕ

Редактор *А. Г. Беловцева*

Художник *Л. Васильев*

Художественный редактор *Ю. Л. Максимов*

Технический редактор *Н. А. Турсукова*

Сдано в производство 13/1-1969 г. Подписано к печати 13/III-1969 г. Бумага № 2
70×108^{1/32} = 5,75 бум. л. 16,10 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 15,76. Изд. № 12/4869.

Цена 79 к. Зак. 54. Тем. план 1969 г. изд-ва «Мир» пор. № 190

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»

Москва, 1-й Рижский пер., 2

Ярославский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Комитета по печати при
Совете Министров СССР. Ярославль, ул. Свободы, 97.

79 K

